КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

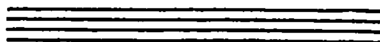
№ 11

НОЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ



---

14 типография
„МОСПОЛИГРАФ“
Варгунихина гора, 8
Главлит № А 52971
П. 13. Гиз 35779.
Заказ № 86
Тираж 13 000

Убийство Матеотти

Илья Эренбург

В Риме жил Бенито Муссолини. Он мечтал о великой итальянской империи. Он принимал парады, произносил речи и уничтожал врагов. В Риме жил также Матеотти. Это было ошибкой. Матеотти не мог жить рядом с Муссолини: он ненавидел великую империю, и что ни день насмехался он над воинственными монологами. Муссолини верил в торжество итальянской индустрии и в гражданский мир между рабочими и работодателями. Владельцы автомобильного завода «Фиат» не возражали. Они знали, что означает этот гражданский мир. Муссолини командовал. Чернорубашечники кричали «эйе», Рабочие работали.

Но, работая, рабочие все же не мечтали о великой империи. Одобрительно они посмеивались, читая едкие статейки Матеотти. Они ведь были обыкновенными рабочими, мало чем отличаясь от рабочих Оппеля или Ситроена. Матеотти тоже был обыкновенным социалистом. Споря с противниками, он ссылался на резолюции международных конгрессов. Он не хотел понять, что Италия — это Италия и что Муссолини — это Муссолини.

Муссолини руководил высокой политикой. Он был вождем, и он не мог заниматься хозяйственными мелочами. Этим занимались его помощники. У одних были министерские портфели, у других только фашистские билеты и денежные пособия. Думини заведывал истреблением врагов. Синьор Филиппелли издавал газету «Корьерре Итальяно», которая ежедневно писала, что Бенито дивен и бессмертен. Работа синьора Филиппелли была куда чище работы Думини, и рука, которой синьор Филиппелли стучал по мраморному столику кофейни, была нежной, пухлой рукой.

Матеотти написал еще одну статью. Он произнес в Палате депутатов еще одну речь. Рабочие где-то вполголоса поддакивали. Думини понял, что настало время действовать. Думини не гнушался никакой работой. Он стал обдумывать, как устранить Матеотти. Он советовался с опытными чернорубашечниками. Он готовился к решающему дню тщательно и сосредоточенно, как в свое время готовился Бенито Муссолини к походу на Рим. Думини хорошо знал свое дело.

Он сидит и думает. Он не на шутку озабочен: у Матеотти немало сторонников, его знают и за границей. Здесь трудно избежать огласки. Вдруг лицо Думини проясняется,— он вспомнил: на свете существуют автомобили. Правда, Муссолини любит прославлять труд землепашца и буколичекую поэ-

зию. Но Муссолини отнюдь не враг машин. Он знает, что без великой индустрии нет великой Италии. В Риме — Колизей и аэродром, лавчонки антикваров с поддельными древностями и химические лаборатории, в которых изготовляют самые усовершенствованные газы. В Риме для всего свое место. Муссолини чтит капитолийскую волчицу. Он чтит также моторы «Фиата». Благословляя сейчас автомобиль, Думини отнюдь не впадает в ересь. Он правоверный чернорубашечник. Его прадеду пришлось бы подсыпать в вино порошок или, прикрыв плащом лицо, пробираться по ночным закоулкам. Думини благословляет новый век. Только сейчас он понял всю красоту стихов Маринетти. Под Римом немало пустынных мест, хотя бы Куартателя, а у синьора Филиппелли превосходный автомобиль.

Синьор Филиппелли в знак согласия одобрительно помахивает пухлой ручкой: враги Бенито должны погибнуть! Его автомобиль будет прославлен потомством, как древняя квадрига. Но, конечно, он — не Думини. У него чистая работа. Он даст автомобиль; сам он останется дома. Он будет ждать Думини в редакции. Он протягивает другу руку, нежную руку: счастливой дороги!..

Июльский знойный день. Счастливые римляне несутся в автомобилях к холмам Альбано или к побережью Остии. Оставшиеся в городе пьют лимонад и громко вздыхают. Как всегда, спекулянты в пассаже толкуют о лире и о партии заграничных чулок, англичанки зарисовывают храм Весты, шофферы на перекрестках узеньких улиц лениво отругиваются и, забытые среди великолепных развалин, истошно кричат бездомные кошки. Те, что против великой империи, утешаются дешевым мороженым: зной мешает им думать. Фашисты не отстают — с такой же мечтательностью замирают они возле кадки мороженщика; на них черные рубашки, они, конечно, любят солнце Италии, но они сильно потеют, они не могут даже прокричат «эйе», их клонит ко сну.

Бенито Муссолини презирает и сон и мороженое. Он думает о своей империи. Его мысли куда шире узких улиц и узкого полуострова. Он думает о Савойе, о Тунисе, о Далмации, о Мальте. Да, он призван возродить эту страну живописных развалин и невзыскательных фокусников! Он превратит любого торговца кораллами в античного легионера.

Мечты Муссолини чванливы и громоздки, как арки древних императоров. Он видит себя под такой аркой. Он, разумеется, не на колеснице; он в открытом автомобиле. Ведь в его руке теперь скорость; то, на что строители Рима положили столетия, он должен выполнить в несколько лет.

Автомобил синьора Филиппелли пробирается по узким улицам. В нем Думини, а с ним четыре преданных делу фашиста. Один у руля — шоффера пришлось оставить дома: это обыкновенный шоффер, и кто знает, не поддакивает ли он, читая статьи Матеотти?.. Автомобиль синьора Филиппелли под'езжает к набережной Микель-Анджело. Здесь он останавливается. Это большой хороший автомобиль, выкрашенный в красный цвет, что свидетельствует, разумеется, не о политических воззрениях синьора Филиппелли, но только о его редкостной жизнерадостности.

Матеотти, как и Муссолини, работал, несмотря на жару. Он должен был вскоре уехать на несколько дней в Австрию. Наконец-то ему выдали заграничный паспорт! Он обдумывал тактику европейских рабочих. В Германии революция проиграна. В Италии — Муссолини. Но Англия просыпается. Матеотти взвешивал шансы сторон. Что несет об'единение тяжелой индустрии?.. Как отразится усиленная рационализация?.. Судьбы рабочих «Фиата» казались ему тесно связанными с судьбой Европы. Его мысли, как и мысли Муссолини, не умещались на узком полуострове. Он смеялся над арками триумфаторов. Разве не оказались сильнее этих бронзовых полубогов какие-то нищие сектанты из порабощенной и невежественной Иудеи?

Матеотти подготовлял новую речь. Он покажет, куда ведет страну Муссолини... Он писал и курил за папироской папиросу. Исписав лист, он снова, не глядя, протянул руку к коробке и поморщился: папирос больше не было. Он сказал жене: «Я сейчас вернусь»... Быстро шагал он по пустынной набережной. Он продолжал обдумывать свою речь. Он должен торопиться: пройдет еще несколько недель — и Муссолини разгонит Палату, закроет газеты, зажмет всем рот. Послезавтра он подвергнет разбору последние финансовые мероприятия правительства...

Матеотти обступили неизвестные ему люди. Они были не в черных рубашках, но в обыкновенных люстриновых пиджаках. Быстро подхватили они Матеотти и втолкнули его в красный автомобил. Тот, что сидел у руля, видимо, знал дорогу. Он дал полный ход. Мотор весело фыркнул.

Редкие встречные с завистью косились на пролетавшую мимо машину: они не сомневались, что красный автомобиль везет счастливцев за город, где горная прохлада или морской ветерок. Автомобиль обдавал их гудом и пылью. Они меланхолично отряхивались.

А внутри автомобиля шла борьба. Она длилась недолго. Матеотти страдал чахоткой, и он был очень хил. Рука его умела водить пером, но никак не сдавливать горлю. Он все же пробовал сопротивляться. Ему даже удалось схватить ручку дверцы. Тогда Думини достал нож. Думини — не синьор Филиппелли: он на все мастер. Кричать Матеотти не мог: ему сразу забили платком рот. Бесшумно сполз он на коврик. Он только замарал кровью сиденье. Автомобиль со счастливыми дачниками мчался за город.

Вот и Куартателя! Здесь нет ни туристов, ни прохожих, ни пастухов. Только низкий колючий кустарник и солнце. Молча вытаскивают люди труп, молча волочат его в сторону, подальше от дороги. Здесь!.. Они начинают копать яму. Это великий труд, достойный прославления Муссолини и всех поэтов «страпаезы», то есть «сверх-земли»; он ведь сродни труду землепашца. Но вырыть яму куда труднее, нежели прирезать человека. Земля суха, земля жестка, а солнце, падая, все еще льет на головы непереносимый зной. Яма узка и мелка. Чтобы зарыть труп, люди его сгибают и мнут. Они ломают хребет. Потом они судорожно отряхиваются и вытирают мокрые лица.

Красный автомобил теперь мчится к городским воротам. Счастливые люди уже надышались сельской свежестью. Один за другим пропадают убийцы

в узеньких уличках. Думини под'езжает к редакции «Корьерре Итальяно». Из редакции давно уже ушли репортеры и машинистки, только синьор Филиппелли ждет-не-дождется Думини.

Тяжело дыша от духоты и усталости, Думини рассказывает. В общем все обошлось благополучно. Вот только сиденье запачкано. И потом на набережной стояли какие-то женщины. Может быть, они и заметили... Ведь Матеотти упирался...

Синьор Филиппелли хмурится. Сиденье можно, конечно, отмыть. Завтра «Корьерре Итальяно» напишет, что Матеотти уехал в Австрию, не предупредив даже жены. Вот они, социалистические повадки! Но как быть с очевидцами? Газеты оппозиции еще не закрыты. Эти хитрецы могут, чего доброго, дознаться... Автомобиль нужно пока что убрать, и подальше.

Синьор Филиппелли отвозит красный автомобиль в маленький гараж. Пусть здесь стоит. Может быть, неделю. Может быть, и месяц. Гаражист услужливо улыбается: у синьора роскошная машина, синьор, наверное, не поскупиться на чаевые. Гаражист прав: синьор Филиппелли на сей раз очень щедр.

Думини моется, меняет рубашку и направляется в кофейню. Он пьет лимонад.

На Рим спустилась благодетельная ночь. Ожили люди. Ожили развалины: они снова стали банями, цирком, храмом. Те, что говорили о чулках, теперь молчат: они смотрят на женские ноги. Плавно кружится летучая мышь. Англичанки больше не рисуют, перед ними только луна, большая, чуть придуроковатая; луна—она все та же, здесь и в прохладной Англии. Шофферы режутся в карты. Сейчас все смешалось в Риме: храм Весты и кафе «Аранья», черные рубашки и бронза кентавров, мрамор и бетон, тоска и зеленоватая пыль. Все безмятежно притихает.

Только в высокой, пустой комнате один человек еще работает. Чтобы создать великую империю, мало клятв легионеров, нужен экспорт. Италия поднимается на ноги. Автомобильная индустрия уже начинает соперничать с Францией, даже с Америкой. Удовлетворенно Муссолини просматривает колонки цифр. Рабочие работают. Гражданское согласие побеждает.

Рим и впрямь черен, нежен, тих. В нем больше нет Матеотти. Изредка среди ночи раздается легкий вскрик, но это или мяуканье кошки, или гудок запоздавшего автомобиля.

Париж.

Февраль — июнь 1929.

Дом Черновых

(Отрывки из романа)

Скиталец

В самый разгар волжского разлива бог обывателей внял их мольбам: прошел слух, что взяли чехи Самару и двигаются вверх по Заволжью.

В местной газете написали об этом и на заборах расклеили воззвание к рабочим и крестьянам города. Выражалась уверенность, что они постоят за свою собственную рабоче-крестьянскую власть. Читали воззвание обыватели и молча ухмылялись: немного было рабочих и крестьян в обывательском городе, больше проживало мещан, совсем не настроенных стоять за рабочую власть, раздраженных дороговизной и солдатской вольницей.

Что это были за чехи и откуда они взялись — никто в точности не знал, но думали, что, может быть, хоть они, подобно древним варягам, наведут порядок в великой и обильной русской земле и опять будет прежнее мирное житие. Пусть отстаивают город рабочие и крестьяне. Мещанам-то что за дело? Их никто об этом не просит. Метались по городу мотоциклетки с лихими седоками, мчались нагруженные грузовики-автомобили, скакали верховые, потянулись куда-то казенные обозы.

На Старый Венец выкатили пушки, а самый Венец окопали рвом и защитили с Волги колючей проволокой. Ждали чехов из-за Волги, куда были направлены жерла орудий: со времен Стеньки Разина не было пушек на Старом Венце, не воевал самый тихий и безмятежный город на Волге.

Никогда еще с таким ожиданием не смотрели обыватели с Венца на далекое Заволжье, сплошь покрытое дремучими лесами.

Ничего не видно было за лесом, но пушки с треском палили через широко разлившуюся Волгу, обстреливали заволжский берег: ждали артиллерийского поединка, думали, что чехи будут через Волгу переправляться, город приступом брать. Об'явили осадное положение: вечером, после восьми часов, никто не смел на улицу ни носа высунуть, ни огня зажечь! Сроду ничего подобного не случалось в приволжских городах.

Но вот в тихое весеннее утро, когда разлившаяся Волга улыбалась и горела на солнце, как зеркало, а Заволжье зеленело особенно-нежной и свежей бирюзой, когда обыватели только еще просыпались, а некоторые спали, проведя в чутком сне тревожную ночь, там и сям под окнами на Старом Венце стали раздаваться голоса женщин, всегда просыпавшихся раньше мужчин.

— Чехи! Чехи пришли!

Екнуло сердце у всех. Повскакали с постелей, всклокоченные, кто в чем, высунулись из окон, вылезли из калиток.

— Взяли город чехи! Заняли кадетский корпус! — неслись голоса.

Здание чрезвычайной комиссии по-старому называли «кадетским корпусом», так же, как Дворец труда — «губернаторским домом».

И стали выползать пугливые обыватели из своих нор, всем хотелось поглядеть, каковы-то из себя чехи, узнать, какие милости, льготы и облегчения об'явят, но побаивались попадаться на глаза сторонникам рабоче-крестьянской власти: а вдруг опять воротится она и расследует, кто встречал чехов, кто их приходу радовался? — делали вид, будто на базар идут с корзинкой, кто якобы на службу, либо вообще по своему делу идут.

Беспорядочно сбежались на площадь: там стояло огромное кирпичное здание, занимавшее почти половину квартала, где до революции сотню лет воспитывалось поместное дворянство.

В толпе преобладали женщины, домашние хозяйки с корзинками, бабы, барыни, барышни, но были и отцы семейств, канцелярские служащие, мещане, подростки, уличные ребятишки — та обывательская толпа, что всегда на Старом Венце собиралась.

У под'езда стояли вооруженные часовые в немецких черных касках. Десятка два конных солдат в маленьких шапочках пирожком выстроились против здания. Худой, высокий, бравый человек во френче, с белокурыми бакенбардами, по выправке — офицер, отдавал распоряжения подчиненным, стоявшим навытяжку, с рукой под козырек. Слышался тихий, сдержанный говор толпы, все спрашивали друг друга, некоторые обстоятельно рассказывали «как было дело».

Одна из кучек жадно слушала рассказ молоденького солдатика — мальчишки лет семнадцати, стоявшего на мостовой с ружьем у ноги. Прыщавое, худое лицо его с длинным носом было измазано грязью от пыли и пота. Он был в солдатской шинели и железной лакированной каске.

— Отряд наш — триста человек чехов, да с полсотни добровольцев народной армии! Я тоже доброволец! А следом за нами три тысячи чехов идут!

— Как же вы — триста человек — город-то взяли?

Юноша странно, нервозно хихикнул.

— Хи-хи-хи! Мы знали, что они ждут нас из-за Волги! а наш эскадрон переправился ниже города, в безлюдном месте, да и заскакал ночью с поля, а нынче на рассвете мы захватили город, почитай без боя: встретили ваш кордон и перекололи всех до единого, без выстрела, в рукопашную! Хи-хи-хи!

Странный смех у безусого добровольца: ничего веселого нет, а смеется человек.

— Перекололи всех! — продолжает он, торжествуя, — думаем: надо скорее в город — да боимся, не остался ли кто в живых, не поднял бы тревогу по полевому телефону! Хи-хи! Спешились посмотреть убитых: гляжу — а один живой, только прикинулся мертвым! Я его штыком, а он шевелится,

злющие ведь они, красные-то! Его, бывало, к земле приколешь, а он еще саблей машет! Колол-колол! Нет! Никак не прикончу! То рукой, то ногой дрыгнет! Что делать? Вынул тесак и стал ему голову рубить! Хи-хи-хи! — жутко хихикает прыщавый доброволец.

С удивлением созерцали обыватели его долгоносое, вымазанное грязным потом нездоровое лицо, искривленную улыбку.

Хихикал доброволец.

— Что же ты это, пошто лежачего, безоружного?

— Приказ такой был, пленных не брать, пощады не давать!..

— Правильно, на то и война, а особливо гражданская! Знают, за что дерутся!

— Триста молодцов взяли город почти что голыми руками! Ловко! А наши-то! Палили из пушек по заволжским воробьям!

— Дураки, что ли, чехи-то, что так прямо в лоб и полезут?

— Дураками-то наши оказались!

— Да какие они наши? Вот — наши!

— Ну, еще неизвестно, что от этих будет?

— Комиссаров ловить начнут!

— Ищи ветра в поле! Еще вчерась в ночь на автомобиле унеслись!

— Уж кому-кому, а комиссару продовольствия не мешало бы в тюрьме посидеть!

— Пущай бы попостился, как мы, на хлебе и воде!

— Чего на хлебе и воде? Ежели кого изловят — к стенке и вся недолга!

— Ну, чай, эти-то — культурные люди? Сначала разберут, не всякого к стенке!

— Ведут кого-то!

От под'езда корпуса, сквозь расступившуюся толпу ехали шагом двое конных, а между ними с необычайной решимостью шел бледный человек в белой с красными крапинками рубахе без пояса, в кожаном картузе, босой, в широких черных шароварах. Подстриженная ярко-рыжая борода оттеняла это поразительно бледное лицо, такое бледное, что оно казалось белее ситцевой рубахи на этом рослом, дюжем человеке. Красные крапинки издали казались брызгами крови. Шел он быстро и решительно, размахивая в такт шагам руками, как бы торопясь куда-то по чрезвычайно важному делу. Двое всадников с короткими ружьями за спиной, в маленьких шапочках, оба молодые, красивые, с черными усиками, ехали быстрым шагом.

Толпа ухнула, широко расступилась перед бледным человеком, а затем, слившись в плотную массу сзади всадников, побежала за ними.

— Комиссар продовольствия! — слышалось в толпе, — попался! а-га-а!

Толпа злорадно рычала.

— Нашли его в подвальном этаже, в пекарне, хлебопеком переоделся, а документы-то в кармане оказались!

Недалеко увели комиссара: всего только повернули за угол и остановились на дороге, против высокой кирпичной стены, окружавшей двор кадетского корпуса.

Всадники спешились. Толпа замерла в ожидании. Один из них снял из-за плеч свою короткую винтовку.

Комиссар твердыми, большими шагами подошел близко к стене и встал лицом к ней.

Хлестнул короткий, сухой, негромкий треск выстрела. Рыжая голова в кожаном картузе, видневшаяся за густой толпой, исчезла.

По всей площади заплескались аплодисменты, как в театре. Потом с глухим гулом все кинулись к стене, толкаясь, падая, давя друг друга и ползая по земле. Хотели видеть казненного.

Солдаты сели на лошадей и рысью поехали обратно. Над головами толпы виднелись их лихо заломленные острые шапочки, качались ружья за спиной.

— Што делаете? Звери вы, что ли? — закричал в толпе высокий, тонкий голос, — человека убили, а вы...

Голос оборвался на полуслове. Толпа побежала за всадниками. Комиссар, раскарячив ноги, лежал у стены вниз лицом. С мостовой в испачканном белом пиджаке поднялся Кронид. По рыжеватой бороде текла кровь. Он вытер бороду, сплюнул кровью и побежал, прихрамывая. За углом вдруг остановился: у стены лежали четверо, судя по костюму — рабочие, в синих блузах, высоких сапогах. Головы их валялись отдельно от тела, раздробленные на куски; у одной из них совсем снесло черепную коробку. Мозги виднелись на траве, стена была обрызгана чем-то серым, с прилипшими к ней волосами. В траве лежал человеческий глаз вместе с лобной костью.

От площади вели под конвоем группы бедно одетых чернорабочих людей, заводили в ближайшие дворы, и оттуда сейчас же доносились знакомые, негромкие сухие звуки выстрелов.

Кронид бежал бесцельно. Очутился на Старом Венце. На углу была женская тюрьма — одноэтажное старое здание. У ворот на траве лежали навзничь три трупа в защитных гимнастерках. Раскинув по траве странно-бледные, застывшие руки, они лежали в таких позах, словно собирались встать. Это были тюремные надзиратели. Кронид часто видал их прежде.

За решеткой низкого окна стояла молодая, красивая цыганка, с монистами на груди, в ярко-огненной шали, с серебряными перстнями на загорелых руках. Она кивнула головой Крониду.

— Что, молодец, дождались? За что убили-то, подывысь! Бедные люди! Шестнадцать карбованцев получали! За экое жалованье смерть приняли! О-хо-хо! Лышенько!

— За что сидишь? — сурово спросил Кронид.

— За понапрасну! Пришли белые и начали бедных людей избивать да в темницу сажать! И меня ни за что взяли! Ой! Худо будет!

Кронид, повернув обратно, быстро пошел по дощатому тротуару. Цыганка еще раз крикнула ему вслед:

— Худо будет!

Когда он пришел в черновский дом, по обыкновению, с черного хода, его встретила Зинаида с заплаканным лицом.

— Беда-то какая! — зашептала она, — приходили чехи с ордером: говорят, чтобы мы наверх перебирались, внизу полицейское управление будет, охранка, сроку только сутки дали.

— Вот-те и на! Дождались избавителей!

— Похлопотали бы вы, Кронид Алексеич! Костя-то, как на грех, уехал!

— Что же я могу? Безусловно, придется подчиниться! Перетерпим как-нибудь, а там видно будет!

— Сходили бы по начальству, отбоярились бы! У нас дети, старуха больная, лучше бы к Блиновым: у них дом — дворец, а семья маленькая!

— Гы-гы! Что же это — брат на брата сваливать будете повинности? Нет, уж покорно благодарю, мне и так по зубам попало, насилу ноги унес!

Кронид рассказал о том, что происходит в городе.

— Арестовывают все больше рабочих.

— В театре какое-то собрание об'явили, повестку принесли! Хоть туда сходите!

Вечером в театре состоялся многолюдный митинг. Зал был переполнен. Со сцены говорил речь воевода добровольческой армии — высокий, во френче, с холеными бакенбардами. Рассказывал, как удалось организовать армию, сколько было трудов и как он плакал от радости на первом параде. Обещал изгнать большевиков и восстановить прежний справедливый строй. Только нужны новые Минины и Пожарские, нужен под'ем народного патриотизма, нужно собрать деньги. Пусть все жертвуют, кто чем может, пусть делятся деньгами, ценными вещами. Сейчас же в публику пойдет комиссия для приема добровольных даяний. Лишь бы прогнать большевиков, а тогда видно будет, какой строй установить.

Кронид сидел в партере рядом с Димитрием. Новый Минин говорил гладко, как по-писанному, вероятно, не в первый раз: заучил речь наизусть. В конце опять упомянул о том, как он плакал.

Крониду многое не нравилось в нем: холеная наружность, дворянские манеры и картавящее, барское произношение. Антипатию к дворянам унаследовал еще от блаженной памяти Силы Гордеича. Видно, что в первую голову купеческую мошну хотят расшевелить. «Безусловно дворяне верховодят!» — подумал Кронид.

По рядам пошла комиссия с блюдом для пожертвований на «белое дело». Пример показал воевода: положил свои золотые часы с цепочкой. Кронид ехидно улыбнулся: небось, везде их кладет! Когда комиссия подошла к ним — Кронид смутился, пошарил в карманах и ничего там не нашел.

Димитрий показал черные стальные часы.

— К сожалению, не захватил золотые, не знал! — пожал плечами заика.

Публика жертвовала плохо, клали дешевые вещицы, серьги, брошки, рублевки, десятки...

Когда сборщики прошли, Кронид лукаво посмотрел на Димитрия, но тот и ухом не повел. Не хотела купецкая мошна раскошеливаться, хотела, чтобы

белые спасли ее бесплатно или, по крайней мере, подешевле: норовила «надуть» белых.

— Тонули — топор сулили, вытащили — топорища жалко! — смеялся Кронид.

— Ведь теперь далеко Каппель — и не надо стало капель!— импровизировал Митя.

Ночью, возвращаясь с митинга, Кронид и Димитрий встретили на глухой улице тихо двигавшийся обоз телег, нагруженных застывшими, скорченными человеческими телами: окостенелые, вытянутые руки их с окровавленными, скрюченными пальцами торчат кверху, словно мертвые воздевают их к небу.

На другой день обыватели сидели на скамейках Старого Венца угнетенные, вздыхающие и грустные, не досчитываясь многих соседей своих и с тоской смотрели в далекую синь горизонта.

В половине августа, в воскресенье, часов в шесть пополудни, когда Старый Венец был усеян созерцающей и гуляющей публикой, над городом внезапно появился аэроплан.

Прилетел он со степной стороны, пожужжал над горой и, спустившись так низко, что видно было сидящего в его кабинке человека, начал кружиться над Венцом, как коршун, высматривающий добычу.

Из толпы раздались вверх несколько выстрелов, но аэроплан не испугался, продолжал описывать круги над следившей за ним толпой, словно издеваясь над ней: его интересовали пушки и окопы на Венце.

Потом взмыл над Волгой, покружился около пристани и, поднявшись высоко, улетел в степь.

Это был советский аэроплан: говорили, что большевики подошли к городу и стоят за небольшой речкой в числе одиннадцати тысяч, город же охранялся всего только тремя тысячами гарнизона: солдаты, бежавшие с германского фронта, давно уже схлынули куда-то. Положение белых было безнадежно.

На скамейке сидел Кронид в белом кителе и парусиновых башмаках. Подошел и сел рядом незнакомый мужик с большой краюхой калача, торчавшей из кармана. Мужик жевал калач, безучастно созерцая Волгу.

— Нездешний? — спросил от нечего делать Кронид.

— Не! — медленно ответил тот, — из подгородней деревни.

— Как же ты через красных-то прошел?

— Ничего, прошел.

— Как думаешь, чья возьмет?

— Обязательно наши возьмут город!

— Какие наши? — с неудовольствием спросил Кронид.

— Наши, большаки!

— А ты бы держал язык за зубами! Какие они тебе — наши?

Мужик ничего не ответил и продолжал жевать, глядя мимо Кронида бесцветными глазами.

Толпа на Венце все увеличивалась, собираясь отдельными кучками. В центре одной из групп немец Карл Карлыч Бауман — начальник добровольного обывательского караула — назначал очередных в ночное дежурство. Тут же лежало на земле необходимое количество винтовок со штыками.

На предстоявшую ночь с Венца требовалось отправить пятерых караульных на окраину города охранять пороховой амбар.

Но почти все, предчувствуя опасность, под разными предлогами отказывались от своей очереди.

Бауман пожал плечами и усмехнулся. Этот небольшой человек с желтенькой бородкой клинышком, странно похожий на Кронида, десять лет назад приехал на Волгу с широкими планами обогащения в России, построил под городом большой кирпичный завод, теперь уже заброшенный, а в городе имел образцовый фруктовый сад с домом на склоне Старого Венца. Считали его богатым человеком; при советской власти он уже сидел в тюрьме, но был выпущен. Когда красные ушли, Бауман начал содействовать белым. Теперь в его доме квартировали белые офицеры.

— Хе-хе-хе! — расхохотался Бауман, — это выходит по русской пословице — мой дом на краю, а я ничего знать не хочу! Кохда биля мой очерет — я ходиль, и вот он ходиль, и другой ходиль, а сегодня все, как мишка в норка!

Из толпы посыпались возражения:

— Конечно, кому охота? Наступление ожидается!..

— Враки! — возражал немец, — я биль в управление... там знают... говориль — не будет на нинешний день...

— Верю всякому зверю, верю и ежу, а им — погожу!..

— Тебе хорошо, Карл Карлыч, твоим козырям все под масть, а мы опасаемся! Тебе и тюрьма — пустяк!

— Золотым молотком и тюремные двери отворить можно!

— Тугая-то мошна не говорит, а чудеса творит! Крякни да денежкой брякни — из воды сух выйдешь, а с нами разговор короток.

— Каждому своя голова дорога!

— Надо же кому-нибудь на караул ходить?.. Ай-яй, срам какой! — качал бородой Карл Карлыч.

— Вот назола! — с досадой сказал, выходя вперед, Кронид, — откуда такая остуда? Ежели мы сами себя не защитим, кто же нас защитит? Ну, что ж, пойду я не в очередь! Неужто больше нет никого?

Помялись, погалдели и заставили еще четвертых отправиться в караул: нехотя согласились два писца, учитель и бородатый мещанин.

Неумело взяв солдатские винтовки на плечи, нестройной группой повернули в переулок. Солнце закатывалось. На тротуарах всюду было необычайное движение: люди с озабоченными лицами группами выходили из домов и спешили куда-то. Встретилась компания городских врачей, в числе их Зорин; увидал Кронида, рассеянно улыбнулся:

— Куда?

— Гы-гы! На караул! А вы?

— На перевязочный!..— Зорин махнул рукой, не останавливаясь.

По главной улице тянулся казенный обоз, проносились мотоциклетки. Базар опустел. Медленно сгущались бесконечные степные сумерки.

Долго шли городом, пустырями, «солдатской слободкой», состоявшей из жалких хибарок, неправильно разбросанных. Совсем стемнело, когда подошли к караулке: дальше была степь, а шагах в пятидесяти — на отшибе — неясно виднелся продолговатой тенью пороховой амбар.

В караулке светился огонь. Около маленькой жестяной лампы сидел сторож, поджидавший караульных.

Маленькая комнатешка с голым столом, бревенчатыми стенами и деревянными скамьями показалась еще меньше, когда наполнилась неуклюжими фигурами людей, стучавших и звякавших ружьями. Лампа коптила, освещая их неверным светом.

— Здорово, дед! — тяжело поставив ружья в угол, говорили пришедшие сторожу-старику с физиономией старого солдата.

— Здравствуйте! А я жду-пожду, что-то, мол, долго!

— Да нейдет никто нынче! боятся: наступления ждут! Белые-то, значит, за хороших людей, за богатых, а с красными всякая беднота идет!

— Не бойся богатого грозы, а бойся бедного слезы! — промямлил старик.

— Какая уж тут слеза!.. Кровью пахнет, под самым городом стоят!

— Что же из Казани-то? Нет подкрепления?

— Ничего неизвестно.

— Видно, оставили нас на произвол судьбы!

— Покурим с горя!

— Кто хочет курить — здесь курите, а на карауле нельзя! Порох ведь!

— По двое пойдем?

— Знамо дело, по два веселее! Смена через два часа! Сколько теперь?

— Десять! — сказал Кронид, посмотрев на карманные часы, — айдате! Кто со мной?

— Пожалуй, хоть я! — откликнулся учитель, бледный, молодой, в очках.

Взяли ружья, осмотрели их, вышли.

Ночь была темная, беззвездная, сырая, накрапывал дождик. Кронид поежился в своем белом кителе. Шли к амбару гуськом. В четырех шагах уже не видели друг друга. Ощупью подошли к амбару. Прислонились к стене, под крышей, спасаясь от дождя. Дожд шел мелко, словно шептал что-то.

— Ну, и ночь! — сказал учитель, — тут к самому носу подойдут — не увидишь! Доведись нападение — я и стрелять-то не умею! Ладно, если убежим! Охрана тоже!

— Ну, я бы не побежал! Что за жизнь пришла? Чего ждать?

— Так-то оно так, а все-таки живой про живое и думает! Дурак лишь не боится ничего!

— Гы-гы! Ну, все мы на этот счет не дураки! Однако разойдемся: я с этого конца, а вы с другого!

Учитель звякнул ружьем и пошел вдоль стены. Через два шага он словно утонул в черной тьме, даже шагов его не слышно было за шумом дождя.

Кронид поставил ружье между колен и, сидя в неудобной позе на пологом каменном фундаменте амбара, вынул веревочку. Мысли его ползли беспорядочно. Вспомнил расстрел комиссара, безголовые трупы.

Кронид вил веревочку, не то думал, не то дремал.

Вдруг кто-то схватил его за плечо.

— Кто тут? — дико закричал он, хватаясь за ружье.

— Смена! — послышался знакомый голос,— али вздремнул?

— Задумался, грешным делом! Время, что ли?

Перед ним в черной тьме стояли двое. Кронид узнал смену.

— А учитель где?

— Здесь я, идемте! — прозвучал голос из темноты.

Дождь перестал, но было сыро. Кронид передал ружье и, рассмотрев, наконец, фигуру учителя, зашагал следом за ним к тусклому огню караулки.

— Как на войне живем! — пробурчал учитель, с'ежившись, — дожили! Из Казани-то — и не почесались? видно — и там неладно!

Бородатый мещанин спал на голой скамье. Учитель закурил папиросу. Озябший Кронид сел, положил голову на стол, согрелся и опять задремал.

Снилось что-то печальное. Будто один он впотьмах сидит, прячется от кого-то. А в дверь стучат гулкими, редкими ударами.

— Началось! — громко сказал кто-то над его головой.

Вздрогнул. Поднял голову.

Светало. Все караульные были в сборе и громко разговаривали. Издалека мерно доносились глухие, гулкие, густые удары, словно гром в степи: стреляли из пушек.

— Больше часу пальба идет, а вы спите!

Кронид посмотрел в окно: небо очистилось от облаков. Занималась пышная заря, обещавшая солнечный, красный день.

— Что же будем делать?

— Что делать? Посидим до смены! В восемь часов дневная должна притти!

— Вряд ли!

— Подождем все-таки!

— Выйти надо из караулки! — предложил Кронид, — ружья здесь оставим!

Все вышли и сели невдалеке на бревнах.

Всю ночь не спали в доме Блиновых. Анна набила вещами два чемодана, но всего не увезешь с собой. Димитрий заперся в кабинете, и оттуда глухо доносились тяжелые стуки в стену. Наконец, он выглянул за дверь с засученными рукавами рубахи, забрызганной известью, и позвал жену.

Анна вошла усталая, растрепанная.

В стене было выломано большое отверстие в камин величиной. В комнате стояла пыль, пахло глиной.

— Давай! — сказал он, заикаясь, губы его дрожали. Димитрий тяжело дышал, отирая пот полотенцем.

— Ну-ка, я посмотрю, хватит ли места? — шопотом ответила она.

— Хватит-нехватит, больше не могу, устал, да и собираться надо!

Анна осмотрела работу мужа.

— Ничего! Потрудился, можно сказать! Заделать-то как?

— Тоже задача! Замажем, а сверху шпалерой... Высохнет в один день!

Анна принесла серебряный самовар, потом целый узел столового серебра, бокалы, подстаканники, несколько золотых часов, браслет, цепочек.

— Бриллианты — здесь! — сказала она, указывая на грудь.

— Это, конечно, с собой...

— Сундуки в случае чего обещал Крюков к себе забрать... Ну, а покуда мама здесь будет!

Димитрий засунул драгоценности в отверстие в стене. На полу припасена была глина, известь, лежали кирпичи.

— Все?

— Все! Господи, благослови!

Анна перекрестилась и, всхлипнув, вынула платок.

Муж принялся за работу. Неумело вмазывал кирпичи. Анна помогала. Возились долго и оба выпачкались в глине. Когда работа была кончена и мусор убран, в окнах посветлело.

Заклеив сырое пятно на стене куском шпалер, пошли умываться.

Дом Блиновых был когда-то княжеским дворцом. Двухсветный зал, отделанный мраморной обшивкой, лепными украшениями, с потемневшими рисунками художников на потолке, уже много лет не отворяли, да и все парадные комнаты оставались необитаемыми вследствие их огромности и ненужной, холодной роскоши. Блиновы жили попросту, ютились в маленьких боковых комнатах. Существовало предание, что забытый княжеский род вымер, преследуемый драматической судьбой. В минувшие века в старом дворце совершались гнусные дела: разврат, насилие, убийства, кто-то был отравлен, остальные погибли от наследственного сумасшествия. Мрачная драма убийства и сумасшествия в семье Блиновых была у всех на памяти, у них никогда никто не бывал; Екатерина Ивановна ходила в полумонашеском костюме, устроила в угловой комнате моленную, зажигала лампадки, молилась, часто ездила в монастырь. Теперь, когда двухмиллионный капитал был конфискован, осталась все-таки порядочная сумма в шкатулке да собранное с должников; старуха, вздорная и тщеславная прежде, замкнулась в религиозном ханжестве. Что произошло в государстве и в городе, кто с кем воевал — не хотела взять в толк: была уверена, что скоро «усмирят бунтовщиков», а ей возвратят два миллиона. К сборам дочери и зятя в от'езд отнеслась невнимательно и равнодушно, а сама и слышать не хотела об от'езде.

Катерина Ивановна тоже не спала эту ночь и, только когда совсем рассветало, вышла в столовую. Димитрий разговаривал у порога с Василием. Анна ходила по комнате совсем одетая, вместо шляпки в платке, как горничная. Старуха остановилась в дверях толстая, с мясистым, увядшим лицом, с двойным подбородком и суровым взглядом из-под нависших бровей, похожая на игуменью.

— Поторапливайтесь! — говорил Василий, — подвода у ворот стоит, а Канстяньтин Силыч с семейством с полчаса на пристань выехали... «Меркурий» вторые сутки дымит, бают, как бы нынче не отвалил, хоша неизвестно, пускают ли на пароход-от!..

— Нас пустят! — возразил Димитрий, — записывались!

— Ну, и слава богу! А все-таки — торопитесь!

— Ты поезжай с подводой, мы прямиком, по лестнице сойдем, раньше тебя будем!

— Ладно!

Василий взял чемоданы, Димитрий взвалил на плечи узел и они оба вышли через черный ход.

В это время, как отдаленный гром, глухо донесся первый пушечный выстрел.

Катерина Ивановна перекрестилась.

Еще раз громыхнуло. Анна остановилась, разинула рот и побледнела.

Вошел Димитрий.

— Анна, слышишь?

— Что?

— Наступление началось! Возьмут нынче город!

— А может, отсидимся на пароходе, да и назад?

Димитрий рассердился.

— Назад! Одиннадцать тысяч их, а белых-то — горсть!

— Мамынька, прощай! — сказала Анна и поклонилась матери в ноги.

То же сделал и Димитрий.

— Бог простит! — сурово ответила старуха и перекрестила обоих, — возведох очи мои в гори, отнюду же приидe помощь моя! Никто, как бог! Бог дал, бог и взял! На бога надейтесь, да и сами не плошайте, тогда и возвратит он нам сторицею! Настали времена антихристовы, претерпевый же до конца — спасен будет! Так! Куды путь-то держите?

— За Урал, мамынька!..

— П-переждем с полгодика, — добавил Димитрий, — а потом воротимся... Небезопасно здесь оставаться...

— Уж и не знаю, мамынька, как вы тут проживете без нас?..

Старуха усмехнулась.

— Что вы мне? Какая защита-заборона, загуменная ворона? Хуже с вами-то! А с меня, старухи, что взять? Поезжайте с богом!..

Димитрий и Анна еще раз поклонились ей в пояс. По щекам Анны катились слезы, но старуха отвернулась и вразвалку пошла в моленную. Когда

они вышли — гул канонады катился слышнее. Над Заволжьем поднималось солнце.

Долго спускались с Венца к Волге по бесконечной деревянной лестнице. С горы всю пристань было видно, как на ладони. Дымил, белый, как лебедь, двух'этажный «Меркурий», но на пароходной конторке не замечалось никакого движения, зато на берегу, около самой воды, кишмя кишела толпа. Несколько лодок, до отказу нагруженных седоками и багажом, плыли на другую сторону Волги. Через двухверстный железнодорожный мост с необычайной быстротой шел пассажирский поезд. Грохотали пушки. Повидимому, мост был под обстрелом.

Анна шла по лестнице впереди Димитрия, по временам пощупывая на груди заветный мешочек. Спустившись к берегу, сказала:

— Митя, вон Василий с подводой и все наши!

— Вижу!..

— Пароход-от не пойдет, видно?

На берегу слышались крик, гвалт, ругань. Известный всей России фабрикант и помещик, черный, как таракан, с появившейся только теперь проседью на висках и в усах, кричал размахивая бумажником:

— Двадцать тысяч за лодку!

— Сто! — небрежно отвечали лодочники.

— Полцарства за коня! — улыбнулся Анне Димитрий,— вон где обдираловка!

Вся черновская компания оказалась в сборе и многие другие, вчерашние богачи и воротилы города.

— Пароход — для войск! — подскочил Крюков, хлопнув Митю по плечу своей тяжелой лапой,— да и то на ту сторону — ходу нет ему никуды! Казань взята! Самара — тоже!.. Чугункой поедете!

— А ты?

— Я остаюсь и Кузин остается!.. Провожать вышли!.. Несусветные цены дерут!..

Фабрикант матерно ругался, сидя на узлах и чемоданах в отчаливавшей небольшой лодчонке, рядом с женой, известной артисткой. Заплатил сто тысяч за перевоз.

На берегу лодочники ругались между собою. Двое схватились «за грудки». Лодок нехватало, целая стая их, взмахивая веслами, чернела на светлом фоне реки, спеша переброситься на далекий берег Заволжья. Приходилось огибать зеленый остров на самой середине реки, пробираться узким проливом между двумя его частями, разорванными Волгой.

Зинаида сидела с детьми наверху воза, полная, постаревшая, растрепанная. Константин спорил с кем-то на берегу. Толпа беженцев металась, как на пожаре. Откуда-то вынырнул Кузин, не спеша и сладко улыбаясь, дернул за рукав Крюкова, начал шептаться с ним. Крюков воодушевился, подбежал к Василию.

— Трогай к пароходной конторке!

— Дык...

— Трогай, говорю!

— Зачем? Куда? — волновалась Анна. Зинаида сидела на возу безмолвно. Димитрий стоял столбом, ожидая, что за него все сделают другие. Крюков за руку тащил Константина от берега, шептал:

— Знаю, что делаю! Есть лодка! — и подмигнул.

— Так точно! — слащаво добавил Кузин, — только надо незаметно... а то налезут! Айда к пароходу!

Заскрипела телега по песчаному берегу. В большой досчаник влезали, толкаясь, бросая туда узлы и чемоданы, вспотевшие, охрипшие люди с красными от злобы и толкотни лицами, растерянные, перепуганные, обезумевшие. Радовались, что черновская телега сдуру потащилась куда-то в другое место.

Мерно и густо громыхали красноармейские пушки.

К восьми часам артиллерийский обстрел внезапно прекратился, но тотчас же началась пулеметная трескотня: по временам она умолкала, но потом возобновлялась с еще большей силой.

Находившиеся вблизи караулки казармы оказались пустыми, и туда спешили соседские бабы и подростки за поживой: тащили вязанки листового табаку, конскую сбрую и всякий хлам.

Мимо караулки промчался выпущенный из конюшни серый в яблоках великолепный кровный жеребец.

Замолк пулеметный треск. Через несколько минут совсем близко послышалась беспорядочная ружейная пальба.

— Чего сидите? — крикнула одна из баб караульным, попрежнему сидевшим на бревнах,— перешли уже через речку, в город ворвались, вот тут недалеко стреляют!

Двое караульных еще раньше ушли домой, обещав через полчаса вернуться, но так и не вернулись. Новая смена тоже не являлась.

Решили оставить амбар без караула и разойтись по домам.

С тяжелым чувством, словно с камнем на душе, брел Кронид домой.

Когда, миновав пустыри и буераки, вошел в город, ружейная пальба послышалась ближе, словно за углом стреляли. На улице, кучками стоя у ворот, глазели обитатели окраины — бабы, дети, подростки.

Кронид повернул к Волге, чтобы сразу выйти на Венец. Стрельба то учащалась, то замирала, но заметно становилась слабее. Вслед за ним, обгоняя его, бежали один за другим к спуску солдаты белой армии. Хотел спросить их, но они бежали по другой стороне улицы, кто с ружьем, кто без ружья. Солнце начинало припекать. По лицам их струился пот, смешанный с грязью.

Крониду все еще не верилось, что белые разбиты: если бой продолжается, то, может быть, еще и отбросят красных?

Как раз мимо Кронида, задев его плечом, пробежал по тротуару молодой, безусый солдат в немецкой черной каске. Он тяжело дышал, отирая

грязный пот, струившийся по его желто-смуглому, запыленному лицу и держа ружье в опущенной руке.

— Ну, как дела? — крикнул ему в догонку Кронид.

Солдат на момент остановился, обернувшись на голос, не сразу понял, перевел дух.

И вдруг радостно, устало улыбнувшись, крикнул:

— Кронид?

— Коля!

— Куда бежишь?

— За Волгу! Дела — на Конной — понял? Нас вздули, но мы еще придем! Прощай! Каждая минута дорога! Кланяйся маме!

Коля побежал вперед, на глазах у Кронида перемахнул через забор и исчез в чьем-то саду, мелькая между деревьями, прямиком спускаясь под откос.

Кронид с грустью посмотрел ему вслед и тяжело вздохнул.

— Пропадет мальчишка! — думал он, шагая по тротуару.— Нет уж, пожалуй, не вернется!.. Эх, дернула Кольку нелегкая к чехам пристать!.. На Конной! значит уже в городе бой! Отстреливаются кое-как, задерживают красных, чтобы дать своим возможность убраться за Волгу. Эх, внуки Силы Гордеича!

Перестрелка угасала с каждой минутой и, наконец, совсем замерла.

Когда Кронид вышел на обрыв Старого Венца, глазам его предстала такая картина: глубоко внизу, под горой, от пристани отчалил «Меркурий», черневший наполнявшими его солдатами разбитой армии. Пароход медленно заворотился против течения и вскоре бросил якорь у заволжского берега.

— Не поспел Колька! — вздохнул Кронид, садясь на скамью.

Вслед за пароходом барахталось несколько лодок, которые сверху казались горстью брошенных в воду мошек.

Под откосом, в садах, слышались одиночные ружейные выстрелы: победители преследовали бегущих.

Через мост уходил последний поезд отступающих. Опять загромыхали пушки: должно быть, обстреливали поезда, а с моста отвечали из ружей. Поезд шел быстро и, благополучно выбравшись на берег, остановился: с парохода черной ниткой ползли солдаты, как муравьи.

В воздухе раздался такой густой и мощный удар, словно выстрелило одновременно несколько пушек, и последний пролет моста за Волгой опустился одним концом в воду.

Белые взорвали мост.

Над городом, прямым столбом, все более сгущаясь, поднимался дым. Кронид оглянулся: горел опустевший дом Черновых, бывшая охранка белых. Никто не тушил пожара. День был на редкость тихий, безветренный. Пламя вздымалось ровным, спокойным костром

Кронид задрожал. Оглянулся по сторонам: ближе всего был дом Баумана. Кронид, прячась за изгородью, прокрался к дому. Парадные двери

стояли раскрытыми. Вскочил в прихожую и запер двери за собой. Одно окно было раскрыто. Он подошел закрыть его.

По тротуару бежала та самая цыганка, которую он весной видел в окне тюрьмы. Взглянула на него, узнала, на момент остановилась.

Она была все такая же красивая, в том же костюме, в монистах и кольцах, в огненной шали. Всплеснула смуглыми руками.

— За Волгу бегу, небоже! Взяли город-то! Ой, лишенько!..— причитала она жалостным голосом.— Вже и тюрьму взяли, всех оттуда выпустили, вот и меня ослобонили.

Цыганка зажала голову руками и побежала дальше, к лестнице. На бегу обернулась, махнула рукой и вдруг пропала, сверкнув на солнце огненно-красною шалью.

Кронид захлопнул окно и обошел квартиру: она была брошена на произвол судьбы, на полу валялись обрывки газет, стояли пустые корзины, раскрытые шкафы. Бауман успел скрыться.

По Венцу шагом проехал эскадрон конницы на высоких лошадях с новой сбруей, с красными повязками на рукавах и алыми лентами на остроконечных желтых шлемах.

По опустевшей, безлюдной улице гулко звякали блестящие подковы лошадиных копыт.

Дом Черновых пылал среди неестественной тишины, об'явшей красивый город на вершине горы, отразившейся в зеркальной реке.

Когда Колька добежал до берега, пароход был уже на той стороне. Обливаясь пóтом и тяжело дыша, юноша остановился у широких мостков пароходной конторки «Меркурия». В садах раздавались ружейные выстрелы. Все лодки были за Волгой. Вдруг он услыхал под мостками спорящие голоса, показавшиеся ему знакомыми.

— Машинист сбежал, правьте сами! Как-нибудь доедете! — говорил слащавый голос.

— Да не умеем мы! Не доедем! — разом закричали два голоса.

— Тише! — послышался несомненный голос Крюкова.— Промедление смерти подобно! Ведь каждую минуту влопаться можно! Я тоже не умею и нельзя мне!.. Кузин, растолкуй им, как ее в ход пустить...

Послышались женские всхлипывания:

— Господи, что же это будет?

— Лучше бы на простой лодке!

Колька бросился вниз, спустился под мостки и наткнулся на всю компанию: Димитрий, Константин и Мельников с плачущими женами и детьми сидели в моторной лодке. Кузин и Крюков стояли под кручей у самой воды.

Внезапное появление солдата с ружьем заставило женщин вскрикнуть.

— Я это, я! — отирая пот с грязных щек, крикнул он.— Едем! Я умею править!..— Колька, не расставаясь с ружьем, вскочил в лодку.

— Теперича лодка, значит, ваша! — ласково говорил Кузин.

— Коля, заводи,— хлопотал Крюков.— Да лягте которые, не торчите, еще под шальную пулю попадете!

Константин насмешливо бросил Кузину:

— Спасибо за лодку!

— За сто тысяч! — тихо добавила Анна.

В это время подбежала цыганка и бросилась в ноги Крюкову.

— Ой, добрые люди, лишенько! Заховайте же и меня за собою! Бедная я, бедная сиротинка! — Цыганка заплакала.

— Коли бедная, так чего бежишь? — возразил Крюков, слегка отстраняя ее сапогом,— большаки за бедных стоят, а мы буржуи!

— Ой, лишенько, ребеночек у меня на той стороне! Муж и весь табор там! а тут война идет! Кто пожалеет цыганку? Век за вас всех бога буду молить! — Не дожидаясь разрешения, она полезла в лодку.

— Чорт с ней, место есть! — сказал Крюков.

— Будете счастливы, будете богаты, все минется, одна правда останется! — причитала цыганка.

— Ладно, ладно, скорее только! — с гримасой ответил Димитрий.

— Ребеночка жалко!

— И на что едем? Куда? Сами не знаем! Люди-то вон остаются! — говорила Зинаида.

— Отваливай! — скомандовал Крюков и отсунул тяжелую лодку, кряхтя и напрягаясь.

Заработал мотор, лодка сначала медленно, а потом все быстрее заскользила мимо конторки между якорных канатов. Сидевшие в ней перекрестились и прилегли за высокими бортами. Крюков и Кузин, здоровенные, широкоплечие, в старых, заплатанных поддевках вылезли из-под кручи и пошли на пустую барку пароходной конторки.

Лодка быстро удалялась, оставляя за собой пенистый след. С горы по ее направлению затрещали выстрелы. Обогнув остров, братья Черновы высунули головы; над городом стоял дым. Две кряжистые фигуры все еще виднелись на борту баржи, бородами друг к другу: о чем-то совещались. Два самых предприимчивых купца не захотели бежать, остались в руках ненавидевшей их революционной власти. Был у них какой-то план: в этом братья не сомневались. Женщины, как овцы, лежали, прижавшись одна к другой.

Белые, сойдя с парохода, зажгли его. Огонь побежал по бортам маленькими язычками и струйками, быстро превращаясь в яркое пламя. Многочисленные каюты в два яруса осветились изнутри веселым, ярко-золотым светом. Сидевшим в лодке слышно было, как трещали сухие, тонкие переборки, выкрашенные масляной краской. Дым восходил таким же прямым столбом в безветренном неподвижном воздухе, как и над догоравшим пламенем в городе.

Когда перегорели канаты, пылающий пароход, медленно поворачиваясь, поплыл сам собою вниз по течению. Силой воды и огня его вынесло на середину реки: весь огненно-золотой, прозрачный, он тихо, долго плыл по голубой, зеркально-спокойной реке.

Красная смородина

(Повесть)

Иван Новиков

Вот что случилось с одной деревенской девочкой на нашем селе.

Звали ее Дашей, фамилии у нее не было никакой; Даша жила приемышем у деревенского столяра Никанора. Не было у Даши и отчества, да пока она в нем и не нуждалась.

Подобрали ее, чистенько одетую, на Копьевском лугу у леса, за речкой. Как она туда попала и как заночевала там — от нее не могли добиться. Даша угрюмо молчала, и только глазенки ее посверкивали огоньком; впрочем, может быть, это было простым отсветом огней: барские усадьбы полыхали в то лето и ночью, и днем.

Никанор Говорной, крепкий мужик, каждый день с новыми свежими стружками в кудрявой своей бороде, не был бездетен, но дети у него подрастали лет до шести, до семи и умирали, точно над ними проведена была такая черта: расти, но не дальше! С течением лет он в этом деле отчаялся и жил с женой без детей; на риск подобрал себе Дашку.

Девочка долго росла темным, угрюмым зверком, будто что знала сама про себя, да только таила. Впрочем, и Говорные фамилии своей не оправдывали и были несловоохотливы, даже весьма.

— Не проживет николи и эта девчонка у Говорных,— судачили бабы,— видишь, как клонится к зёми. Другие тебе тянутся кверху, как яблоньки, а эта, как кустик: сама, как говорится, в себя завивает.

Но бабы ошиблись. Девочка в себе налилась и пошла в рост; будто что-то забыла и по-новому Даша открылась, заговорила и стала смеяться, а потом и такой говорок зазвенел, что за всех за троих оправдала приемную свою фамилию.

Выросла Даша — крепкая девочка, проворная, темно-кудрявая, очень способная в школе и на дому, и по хозяйству; всюду поспеет и все у нее будто горит.

Рано, до свету, подымалась она и, не зажигая огня, умывалась — тихо, как мышь — из глиняного висячего горшочка, потом убирала постель (спала она на лавке) и через холодные сени пробегала на кухню; у Никанора дом был просторный, на две половины. Там ее ждали: с вечера нарубленный хворост, картошка из погреба, головка капусты, свекла и лук. Тут она зажигала под потолком висячую лампу и, засучив рукава, как настоящая

заправская баба, принималась за работу — стряпню. Все у нее было в порядке и все припасено. Быстро она растапливала печь, чистила картошку, кидала туда горстку крупной сероватой соли и, отодвинув говорливый пылающий хворост, ставила в устье горшок, потом она все заготовляла для обеда: кашу и щи, чтобы поставить потом, когда огонь прогорит; кирпичный под накалялся, как уголь, и в жарко натопленной печке обед не только будет готов, но и щи протомятся как следует и на каше поджарится корочка.

Тем временем Никанор задавал на дворе корму скотине, и Даша, выбегая за квасом на погреб (квас любили холодный и на ночь его не приносили), успевала еще помочь и отцу. Особенно нравилось ей резать отрезком косы гладкую и холодную солому: лошадь держали на сене, а корове задавали резку, посыпанную отрубями. Ловко вжикала Даша острой косой, и желтые дудочки падали, рассыпаясь, в большую корзину.

Туда же на двор приходила и мать, Аграфена Михайловна (хоть и бездетную, а звали ее из почтения по имени и отчеству: была она хорошо грамотная, мещанка из пригорода, и во время войны писала и читала письма всей деревне). Она была худенькая, узкая; крестьянская трудная жизнь, как видно, была не вовсе по ней и, может быть, оттого и дети ее долго не выживали. Дашу она так полюбила: должно быть, любовь свою за всех четверых умерших детей собрала, как пучок и перевязала в одно, и всю ее, не развязывая, отдала чужой этой девочке. Она бы, пожалуй, и к самой работе ее не подпускала, да слаба стала на ноги: ломота в спине и глаза застилает. Однакоже птицу кормила сама, да и коров у нее. приемная дочка отнимала только по воскресеньям: очень любила Даша доить, да в будни не успевала всего, глядишь — перед печкой надо и к школе коечего почитать!

Покончив дела, покормивши скотину, садились и сами за стол. С морозу на кухне охватывал жар. Трещало в печи, дымилась картошка, гудел под трубой самовар (сбегав за квасом, Даша быстро кидала в трубу горячие угли). Завтракали не торопясь — чинно и плотно. Сначала ели картошку с квасом и накрошенным луком, потом ели картошку с постным маслом и опять-таки с луком, но лук макали в соль и откусывали, и это было как лакомство. Потом пили чай и когда его допивали, можно было уже тушить лампу: с ровной и мягкой снежной перины сонная ночь уже уползла, и сизый холодный рассвет неспешно похаживал по соломенным крышам домов, греясь в густом и теплом дыму. Скоро бежать Даше и в школу!

И школу — на горке, в бывшем помещичьем старом дому — Даша любила: зима или не зима, а в доме с колоннами всегда половодье: гомон, возня — как птицы на первых проталинках.

Копьевская школа была и обычная школа, и несколько особого типа. В имении некогда было отличное садоводство и старый помещик — «Чудила-Мученик», как его прозвали в округе, когда он еще только затевал свои новшества и их утверждал у себя под воркотню и насмешки соседей, оставил крестьянам плодовое дело. В доме теперь многолюдная школа, а рядом во флигеле — молодой агроном, бывший подпасок в имении магната Ши-

ринского, на той стороне, за рекой. Там и сидеть бы, пожалуй, ему, Ивану Егоровичу, в этом огромном совхозе, но в Тимирязевке он пошел по плодовому делу да так и осел — на Копьевке.

Сад был огромный и содержался в образцовом порядке; целая плантация слив. Да и в округе сады зацвели у крестьян. Вместе со школьным давали они довольно изрядно: одна только плодосушилка по осени в сутки пропускала до ста пятидесяти пудов сырья. Но в хозяйстве было поставлено кроме того и образцовое сырьевое дело: овощи, фрукты в специальных подвалах сохранялись в продажу к весне в нетронутом, свежем их виде.

Были, конечно, на производстве и специалисты-рабочие, но школьники сами очень вникали во все и «производственные занятия» эти любили.

Со знанием дела, со свежим чутьем, между других на сборе плодов работала Даша. Груши и яблоки, особенно сливы, требовали большого внимания и деликатности. Даша снимала их артистически — со стебельком, не дотрагиваясь до них руками, тут же связывала ниткою по два плода и передавала подруге; и на веревочке в погребе их вешала так, чтобы они не касались друг друга. Даже и птичий подросточий гомон в широком саду тогда примолкал, это было похоже на священнодействие.

Но совсем по-другому шумел массовый сбор, когда роботала плодосушилка. Она похожа была на огромный, жарко разинутый рот, непрерывно алкавший; подвижные решета походили на челюсти, пахучий дымок охватывал их пряным, сырым ароматом. Тут больше работали мальчики, Даша с подругами орудовала между деревьев. У нее была своя специальность — трусильщицы.

Под обмазанный известью ствол подводился брезент с круглым отверстием посередине. С одной стороны до этого воротничка два полотнища оставлялись несшитыми, брезент охватывал дерево и тогда соединяли свободные стороны парными завязками. У отверстия, огибавшего ствол, и в самом деле пришит был «воротничок», его привязывали веревочкой к дереву, чтобы туда не просыпались плоды. Четверо будут держать, а Даша — на дерево!

По деревьям она лазила быстро, легко; подвижные ее загорелые ноги между ветвей всегда находили удобное, ладное место; кожа на солнце тепло золотилась, сама подобная коже плода. Влезет и ждет, пока закрепят брезент у ствола; темные глазки повисли, немного скошенные, между листвы, губы в движении (есть было можно сколько угодно), сахарный сок блестит на губах, и вся задремавшая, тяжелая сладостью крона — как воздушный, сквозной, теплый шалаш. Сквозь зелень отсюда — кроны, стволы — кроны, стволы: точно взметанные вверх стога из душистых плодов.

Ветки трясти надо легонько, одну за другой, чтобы падали сливы только созревшие. Даша была мастерица: короткий толчок — ветка за веткой — и сиреневый, розовый, синий дождик внизу... Иногда под ногой дрогнет корявая узловатая ветвь, послышится хруст — Даша прижмется к стволу молодой свободной грудью, схватилась цепкой рукой и переступит на более

прочную ветку. Но однажды пришлось все-таки рухнула Даша с высокой раскидистой груши, подгнившая ветка не выдержала и подломилась. Как плод, перекидываемый с решета на решето, Даша упала не сразу, пытаясь схватиться за сучья и обрываясь. Ушиблась она, по счастью, не сильно, но вся ободралась — ноги и руки, шею и грудь; синее платьице было изодрано в ленточки.

Это падение для Даши осталось в воспоминании каким-то зеленодымным костром, в котором все тело покалывали незримые языки огня.

Странно, она даже ничуть не испугалась, ее одолел, взамен того, неудержимый прерывистый смех. И даже когда отвели ее в школу, и ставший серьезным заведующий, порывшись в кармане и выбравши ключик, отворял уже желтый шкафик аптечки, а ей стало ужасно неловко и чуточку боязно за то, что испортила дерево, девочка все же давилась в кулак от душившего горло досадного смеха.

Пастух-агроном занялся ее ранками почти с педантической тщательностью. Лечебное это занятие было ему не в привычку, и он даже посапывал носом, сдержанно-густо вдыхая иодистый запах крепкими своими полевыми ноздрями; Даше казалось — рядом посапывает молодая лошадка. Ей было больно — иод очень жег — и продолжало быть не по себе, но мягкая теплота тайно разливалась под кожей. Наконец, он ее разрисовал до конца: синие ленты — вместо платья, узенькие струйки запекшейся крови, похожие на коротенькие веточки кораллов, буро-желтые иодные пятна — как смола на вишневом загаре ее разгоревшейся кожи — все это было пестро и забавно: кусочек доморощенного маскарада. Иван Егорович даже слегка отступил перед своим произведением и, почти как художник, прищурил глаза и тронул очки.

— Ну, Говорная,— сказал он,— разодолжила! Другой раз так не летай!

Он засмеялся и слегка ударил ее по спине, по лопатке. Девочка повернулась под его ладонью и выбежала вон.

Иван Егорович спрятал назад баночку иода, вымыл руки под рукомойником, подошел к окну, где висело полотенце и протянул руку, чтобы его достать, но вместо того оперся рукою на подоконник: в окне он увидал еще неушедшую Дашу. Около нее была небольшая кучка ребят. Девочка звонко смеялась, рассказывала, и, не в силах сдержаться, складывала руки на животе, от смеха покачиваясь. Иван Егорович внезапно чего-то вдруг рассердился — на себя не похоже,— хотел им крикнуть в окно, чтобы шли на работу, но удержался и продолжал глядеть, забыв про полотенце. Так незаметно руки его высохли сами собой, и ветерок из-за откинутой рамы длинным своим языком лизал, не таясь, его шершавую кожу.

А Даша сама, только когда ложилась спать, вдруг застыдилась по-настоящему, и уже не того, что сломано дерево, и не того, что Ивана Егоровича оторвала от работы, а чего-то другого, про что не сумела бы связно сказать. Этот нечаянный стыд с опозданием был очень короток и очень горяч: будто иодом мазнули внутри — под ребрами сердце. Впрочем, этот ожег, как и те, настоящие, очень скоро прошел, и Даша быстро заснула

на жестком своем половичке. А ночью ей снилось, что она летает и падает, летает и падает. «А ведь я обещала ему, что я не буду больше летать!» — думала Даша во сне и тотчас сама себе говорила: «Нет, ничего я и никому не обещала!» — и летела опять: летела и падала.

Даша училась отлично, не по годам; молодой агроном ладил ее в Тимирязевку. Впрочем, их несколько было таких — выдвиженок. Зимою для них был отдельный урок, вернее, занятия, практика в лаборатории: нижний, полуподвальный этаж. Собственно, там происходили по осени работы, связанные с сушкой плодов, стояли чаны для обваривания в щелочном кипятке, два бокастеньких автоклава для стерилизации банок, наполненных черносливом, тощая, похожая на цаплю с отдельными торчащими перьями — закаточная машина, на которой Даша ухитрялась запаивать крышки на банках до полутораста штук в час, самодельный белильный шкаф, в равной мере пропахнувший серой и яблоками. В отдалении, в углу, покоился без употребления коленчатый сложный кожицесниматель «Уникум».

— Никаких не надо нам уникумов! — говорил, как будто сердился, никогда не сердившийся Иван Егорович.— Это, может, для гражданина Ширинского кожицу надо было снимать, тонкий любитель был шкуры сдирать с нашего брата, так и плодовую шкурку не мог претерпеть.

— А ведь без шкурки нежней, говорят, и за границу бывало так отправляли.

— Все это видимость, глупость, деликатес! — И агроном ерошил очки и развивал своим слушателям теорию о витаминах, находящихся именно в кожице.

Даша любила, когда их учитель немножечко так «задавался». Он был высок, немного сутул, правая рука иногда далеко заходила за спину, как будто вот-вот поднимет, позади головы, длинный веревочный кнут, обкружит там кнутовище несколько раз и щелкнет с оттяжкой, будя под холмом дальнее эхо.

Кожа плода, витамины... Даша посапывала и подпирала щеку рукой. Слабый, но явственный запах отгоревшего лета щекотал ее ноздри; под кожей играла молодая ее, еще затаенная жизнь; о «загранице» говорили они — и не раз — по вечерам, во время занятий, о которых мы помянули.

Еще были в Копьеве «ветхие деньми» старушки, которым казалось, что в мрачном подвале Чудилы-Мученика творится недоброе. Знахарка Пафнутьевна не раз и не два тайком пробиралась к заделанному решеткою боковому окну. Вытяжной шкаф над плитою работал с дефектом, и едкие серные и хлористые пары, стлавшиеся в воздухе, заставляли открывать окно. Осторожно, старою кошкою подбиралась знахарка и клала длинный горбатый свой нос на заржавленный прут. Запах кислот щекотал ее серые ноздри, в горле першило, желтые ребра в груди мерно поскрипывали: было похоже, как если бы жерди, полугнилые, под злыми порывами ветра, стонут о скорой погибели старого дома. Но все это нашу старуху не останавливало. Серо-зеленые глазки ее, запорошенные седою пургою времен, хищно глядели, впиваясь, разглядывая, как красным грибком накаляется платина

и, ядовитый, над тиглем клубится дымок, как лижет по воздуху, под паяльною трубкой, медный зеленый огонь.

Подростков-ребят старуха Пафнутьевна вовсе почти не замечала, они ей без надобности. В каком-то особенном смысле держала она высоко свое женское знамя. Была в ее жизни пора, когда она так мужиками пошвыривала, как щепою играет весенний ручей, да и много спустя, когда у нее уже был заслуженный титул заправской колдуньи, скольких и скольких бородачей обвивала она вокруг пальца — истинно так, как обвивала суровую нить, выдернутую из старой своей, затасканной поневы-спидницы; презрительным смехом смеялась она в кудлатые мужицкие бороды. А баб и девчонок жалела; держала она, не изменяя себе, слабую сторону — учила коварству и хитрости, заметала следы, выгораживала...

Ветер подул из окна, заколыхались огни. Даша, сидевшая рядом с окном — возле стены, за весами (первая между других, она перешла на количественный анализ) — встала, чтобы притворить раскрытую раму. Рама была за решеткой, и надобно было дернуть ее за веревочку. Не глядя, схватила она размочаленный кончик веревки и совсем уж хотела ее потянуть, но подняла глаза и отскочила. Разбитое рыжим квадратом седое лицо, скрюченный нос на ржавом пруте, желто-зеленые, жидкие по ветру волосы,— все это было так дико и страшно, что Даша, помедлив, испустила глухой и сдавленный крик. К ней подскочили, но за окном ничего уже не было. Резво порхали по ветру молодые прохладные снежинки. Порезвившись, они падали на шершавые прутья решетки и медленно, медленно таяли. Так однажды на Дашу взглянула из тьмы древняя, мшистая, изжелта-серая быль.

Мальчишки смеялись потом:

— Ты бы дернула сразу, и нос бы ей прищемила!

Пафнутьевна скоро потом умерла; кто знает, каковы были ее предсмертные думы.

Далеко, на все стороны света, лежали поля, под сугробами теплилась, поджидая весны, затаенная жизнь. В глухих деревнях, в хатах, занесенных снегом, шли разговоры, ворочались неторопливые мужицкие думы. Хозяйство кругом было в движении, люди и их отношения — все перестраивалось. Космический ход земледельческой жизни, диктуемой солнцем, погодой, дождями, претерпевал вторжение сил посторонних. В близком соседстве возникали хозяйства нового типа. За четырнадцать верст, на Красном Ключе — не довольно того, что поля в общей запашке — строили общий огромный домино, с обширной столовой в будущем, с общей кухней. В читальне при доме, еще не отделанной, однако, уже слушали вечером радио, читали газеты: передвижка значительная! В коллективном хозяйстве был свой тракторист. В избе его было убого, он был из приезжих, недавно женат, и с изумлением глядели проезжавшие по большаку на телегах, как, отработав и вымывшись, сидел за деревянным столом под ракитой Андрей Николаевич и читал, не спеша, молодой рыжеватой Катюше журнал! Даша была с ним знакома и старые тетрадочки эти (давали ей сразу пачку прочитанных) — журнал путешествий — знала чуть что не наизусть.

Не все было ладно и не все сразу становилось на место в Красном Ключе. Сшить из кусочков огромное одно одеяло — дело нелегкое! Ладить же общее дело с полями на девять верст в долину,— надобно думать, что потрудней. Но появились машины — левиафаны наших времен — и стальной своей дратвой прошнуровали все накрепко; немало задорных затылков стесала машина под общий уклон: эта причешет!

— Эта дурь-то расчешет тебе! — говорили кругом мужики.— Торфяные мозги твои вынет, а вложит фабришные!

Говорили подчас не без ехидства и не без лукавства: поживем — поглядим, как городьба эта будет разваливаться.

— По звонку — на работу! Да чорт их возьми, я знаю и сам, когда мне работать, а когда и полежать. А тут на работу не выйдешь — плати!

— И яблочка там в саду не сорви,— вторила баба,— или сметанки ребенку, горсточку масла...

Больше всего изумляло, что из трех деревень, соединившихся вместе хозяйничать, семь мужицких дворов, самых зажиточных, в коллектив свой не приняли, дали им землю далеко на отлете.

— Видишь, зараза от нас! — об'яснял на базаре один из лишенцев.— Потому как мы, видишь ли, отравляем умы!

Даша была девочка шустрая, многое видела, соображала. У нее-то самой колебаний, пожалуй что, не было: молодой агроном твердо их вел, но дома не раз скрипели сомнения, грузно ворочались мысли у старших, точь-в-точь, как во многих и многих занесенных глухими сугробами хатах. Одно только видела Даша, что тугая раскачка идет и идет. И особенно два замечательных пункта прорезáли мозги: детские ясли — у баб и самые эти машины — у мужиков; удобрения — туго, ученый агрономический разговор — еще того туже, ну, а выедет трактор — хочется шапку ломать и отвесить до зѐми поклон!

Даша еще молода, скоро шестнадцать, и корешки пускала она по-молодому, по-новому, ей себя вовсе не надо было ломать. Учение в Копьеве клало на всех на них отпечаток отличный. Это был интересный, особенный — как огонек — кусочек науки между недавно глухих полынных просторов. Наука — всегда что-то далекое, строгое, скачи до нее — не доскачешь, и вот она тут — как лампа, которую зажгли и поставили прямо на стол; и видно от лампы — далеко!

Даша любила и сад, и плоды, и сушилку, но специальность себе намечала другую: больше всех витаминов она любила всякую живность — коров, лошадей, уток, цыплят. С ней, как была она еще вовсе ребенком, случился такой анекдот. Аграфена Михайловна, приемная мать, куда-то ушла; Никанор, по обычаю, строгал свои доски. Стояла жара, цыплята пищали, между цыплят в распашонке, растопыривши пальцы, сидела и Даша; неподалеку, откинувши ногу, грелась на солнце соседская утка. Даша глядела и думала, что надо цыплят покормить, поглядела на утку, как она сонно лежит, вытянув жирную ногу, и сразу сообразила. Под громкое квохтанье наседки напихала она в рубашонку цыплят и потихоньку приковыляла к ленивой, на

солнце распаренной утке. Сразу она на нее навалилась и стала подсовывать ей цыплят, одного за другим, чтобы они пососали. Утка рвалась, цыплята кричали, кудахтала курица. Даша вспотела, ей было неловко и трудно справляться с цыплятами, с уткой, но она все продолжала с настойчивостью совать золотые комочки в пушистую уткину грудь. На всю эту кутерьму вернулась как раз Аграфена Михайловна.

— Ты что это делаешь? Ты утку задушишь!

— А я думала, мамочка, у ней молочко пожирней, чем у хохлатки!

Даша знала теперь, что птичьего молока не бывает, но хорошо помнила о простом молоке и мечтала своей специальностью сделать животноводство. Корову их звали Агафьей и, как доила Агафью, думала Даша о... Дании. Это бродили в ней школьные их разговоры о загранице.

Иван Егорович сам за границей, немудрено, не бывал, но по-немецки читать научился, и в плодовом хозяйстве их многие из машин и приборов были из-за границы; кажется, он втайне подумывал о командировке в Германию — не сейчас, так со временем. Даша — очень внимательная к молодому учителю — порою об этом читала под стальными его деловыми очками, как случалось Ивану Егоровичу вдруг посреди делового разговора задуматься. Поймает на этом себя, дернет очки и закончит неспешно, размеренно оборванную свою полуфразу, а коротенький вздох через ноздри — похоже, как будто наскоро сунул свою молчаливую мысль в дорожный мешок, а самый мешок отодвинул в угол ногой — лежи там да поджидай!

Мысли у Даши о загранице очень двоились, а то и троились. Наши враги — буржуазия, наши союзники — пролетариат,— все это крепко сидело и не вызывало сомнений; также крепко сидело: высокая техника! Но и еще — журнал путешествий, из номера в номер, неустанно тревожил воображение. Путешествия, бури, аэропланы, неизвестный мир диких зверей...

В юности часто случайно запавшее слово пускает в душе корешки; приютится оно, незаметно сначала, где-нибудь на самых задворках — возле плетня, на огороде, а потом, глядишь, куст, а с годами — шумит, как вольное дерево по ветру, и зацветает каждую весну кулами пышных цветов... Даша попала однажды в городе, вместе с Никанором, на железнодорожную станцию; у него были дела на товарной. Мимо шел поезд, остановился на три минуты. Даша глядела, как из вагонов вылезли люди — смеялись, ходили; ей было все интересно.

— Город Мещовск! — сказал господин с толстым брюшком.— Раньше торговый был город, а теперь одни только яблоки.

Даша обиделась: «Приехал бы в школу к нам — поглядел!» — подумала она с некоторым вызовом, но ничего не сказала и отошла; и не эти слова в ней проросли: брюзжанье не прорастет! Два пассажира и девочка в коричневом клетчатом платьице говорили поодаль на неизвестном ей языке. Они были оба в белых штанах, волосы гладко расчесаны сбоку, будто только что вымыли голову, один был высок, с далеко откинутым лбом и сильно выступавшими надбровными дугами, у другого лицо — как у гор-

буна, хотя он и не был горбун. Девочка дашиных лет походила на перелетную птичку, на минутку присевшую передохнуть, и носик у ней был чем-то желтым запачкан; за окошком вагона торчали две белые лилии.

Даша глядела на них, раскрывши глаза; перелетная девочка глядела на Дашу. Старшие заняты были своим разговором. Вдруг человек с лицом горбуна глухо закашлял.

Девочка в клетчатом платье к нему подошла, тронула руку. Дали звонок, прогудел паровоз, и машина поехала. Около лилий в окне мелькнуло лицо — наверное, дочери горбатого этого негорбуна.

Даша девочка умная и Даша жива: все в ней в движении. Она поняла и почувствовала, как смешаны горечь и радость. В сложностях Даша совсем не привыкла копаться, впечатление это так же просто она в себя приняла, как если бы с'ела свежее яблоко. Но яблоко с'едено и «витамины» в крови, то-есть в самой сути всех сутей.

На обратном пути, как всегда, заехал Никанор к трактористу Андрею Николаевичу. Они увидали его, не доезжая до хаты. Он привстал на своем жестком сиденьи, и, сама громыхая по пыльному большаку, видела Даша сегодня двойное движение, как никогда не доводилось ей замечать: машина, пыхтя, ехала по полю, а на машине стоял и двигался меж облаков тракторист Андрей Николаевич; и он себя чувствовал там так же точь-в-точь, как у себя под ракитой. Еще издали он закричал:

— Никанор! Дашутка! Здорово! Вы там никого не найдете, Катя теперь работает в яслях.

Под'ехав, он отцепил из-за пояса ключ и дал его Даше.

— Отложены! Что к нам давно не бывала? А ключ схоронишь под камень, у порожка положен.

Никанор поил коней у ручья, Даша достала журналы, спрятала ключ; под камнем лежал холодок.

Лошади, фыркая, пили студеную воду; пили неспешно, как бы пожевывая. По временам они отрывались и медлили, наслаждаясь прохладой. С их невысоко поднятых морд, из-за неплотно прижатой губы срывались и падали тяжелые капли; капли не были круглыми и формой своей напоминали ей грушу. Так по-особому нынче видела Даша привычные мелочи.

Она и сама напилась после коней и слышала, как шевелятся губы ее в журчащей воде; пила бы, не отрываясь, пила.

Даша скоро забыла про станцию и про людей, у которых пробор блестел будто мокрый, и про клетчатую девочку с желтым испачканным носиком; и еще крепче забыла она, что отец этой девочки — она догадалась — болен и едет лечиться; жизнь отбирает свое, то, что потребно для жизни. Но уж наверное, только казалось, что позабыла — это слова, короткие и торопливые, но зато единственные, которые она поняла, — слова про движение и самое в них замечательное было то, что они прозвучали между чужих, непонятных ей слов, будто сама заграница что-то сказала по-русски. Спросить бы у Даши, отчего через несколько дней она попросила Ивана

Егоровича показать ей немецкие буквы и вообще ей помочь в этом деле, Даша сказала бы просто:

— Так, захотелось чего-то!

А тут еще аэроплан!

Про аэроплан только слыхали, только читали — и вдруг...

Был август, работы в саду в полном разгаре. Даше было поручено тонкое дело: окулировка. Надобно было привить спящим глазком десятка три молоденьких яблок. Иван Егорович сам нынче привез от Ширинского (где был пастухом) несколько свежих побегов особой разновидности апорта Работу они разделили поровну: у кого выйдет лучше!

— Это, Даша, тебе не корову доить,— смеялся заведующий,— дело это потоньше!

Он иногда любил над Дашей подтрунивать. Но и Даша не оставалась в долгу.

— А давайте и там об'явим соревнование!

Даша с садовым ножом обходилась с мальчишечьей ловкостью. Кривой этот нож, специально изогнутый, был как живой между живыми пальцами девушки.

За работой примолкли. Даша с большою заботливостью выбирала местечко, где делать прививку. Аккуратно, ни глубже, ни мельче, надрезала она свежую кожу дичка, чуть холодившую пальцы, и уверенно под поперечным проводила продольный надрез, тотчас отгибая по обе стороны воротничок. Глазок со щитком из нижней части побега, «спящий», но хорошо развитой, бывал уже заготовлен. Не теряя секунды, вводила его за воротничок и прижимала крепко большими пальцами. Потом слегка мазала варом и аккуратно над почкой уверенно прижимала неширокий полоскою мягкой мочалы. Оба конца перекрещивались назади и ложились спереди уже крест-на-крест; переставало теперь походить на хирургию, на операцию, и становилось больше похоже, как если бы Даша пеленала грудного ребенка.

От Ивана Егоровича она отставала в быстроте и автоматизме движений, но никак не в добротности самой работы. Ученичество крепко еще сидело в ней, но она вкладывала в эту работу, как и во все, что бы ни делала, много тепла и воображения. Так, твердо она памятовала, как аккуратно надо приладить камбий одного среза к камбию другого; чем это искуснее сделать — тем больше надежды на хороший успех. Но знания эти не сидели в ее голове мертвым пучком лучистых заноз, живо она представляла себе и свежую ранку, и то, как смешаются соки, и как одна ткань начнет прирастать к ткани другой. Возясь, как с детьми, с молодыми дичками, Даша закончит прививку и отодвинется на долю минуты — взглянуть! Потом, будто как собираясь оправить новое платьице, играя почти, отхватит верхушку дичка и полуобрежет — согласно канону науки — листы: равно у дичка и у «его благородия».

Движений немного, но Даше тепло, она изнутри разгорелась и, подобно Ивану Егоровичу, также немного посапывает; губы зажаты по-деловому.

— Даша, это ты у меня научилась? Сопишь, как лошадка.

— У вас.

И, помолчав, добавляет:

— Вы говорили: дышать через нос.

Он глядит на нее, улыбается; Даша глядит на него, улыбается тоже. Потом у него уши зашевелились; зашевелились они и у Даши. Дружба такая у них? Может и дружба, но только сейчас оба внезапно они услыхали, как что-то жужжит — как заводная игрушка за дверью. Но в вечернем саду нет ни дверей, ни игрушек. Скоро закат, низкое солнце зарозовило стволы; пахнет землей и листвой; пахнет плодами; а по земле будто бежит и стрекочет узкой иглой; ни капли не по земле, а по верхушкам — по яблокам, грушам, по оранжево-красной рябине; и нет же, нет! — не по рябине совсем — по облакам! И только успел Иван Егорович рот раскрыть, как закричали мальчишки, будто из разных мест разом открыли пальбу:

— Аэроплан! Аэроплан!

Это было событие в копьевской глуши. С деревьев, из-под кустов, с открытых полян в небо летели глаза: в небе летел аэроплан. Казалось, что он не спешил и двигался меж облаков спокойно, легко.

Аэроплан пролетел несколько стороной, но все же профиль его заметно удлинился. Первые крики восторга замерли и сменились восхищенною тишиной, через которую, как звенящая нить, было продернуто острое это звучание; самым поразительным в нем было то, что оно состояло из повторных, но каждый сам по себе законченных звуков, подобных сверканью иглы, повернутой на солнце; и, однакоже, все это в целом не обрывалось и было единым; это звучало движение.

Даша следила полет, не отрываясь. Она стояла, застыв, рядом с Иваном Егоровичем. У нее было тайное ощущение, что это она, что аэроплан — это она. Невольно она, как бы проверяя себя, тронула руку соседа; мгновенно земное солнечное тепло шевельнуло ее пальцы и отозвалось в груди. Смущенно, неловко она отодвинула руку, но молодой агроном настиг ее в воздухе. Никогда ничего такого ни с нею, ни с ним не случалось; он крепко зажал ее пальцы, так, что челюсти сжались во рту, и очень коротко так подержал; потом он отпустил ее руку, и дашина рука, как предмет, принадлежавший не ей, упала сама по себе, ударив ее по бедру и отскочив немного в сторону. Аэроплан скрывался за садом, серый, чуть золотящийся.

Так на деревне Даша росла. Годы ее, один за другим, были похожи между собою и непохожи, один покрывая собою другой, один в другой прорастая. Но вскоре после пролета аэроплана с Дашей произошло одно приключение, послужившее началом целого ряда событий, круто ее жизнь перевернувших.

В пяти верстах от Копьева лежало село Ширинское-Шарик. Сложное это наименование произошло от известной дворянской фамилии и от имени неведомой миру, но увековеченной делом последнего владельца имения любимой собачки супруги его, урожденной графини Бибиковой. Бибиковы были в родстве с сыном знаменитого Суворова, Александром Александровичем,

генерал-губернатором в С.-Петербурге. Семья эта хранила русские традиции и, вопреки модному галломанству, давала животным простые деревенские прозвища. От них и попал к нашей графине прославленный Шарик. В один из наездов в Ширинское эта собачка здесь захворала желудком и, несмотря на все старания ветеринара и вызванных из губернского города врачей, приказала долго жить. Все формальности по переименованию села из просто Ширинского в Ширинское-Шарик были проведены законным порядком. Так и живет и в наши революционные дни имя невинной страдалицы-собачки!

Ширинское-Шарик — это также и имя совхоза, раскинувшегося на обширных полях бывшего имения. Совхоз находился в тесных сношениях с копьевскою школой. Но был там и теневой центр бытия на селе; назывался он скромно, лойяльно: чайная «Гусли». Чайную эту в аренде держал (и аренду платил образцово) местный крепыш Фаддей Никодимыч.

Человек это был оборотист. Под образами в просторном дому его аккуратно была развешена целая серия лозунгов,— вплоть до призыва вступать в ряды ВКП(б). Портреты вождей обрамляли с ласкающей глаз симметрией любезное сердцу хозяина свидетельство от консистории с синей фигурной печатью, выданное за беспорочное несение службы в качестве церковного старосты втечение четверти века.

Эту давнюю службу свою он нынче оставил, но в оскудевшую церковь и теперь постоянно ходил, нося подмышкою аккуратно сложенный коврик — для гигиенического коленопреклонения. Он становился неизменно у клироса и подпевал тем же хриповатым баском, в котором не трудно было узнать интонации интернационала, когда в торжественных случаях он выручал многоголосый хор, не знавший всех слов пролетарского гимна; Фаддей Никодимыч твердо знал его наизусть, не хуже псалмов библейского царя Давида.

Вернувшись домой, он самолично вытряхивал коврик, мыл руки, чадам и домочадцам делил серенькую, потрескавшуюся просфору, а от нее непосредственно переходил к пирогу, который был уже значительно побелее. За пирогом восседала семья, по-воскресному убранная и причесанная. Семейка была, скромно сказать, пестра: от розовощекого комсомольца до худенького прыщавого юноши, официально пребывавшего в Киеве в каком-то мифическом фабзавуче при «об'единенной фабрике мягких корсетов» (!), а на деле учившегося в полулегальной, но отнюдь не мифической духовной семинарии, которую отец в интимном кругу неизменно величал академией.

Судьбы хранили этот многовместительный дом, в котором возносили молитвы в дни советских торжеств и выкидывали на коньке красный флаг— на пасху и на рождество.

Такова была эта «чайная»; таков был хозяин ее — арендатор — Фаддей Никодимыч. Знали его и к нему наезжали порою издалека; в стеклянной подслеповатой его «галдарейке» с пучками лекарственных трав на гвоздях, мешочками, свертками, тючками из аккуратной рогожки — под лавкою и по углам, с широкой картиной в позолоченной раме, изображав-

шей лежащую с книгою женщину (копия известной, по правде сказать, пошловатой картины, извлеченная из господского дома) — там всегда находилось местечко, чтобы раскинуть кровать для приезжего гостя. Изголовью кровати надо бы быть к простенку, украшенному живописною женщиной, но Фаддей Никодимыч бывал неизменно заботлив к гостям и выказывал тонкое понимание по части эстетики. Чтобы подушка не проваливалась, у свободного края походной кровати он не ленился подгородить старый, точимый червями комодец: головою возлегши к нему, гость, таким образом, мог любоваться очаровательным зрелищем — в меру своих законных желаний.

— Грешен! Люблю образцы высокого художества, да-с! Люблю осязать глазом своим полногрудость изящную, не виноград, а чистая дынька-с, ароматическая.

Гость разделял вкусы хозяина, но все же немного смущался.

— А вы не смущайтесь, я вас утверждаю-с. Конечно, повесить такое — в горнице, рядом с лозунгами — неделикатно, да и под киотом тоже, скажу, неподобно, ну, а в штатском, сказать, уголке — веселит, и чувства, опять же, достаточно нежит. В лунном сиянии лучик скользнет, например — благородно, уютно-с! Откровенно сказать, совпадает с мечтаниями.

Гости у Фаддея Никодимыча были весьма разнообразные: диапазон его интересов был очень обширен. Однажды пожаловал гость и из далекой Москвы; это было событием.

Между селом Ширинское-Шарик и Копьевым-селом порядочный лес. Правда, с обеих сторон он изрядно прорежен: деревеньки на вольном лесу за революцию изрядно обстроились. От речки Копьевки, по той стороне — к лесу луга, а за лугами полянки по ссечкам в лесу; туда выпускали телят, гоняли в ночное.

У Говорных пропала телушка. Даша под вечер побежала на поиски. Она забежала далеко, кликала телку. Телка не отзывалась. Возле узкой протоптанной тропки Даше попался орешник. Она не утерпела и раздвинула куст. Из-за куста на нее, глаза в глаза, глянул волк.

Волк был одет в приличный костюм. Непостижимо, как это Даша ошиблась (если ошиблась). Костюм даже был чрезмерно приличен. Брюки в полоску; подогнуты; белый жилет, отдающий слегка в желтизну; аккуратный люстриновый пиджачок и шахматный галстучек: зеленая клетка, желтая клетка; к тому же в руках плотная трость с набалдашником и на голове... котелок: волк, взглянувший Даше в глаза, был в котелке!

Он глядел через куст (Даша как ветки раскинула, так и застыла), глядел и молчал. Глаза у него были мелкие, рыжие и сдвинуты скулы; скулы были покрыты аккуратно подстриженными остатками бак; эти остатки — котлетки с загибом — огненно-вылинялые. Нос был вытянут харей; ее, по оплошности, природа не опушила. Губ на лице вовсе не было; было пробритое, гладкое, пустое место. Но на пустом этом месте вдруг появился надрез и глянули острые редкие зубы кофейного цвета; они были тупы и сжё-

ваны, как у старой лошади. Одновременно с тем поднял он котелок; рука оказалась в серой перчатке.

— Вы, гражданка, смею спросить, не из Копьева ли будете?

Говорливая Даша молчала, будто немая; дохленький его тенорок, странно овеянный грустью, лишал ее сил, она продолжала пребывать недвижимой. Он два раза негромко и осторожно икнул; острый, печальный кадык его показался и спрятался.

— Так-с, понимаю... — Он помолчал, вынул сиреневый платочек из бокового кармашка и помахал себе в рот; спрятал платочек.

— Так-с, понимаю... догадываюсь!

Даша хотела бежать, но странное оцепенение еще не вовсе ее покинуло. Однакож, она прошептала с натурой:

— Я вас не знаю!

— Нет, вы меня изволите знать! — старательно изогнулся странный ее собеседник; под золотою цепочкой, пересекавшей тощий живот, у часового кармашка закачался, покручиваясь, золотой тяжелый брелок; он перекинул трость в правую руку, а левой легко усмирил болтавшуюся золотосвинку. — Я вас помню такою еще... — Он показал. — И я имел удовольствие, честь — на руки вас брать; осмеливался!

Видимо, он наслаждался неведомыми Даше воспоминаниями; впрочем, тем временем, она собой овладела.

— Кто вы такой? — строго спросила она, и сразу он выпрямился, кашлянул в руку и с фамильярной почтительностью легонько дрыгнул правой коленкой.

Если бы Даша напрягла свое воображение, память, она бы могла, пожалуй, увидеть салфетку подмышкой. Но, и без того, эта старательная приниженность непроизвольно ею почувствовалась: какой уж там волк! И, столь же неожиданно для себя, она приняла тон молодой госпожи, ведущей беседу с лакеем.

— Я хотела бы знать, что вам в Копьеве понадобилось и кого вы хотели там видеть?

— Кажется, ежели только я не ошибся, так именно вас. Да и как ошибиться! — с внезапной восторженностью воскликнул вдруг котелок. — Кто еще так бы посмел разговаривать! Вы, полагаю, у Говорных, по справкам моим, изволите жить?

Даша гордо ответила:

— Да, я живу у отца.

Собеседник ее рассмеялся долгим и дряблым смешком, опять прикрывая рукой, из почтительности, погорелый свой рот.

— У отца-с!.. Справедливо сказали!.. Ох-хи-хи... У отца-с!

Даша в негодовании сунула ветки к нему, прямо в его волчью личину, и быстро пошла прочь от орешника.

— Постойте! Постойте! Дарья Владимировна! Постойте же, я вас прошу!

Даша еще никогда не слыхала, чтобы ее звали по отчеству. И именно это звучание: «Вла-ди-ми-ров-на!» — каждый звук его, чуждый и непривычный и, очевидно, родной — именно это остановило ее. Легко ли сказать: найти свое отчество!

Незнакомец бежал с непостижимою резвостью. Даша его подождала. На ходу, перекинувши трость подмышку, снимал он перчатку с правой руки и, добежав, сложил обе ладони, без перчатки, наверх, как бы просил благословения.

— Барышня... Золотко наше... Ручку пожалуйте... облобызать!

Телушка пропала; семья была в горе; Даша вернулась в смятении. Она едва дождалась темноты, чтобы остаться сама с собою наедине. Это свидание, найденный ею, на тропе у орешника, неизвестный, далекий отец (письмо, ей переданное, было письмо от отца),— все это жгло ее мысли и заставляло сжиматься сердце в груди предчувствием недоброго, злым предзнаменованием: не волк, но посланец от волка!

Владимир Ширинский, магнат-эмигрант, неизвестным путем доставивший дочери это письмо через своего лакея Петрушку (так и писал: «Петрушка тебе передаст, я на него полагаюсь»), на двух недлинных страничках ей сообщал, что только недавно, будто бы, ему удалось установить, что Даша жива, что все дело о выезде ее за границу устроит в Москве адвокат Арцыбушев (у него же и деньги в валюте), что на Петрушку во всем можно ей положиться. О себе Ширинский писал, что он уже плох, что ему хотелось бы видеть дочь перед смертью, что у него порядочно денег и вилла близ Ниццы, что он оставляет ей полную свободу («как тебе заблагорассудится») — остаться ли с ним или вернуться.

Даша, пока все это читала, была исполнена только негодования: какой он отец — бросил, бежал! — теперь эмигрант, классовый враг! Но когда дочитала до слов: «как тебе заблагорассудится», у нее дрогнуло сердце, и не об «отце», а о себе — вдруг зажужжал аэроплан, вдруг увидала людей на вокзале и желтоносую в клетчатом птичку: заграница — живая, не миф — распустила перед нею свой радужный хвост...

Мысли и чувства дашины быстро мешались и перебивались. У нее был отец — казалось бы, радость какая! Но радости не было, даже была определенно досада. Смутные ощущения раннего детства внезапно в ней пробудились туманным желто-зеленым пятном. Ночь беготни, гари и дыма зашевелилась в сознании, как головешка в закрытой печи. Как очутилась она на опушке копьевского леса?.. Ничего неизвестно. Даша даже всплакнула, уткнувшись в подушку: «Не хочу я другого отца! Никифор-отец — родной мой отец!» Как же сказать и что теперь делать?

Перед рассветом Даша заснула, но сон ее был чуток, некрепок. Телушка во сне странно в ней переплелась со своим — приключившимся.

Даша в кустах ищет пропавшую телку. Все, как и днем. Она раздвигает орешник и видит, как по поляне, как нарисованный, волк — хвост разостлало по ветру — тащит телушку, у ней шея висит и болтается по земле голова... «Отдай мне телушку!» — кричит ему Даша, а он остановился,

телушку к сторонке, и замахал ей котелком, а ноги в штанах, и штаны будто в полоску... И слышит вдруг Даша во сне (и сквозь сон), как замычала к ней телка, поднявши свою отбитую голову. И Даша проснулась.

Телка мычала. Даша не сразу вскочила, думала — все еще сон. Но явственно телка продолжала мычать под окном, голос у ней был недовольный, чтó ее долго не слышат! Даша вскочила и выбежала за порог. Голова у телки была цела, и шершавый теплый язык мокро лизнул заспанную дашину руку. Даша обрадовалась и на минуту забыла все свои злоключения.

Когда она выходила из клети, закат чуть розовел. Ракиты стояли как вырезные. Ни одна птица еще не просыпалась, ни один листок не колыхался. Босые дашины ноги ощущали прохладу земли. Непроизвольно, не думая, Даша пригнулась и сняла у колена прицепившуюся соломину; она повертела ее в руках и кинула прочь. Сон ее миновал, она точно умылась, и на душе было чувство, похожее на ветерок освобождения. Телка от волка ушла, и самые думы из головы надобно выкинуть прочь!

Не заходя даже в избу, Даша перемахнула речку и быстро-быстро пошла по направлению к Ширинскому. Был праздник, от школы свободна, домашние встанут попозже — можно успеть и вернуться: она никуда не поедет, отрежет начистоту!

На лугу лежала роса. Было похоже, что тут не ступала нога человека. Легкие паутинки, предвестники осени, также слегка были отягощены невидимой влагой. Но и невидимая, она пригибала эти воздушные нити и заставляла их слегка поколыхиваться. Подобная этой неуловимая роса ложилась, отяжеляя, и на дашины мысли. Еще четверть часа назад, казалось ей, отмахнулась от наваждения, но вот она на том самом месте, где ее покинули крошечной девочкой много лет тому назад. Что бы с ней было, если бы этого не произошло и отец взял бы ее с собой? Говорили, что он скрылся пешком, переодевшись. Нити младенческого ее существования были оборваны, и перед нею возможность — снова, через пространства, их перевязать с тем бытием, которое ждет ее за границей... Она смело рвала паутинные нити, но в собственной груди ее ткалась паутина, она замедляла шаг и потихоньку раздумывала, сама не замечая того, что она глубоко размышляет.

Утро плыло над лесом, ежесекундно меняя оттенки вокрут. Легкие перистые облачка полураковиной легли над поляной. Было похоже на опахало из розовых перьев. Небо дышало и расправляло крылья в полет. Даша опять ускорила шаг. Утро непроизвольно ее подымало и, как бы осилив крутой перевал, Даша легко устремилась в долину.

Путь ее был мимо ширинского парка, но, секунду помедлив, она перебралась через ограду, словно влекло ее — точной тропой — проделать путь возвращения! К парку она, как случалось его проходить, была всегда равнодушна, но невольно теперь с любопытством взглянула она под длинные своды аллей, на половину еще уцелевших: это ведь здесь скрипела когда-то колясочка с маленькой Дашей! И, однакоже, старый парк взглянул на нее неприветливо: чопорно он ее не соблаговолил узнать и признать. Да и сама

Даша отрешенно взглянула на холодную его красоту. Пустяки, пустяки, и никакого нет «возвращения»! Было, отрезано, минуло. Но через это минувшее открывался полет — за границу!

Фаддей Никодимович встал. Он бурно плескался на галдарейке, ничуть не стесняясь присутствием гостя. Подушка была, вопреки обыкновению, прямо к стене; Петр Афанасьич или стерег себя от соблазнов, или давно и окончательно выветрился.

— Господин Арцыбушев сами ее отвезут,— говорил он неспешно, поводя по груди желтоватыми пальцами. — Человек он, Фаддей Никодимыч, тонкий весьма — даже до удивительности. Да и то сказать, какое название от властей предержащих имеет: по-старинному, видите, консул обозначалось, а нынче зовут консультант!

Фаддей Никодимович фыркал и тем выражал солидарность: название, чин были значительны!

— Я помню, у нас...— Петр Афанасьич скатал, наконец, на груди крохотный грязный кусочек. — У нас за столом... ко̀нсула, да-с. И мы принимали их тонко-с!

Фаддей Никодимыч растирал полотенцем красную шею; разговор этот бил ему по душе, даже отчасти интриговал: консул, который свободно мог доставать разрешения за границу! Когда выпадет потемней да поглуше осенняя ночка, и ему случалось принимать у себя особых гостей, которых он на своем языке называл «полузаграничный полуфабрикат». Но это были, как перелетные птицы,— нынче по сю сторону, а завтра по ту, только гнал их в полеты не климат, а шелест кредитных бумажек.

— А видал ты их?

— Кого? Паспорта? Не раз доводилось! Господин Арцыбушев не раз их передо мною вертели... вот этак! Красный и аккуратный. И с золотым герботиснением.

В дверь постучали. Фаддей Никодимыч скинул крючок и заглянул.

— Одевайся. Пришла! — и вышел наружу.

Он поглядел на пришедшую девушку. Красное золото первых лучей обливало ее от русых коротких волос, прядью упавших на лоб, и до босых загорелых ступней. И сама она была вся молода и свежа, как это прохладное раннее утро. Фаддей Никодимыч даже немножечко крякнул. «Красный и аккуратный, и с золотом» — ему представилось, как она это вертит в руках.

— Здравствуй!— сказал он, но тотчас же поправился.— Вы погодите, выйдет сейчас. Старичок наш заспался.

— Мне нужно его видеть немедленно, — упрямо промолвила Даша.

Ехать — не ехать — между этих двух вставших валов, столкнувшихся между собою, по гребню их, как по ножу, пробежала в ней новая, острая мысль: он мог обмануть, письмо было ложное и — никакого отца! Зачем это? — как ей узнать?.. Могут ее увезти и продать... за границей бывает... Чего бы хотела она,— чтобы письмо было правдой или мистификацией? Даша не знала; Ширинское-Шарик охватило ее острой тревогой и беспокойством.

— Я ничему не поверила, — сказала она почти что себе.

— Как не поверили? — воскликнул в тревоге Фаддей Никодимыч, как если бы все это касалось лично его. — Да Фекла Ивановна и по сей день жива! Феклуша... Я сам ее помню-с сквозь толщу минувших времен... Батюшка ваш, признаться, любил молоденьких нянюшек, и отменный был вкус по части сей гастрономии-с... Помню...

Даша его прервала:

— Я не хочу ваших гадостей слушать! Где эта Фекла Ивановна?

Фаддей Никодимыч оторопел, в интонациях Даши ему почудился отзвук барского окрика.

— Иди, говори! — толкнул он вперед старичка, забрякавшего сзади цепью и свинкой.

Даша схватила Петра Афанасьевича за руку и повлекла за собой: точно и вправду долго дремавшая в ней прорвалась и заиграла господская кровь.

Фекла Ивановна, еще молодая вдова, румяная и круглолицая, с запахом лета, загара, стояла на огороде и выбирала кочан. Капуста была еще молода, но у нее были ранние высадки и ей захотелось найти подходящий вилок: свежие щи в воскресенье!

Хата ее была на отлете, дорога почти непроезжена, и омытая ночною росой птичья гречиха блестела на солнце по-молодому. Почуяв, что кто-то идет, Фекла Ивановна полуобернулась и прикрылась от солнца рукой. Она была высока, очень ладна, позади ее густою стеной стояла кудрявая индийская конопля. Даша глядела на нее, не отрывая глаз, и вдруг увидала, как молодая вдова внезапно скользнула по этой густо-зеленой стене и словно бы рухнула сама на себя. Даша даже приостановилась.

— Видите, видите-с?.. — в свой черед останавливаясь, бормотал Петр Афанасьич.

Во встревоженном беге своем за ускользавшею Дашей он разогрелся, порозовел. Внезапная остановка еще кинула новый бросок жиденькой крови на вялые щеки. И он — как если бы сам набежал на себя: и стоя на месте, пребывал он в движении — задняя часть его корпуса переплеснулась вперед, затылок хлестнул на лицо, за ночь неприметно отросшие бачки его шевелились приметно — спиралями. Даша глядела с недоумением, как он перед нею плескался, ища и найдя, наконец, дохленькую свою и все же определенную форму.

— Видите, разве не видите-с, как Фекла Изановна вас испугалась? Была с коноплю, стала с капусту-с!

— А вам за меня много обещано? — спросила вдруг Даша, и, не дожидаясь ответа, перекинула ногу за холодную гладкую жердь.

Фекла Ивановна низко присела между капусты. Пугаться, конечно, теперь ей было нечего, но тем не менее какая-то сила сдвинула ее к зѐми, и ей удобней отсюда было глядеть, как если бы двигалась к ней крошечная ее питомица — девочка Даша: неудержимо ей захотелось поманить ее пальцами и погукать навстречу коротким ее, неверным шагам!

Произошло неожиданно. Даша ни у нее ничего не спросила, ни сама ничего ей не сказала. Между глазами кормилицы (Даша внезапно все вспо-

мнила: нянюшка только? — нет! нет!) и дашиным вдруг устремившимся взором: снизу наверх, и сверху вниз — по откосу — протянулась воздушная скользкая гладь, и Даша, не думая, не размышляя, как на санках с горы, скатилась к присевшей розовой женщине. Отец лишь едва где-то маячил, матери не было вовсе, но все ее детство, полное теплого запаха этих вот рук, пахнувших летом, и «витаминами», и коноплей — вот оно, тут, на огороде, с няней Феклушей!

— Дашенька! Дарьюшка! Что ты? Господь с тобой! Дитятко...

Даша закрыла глаза, ноздри ее шевелились: наконец-то, настиг ее и все рассказал этот пахучий и ласковый ветер, долетевший из дальней страны раннего детства; тысячи темных воспоминаний, не доходя до сознания, заструились в крови, затрепетали под кожей. Даша почувствовала, как веки ее набухают, словно стояла за дверью и напирала толпа — в давке спрессованных капель; круглым плечом давили передние, дверь подалась, и из-под дашиных рук, упруго их приподнимая, одна за другой побежали резвые капельки слез.

Фекла Ивановна тоже расстрогалась, но это нисколько не помешало ей мерно, певуче Даше все рассказать — то очень немногое, что в ее памяти отстоялось от старых, давно миновавших времен. Девушка слушала жадно и переспрашивала.

— А как ты одела меня?

— Да как? По-деревенски одела, честь честью! Платочек на голову, ай ты не помнишь? — и сарафанчик хорошенький.

— А где ж ты достала одежку?

У маленькой Даши было одежек великое множество, был у нее и «русский костюм».

— А кто-нибудь знал? А отец мой... Никифор? А матушка?

— Нет, никому... никому я не сказывала!

Петр Афанасьич, кажется, совсем успокоился: все шло хорошо, Фекла Ивановна не отреклась. Узкою змейкой между несуществующих губ тщательно он облизал папироску, достал и продул старый янтарный свой мундштучок и прикурил от зажигалки. Зажигалка особенная. Фривольностей старый слуга не допускал, но эту вещицу хранил — больше как память о господине. Вдоль зажигалки лежала наяда, колесико около шеи, и неизбежно было проехаться пальцем по всему ее скользкому сардинному тельцу. Синий дымок повился над деревянною изгородью, Петр Афанасьевич безмолвным свидетелем, призраком переложил витушкою ноги и наслаждался прохладой раннего утра. Порою он сплевывал на сторону, не оставляя курить, и теплый янтарь мягко поблескивал между его желудевых, осенних зубов.

— Удостоверились, барышня? — издали вежливо осведомился Петр Афанасьич.

Даша махнула рукой. Но, странно, внутри у нее уже было готово решение. Она утвердилась теперь — прошлое было; не сказка. И, как если бы она обещала, что буде все верно, что ежели Петр Афанасьич ей не наврал, то будто бы уже этим самым она давала согласие. Как и всё после

лесной ее встречи, все колебания в ней, отказы и утверждения — рождались внутри, помимо сознания, и сознание их находило — готовыми. Так и теперь, отмахнувшись от вестника, она помолчала и опять обернулась к нему, точно утратила право отмахиваться.

— Нет, ты меня не обманул, — сказала она. — Но только...

Впрочем, дальнейшее уже никак не могло относиться к нему. Ей было нужно спросить — только вот у кого? — «А что же отец, он меня не продаст?» И даже у Феклы Ивановны нельзя так спросить, и потому у нее спросила иначе:

— А ты меня не продашь?

Даше казалось, что она ни минуты не думала, но вот с изумлением она увидала, что Фекла Ивановна уже поднялась, а рядом с нею стоит Петр Афанасьич, и руки его уже обе в перчатках, и в правой руке белеет червонец. (Он считал поручение очень ответственным, а деньги весьма уважал, и потому счел приличным облечься в перчатки.) Лицо у него, однакоже, было сильно недоумевающее: Фекла Ивановна денег его не брала; она энергично, крепкой рукой, отстраняла — перчатку, бумажку, всего Петра Афанасьича.

Дашиного вопроса она не слыхала, и Даша не стала его повторять.

Телушка, Агафьина дочь, ночью пришла, а Даша, приемная дочь Говорных, покидала Копьево. Но душа у Даши раскололась на-двое. Знала давно, что она не родная дочь Говорных, но никогда об этом не думала; ни малейших терзаний в душе по таким пустякам! Да и сейчас — ни на минуту она не признавала отцом далекого барина, то-есть ни на минуту не шевелились в ней дочерние чувства; все это было холодно, внешне и неприятно. Кровное это родство было поистине мифом, хотя и было оно закреплено на каких-то официальных бумагах. Кровь в ней молчала. Больше того, разум и чувства ее возмущались, точно бы чем-то события эти хотели ее опорочить в ее же глазах.

И, однакож, одновременно, Даша решила поездку. Событие это давало ей крылья, возможность увидеть далекие страны, самый язык шевелился во рту — по-немецки.

Петр Афанасьич настаивал, впрочем, конечно, очень почтительно, на скорейшем от'езде. Даша не возражала. Смутно в себе сознавала она, что не так-то легко будет уехать. Тысячи нитей опять протянулись к ней. Всякий кусток на обратном пути, каждая ветка цепляли ее, не отпускали. Думала, как она скажет Ивану Егоровичу — и фраза была уже по-немецки готова:—Welche Kataloge soll ich Ihnen bringen oder schicken? — «Каких каталогов вам привезти или прислать?» И «привезти» было радостно, а уж «прислать» звучало туманно и застилало глаза. О Говорных, об отце и о матери, Даша и вовсе старалась не думать. Так здоровые нервы ее стали болезненно чувствительными.

Даша сама, если б подумала, могла бы все это представить отчетливо так. Растение вырвано, или еще полувырвано только, но уже корешки обнажились; привычные комья земли, тонкие ходы, вся эта слаженность внезапно

отпали; тонкие мочки, каждая вдруг сама по себе, обнажены и, обнаженные, преданы чуждой стихии.

И никакой — ни немецкой, ни русской придуманной фразы о каталогах Даша Ивану Егоровичу не произнесла. Прощанье их вышло коротким, почти деловым; Иван Егорович очень собою владел. Он был поражен и взволнован, но ничем этих чувств не обнаружил. И весь разговор произошел — это отчетливо чувствовалось — на расстоянии. Стояли они на полуаршине, а слова досягали из-за тысячи метров. И лишь на прощанье скрытую думу Иван Егорович выразил вслух:

— Посмотрим, — сказал он, — крепка ли будет прививка.

Даша сразу не поняла.

— А по весне поглядим, — возразила она. — Может, моя будет не хуже, чем ваша!

Он еще раз, безмолвно, настойчиво, повторил свою мысль через очки. Даша смутилась, но смущение скрыла под шуткой:

— Это прививка наоборот: благородную барышню привили дичком!

Но Иван Егорович (как, впрочем, и Даша сама) шутить был не расположен.

— Если больному и отмирающему впускают здоровую кровь — в этом нет и не может быть никакого наоборота.

Эти слова о болезни помогли ощущению: иодом (как некогда) лизнуло ей сердце. И опять эти слова, при всей их отчетливой близости, прозвучали в ней издалек-далека; будто она лежит неподвижная на мертвом операционном столе, а над нею — о ней — голос, одетый в белый халат.

Ребята ее обступили. Глядели на Дашу, как на диковинку. Будто у курицы за ночь вырос павлиний радужный хвост: и своя, и чужая! В общем, они ее проводили легкомысленно-весело, немного насмешливо, по правде не веря ни в то, что девчонка уедет, ни в самую барышню-Дашу. Это как ряженые: глянешь снаружи — сам Чемберлен, а под самым Чемберленом — Сенька Попов!

Ребята гурьбой провожали от дома и не давали разжалобиться. Говорные поохали: «Вот и самой птичьего молочка захотелось!» Трудно было понять, знали и раньше они о происхождении Даши и только молчали, или это была настоящая новость для них. Аграфена Михайловна даже всплакнула, целуя свою милую дочку. Никифор же, как-то перша, деревянно, точно стругая в горле рубанком, повторял одну и ту же неопускавшую фразу:

— Ты им там хорошенько очки-то протри!

За этою фразой, конечно, стоял сложный клубок: мужчина не может быть не политиком! Но упорным ее повторением Никифор скрывал и волнение чувств.

Последней из близких, уже по кустам, Даша увидела телку, Агафьину дочь. Она поглядела на таратайку и удивилась. (Петр Афанасьич счел неприличным ехать в телеге.) Даша ее позвала. Телка выгнула шею и по привычке автоматически лизнула далеко языком. Тут вышло наоборот: расстояние их

разделяло большое и лизнула по воздуху, а как если бы рядом, и как если бы впрямь провела по руке.

Впрочем, была и еще одна встреча, а стало быть и прощание. На этот раз оба они были дома — и тракторист Андрей Николаевич, и рыжеволосая его Катюша. День был погожий, урожай был хороший, оба они были молоды и весело встретили Дашу. К путешествию ее оба они отнеслись очень просто, без самомалейшей трещинки.

— Ну, выглядай там все хорошнеько!— говорил Андрей Николаевич и открывал крепкие зубы, которым сейчас одного нехватало — крепкой, с желтинкой, антоновки.

Даша заметила, что у Катюши под ситцевым платьем круглился живот. Она не ошиблась. Можно бы было подумать, что, работая в яслях, между детей, она и сама невольно пустила побег...

— Вот, девушка, что́,— сказал на прощанье Андрей Николаевич,— поищи-ка ты мне там каталогов... — И он стал об'яснять, что ему надо: рисунки там хороши, а у него есть свои мысли... Даша знала его тайную страсть к изобретательству.

Тракторист Петру Афанасьичу также понравился. Старый слуга долго жевал, как от'ехали, ниточкой губ и, наконец произнес, больше сам для себя, как бы давая официальный оттенок мыслям своим, раз они произносятся вслух:

— Отчетливый, я говорю, человек. Видно, что шарик работает! — И он тронул свой лоб цвета перчатки.— Его бы, я говорю, на отруб хороший, вот где процвел бы он замечательно.

Даша взглянула на спутника не без удивления. Даша думала о каталогах. Страное дело — хотела об этом сказать Ивану Егоровичу и промолчала; ни звука и он. А Андрей Николаевич сам, и, напротив того, ни единого звука ни о каких «прививках». И один был невесел, когда, пожалуй, надо бы было хоть сколько-нибудь и порадоваться, а другой будто брат, и Катюша — другая — будто сестра. Неужели же эти придорожные люди больше, чем он, преданы делу, и неужели они спокойнее ей доверяют?

И понемногу движение этих мыслей и сопоставлений, сначала туманя сознание, стало его прояснять. Но это была не чистая логика. Реакция чувств шла более бурно и, как всегда, обогнала неповоротливость мышления. Как солнечный луч, прорывали они пелену облаков, и увидела Даша лужайку, залитую солнцем, и как если б ее знала всегда.

Эти минуты, когда Дашу трясло на тележке, как потяхивают пробирку в руках, чтобы реакция шла энергичней, открыли для Даши то чувство, которое, давно уже! — было между ними обоими. И его называть даже незачем: оно было в ней! И Даше теперь было понятно и обоюдное их косноязычие, и как бы далекость, и подобие обморока ко всему остальному, что прямо их не касалось, и самая эта тревога и недоверие — о возвращении...

И все это Даше открылось в движении, и запело движением. Движение было во вне: таратайка, дорога; движение было и в будущем: заграница, и новые люди, и возвращение, которое ясно стояло на горизонте, как за

леском недальняя церковь; но движение главное было внутри: Даша слышала ухом — не как вырастает трава, а как сама она выросла; это было одновременно таинственное и вековечно простое явление роста.

Московские дашины дни были пестры; немного они ее закружили. У Арцыбушева в доме бывало много народу, дело о паспорте он вел энергично и сам собирался с Дашей лететь. Перспектива л е т е т ь Даше ударила в голову, она уже видела землю внизу — как передвигаемый коврик.

Дашу одели по-городски, очень ей было неловко первые дни, но также неловко было бы ей и оставаться в простеньком своем платье, в грубоватых деревенских башмаках: все вокруг были одеты иначе. А помаленьку Даше уже и приглянулось. Раза два или три украдкой взглянула она на себя в зеркало и сама себе... понравилась. А Арцыбушев, талантливый циник, холодный и умный, для которого жизнь и интрига были синонимами, знал дозировку и отпускал капельки яда в строгой пропорции, по точно выверенному рецепту.

За две недели Даша с ним побывала и в театре, и на скачках, и в Музее изящных искусств. Город — простой и суровый, кипучий и сложный — оставался для Даши закрыт; руководитель ее и опекун, взяв ее за руку, переводил деревенскую девочку как бы по цветочным мосткам, с одного островка на другой, подготовляя ее перелет.

По вечерам, когда были дома, у Арцыбушева сидели гости; раза два и они были в гостях. Тут Даша трезвела, люди эти, мужчины и дамы, слишком открыто были чужими, враждебными; кроме того, на Дашу глядели они, как на игрушку, на забавного зверька, которому, однакоже, выпала такая удача — состояние и заграница; многие ей открыто завидовали.

— Счастливая! Вот вы увидите жизнь, не то, что у нас!

Арцыбушев прислушивался и понимал, что рецепт был не соблюден.

— Вы Дарью Владимировну не понимаете,— говорил он и трогал колкое жнивье усов.— Дарья Владимировна, насколько я знаю, себя посвящает науке. У нее воля и выдержка, она человек деловой и человек исключительный!

Он мигал глазом, а на сторонке, уже не стесняясь, давал откровенные комментарии:

— Девочка — прелесть, но не надо тревожить ее. Бутончик подобен флакону с духами — закупоренному; но и отличен: флакон мы открываем, бутон же распустится.

Так проходили для Даши эти сложные дни. Она уставала, впечатления дня ложились непереваренные. Она ничего сама не предпринимала, все делалось опмимо нее. Это было похоже — как в поезде: кажется, будто сидишь, а на самом деле едешь; з а т е б я е д у т.

И, однакоже, Даша худела. Новая жизнь не проходила для нее даром. Наряду с платьицами, оставлявшими складки внутри, в ней поднимался порой и протест, но этот процесс шел на такой глубине, что он давал себя знать только по силе давления и по ощущению вдруг возникавшей томительной тяжести. Было похоже, как это бывает с раненым деревом: соки

идут в крутом беспорядке — некое подобие кипятка, только холодного — и застывают причудливым выплавком.

Под этим давлением Даша однажды ушла, не спросясь. Попавши на улицу, с мелочью меньше рубля, она ощутила себя по-иному. День был солнечный, ясный. По переулкам из-за заборов глядели деревья, уже тронутые влажной осеннею желтизной. Даше они показались как свои, деревенские, попавшие в город; невольно она взглянула под ноги; теперь уже падают желуди! Порой попадались торговки, и в их морщинистой коже также запрятаны были кусочки деревни.

Даша бродила так около часа. На Садовой порядочная толпа теснилась у остановки трамвая. Из коротких обрывков речей Даша сообразила, что едут в Петровско-Разумовское. Как же она до сих пор не побывала в Тимирязевке?

В вагоне была теснота — воскресенье. Но люди не ехали просто гулять, почти весь вагон был дружно и звонко знаком.

— Вы в академию? — спросила Даша соседку, проверяя себя.

— Ага! — ответил, ломая хрустящее яблоко, красный платочек; то самое яблоко, которого так нехватало крепким зубам тракториста.— Красная Пресня на смычку с наукой!

Плотно прижатая, Даша осталась стоять на задней площадке. За городом резво стал набегать ветерок, показались луга, пробежало шоссе наискосок. Все было Даше родное.

Приехавших встретили; это был уже не первый трамвай. Даша не знала, как ей быть. Всех повели осматривать лаборатории, Даше хотелось: взглянуть бы коров! Но прогулка и воздух продиктовали свое: потрогав в кармане, она сообразила, что может чего-нибудь перекусить. Она была не одна и ей показали столовую: «Студенческая» — разобрала Даша на вывеске; у нее дрогнуло сердце.

Она ожидала шума и крика, подобия школы; и ожидала одновременно чего-то вовсе противоположного: ученых, степенных бесед с наморщенной бровью; Даша еще никогда не видала студентов и не знала, как это бывает. Оказалось — ни то, ни другое.

Даша обеда себе не взяла, побоялась — нехватит денег и ограничилась бутербродом и стаканом чая. Ей пришлось пройти всю огромную комнату к задней стене, там стояли особые столики, предназначенные для чаепития. Столовая была неполна. Люди, обедавшие там, не походили нисколько на каких-то особых существ, это были обыкновенные ребята, в куртках и косоворотках, ели они неспеша и деловито, брали много хлеба и откусывали с краю, не выпуская из рук большого куска; только у многих вихры по-городски торчали на лоб. Разговор шел короткий, скупой, и самая речь как бы похрустывала на зубах. Даша сидела тихонько; по отдельным словам, до нее долетавшим, она убедилась, что это и были студенты. Неподалеку сидели и девушки, Даша на них с интересом поглядывала. Ей было бы легче с ними заговорить, будь она по другому одета. «Пробуду два месяца,— ду-

мала Даша,— вернусь, доучусь и сюда». Тут внезапно взгляд ее остановился на одном существе.

Это была девическая фигурка, что-то ей напоминавшая. Девушка сидела наискосок, видна была часть щеки и через короткие волосы проглядывала каемочка уха. Она тоже пила чай, видимо спешила и наливала на блюдечко, рядом лежал пакет из газетной бумаги. Даша хотела пройти мимо нее, чтобы ее разглядеть, но в ту же минуту та поднялась и сама и обернулась. Казалась теперь она несколько старше, и платье на ней не было клетчатое, но Даша узнала тотчас; она и обрадовалась ей и недоумевала: что ей тут делать?

Девушка между тем постучала в стакан чайною ложечкой, и когда все притихли, громко сказала:

— Кто тут еще, товарищи, с Красной Пресни, пойдемте со мной, сейчас начинается!

Даша к ней подошла и спросила:

— А мне с вами можно?

Девушка поглядела на нее и помолчала.

— А я вас где-то видела,— сказала она, наконец.

— А как же, я вас сразу узнала. В Мещовске, на станции. Вы ехали с вашим отцом.

— Как вы узнали? Да, да... И я теперь вспомнила! Вы стояли и глядели на нас, и у вас рот был раскрыт...

— Не помню,— серьезно ответила Даша, но тотчас же сама припомнила желтенький запачканный нос, и обе они одновременно улыбнулись.

— А что же, товарищ, куда — точно нам направляться? — подошел к ним невысокий рабочий с рябинками.

Шея его была несколько согнута, но голова сидела прямо и твердо. Небольшие глаза глядели с привычной настойчивостью и, спрашивая, повел он худыми плечами, как бы разминаясь к работе.

— А вон ваши пошли,— я им показывала,— ответила девушка.— В белой лабораторке. Сейчас за столовой. А ты с нами пойдешь?

У молодежи теперь все это быстро: они перешли сразу на ты. Несколько первых их фраз были как целый период знакомства. Стоило девушке на минутку оторваться для разговора со взрослым, как к Даше вернулась — будто знакомы давным-давно!

— А ты что-то забыла! Там, на столе...— вспомнила Даша, когда они сделали несколько шагов; и, подбежав, она схватила сверток.

Она схватила его очень быстро, за один твердый угол, как если бы это был один цельный предмет, но бумага разорвалась и к дашиным ногам упали три толстых церковных свечи; они были недлинные, но толщиной почти в руку. Даша даже остановилась в полном недоумении; четвертую крепко она зажала в руке: теперь уж и через бумагу не ошибешься! Ей вспомнилась церковь, как подходили к столовой, на входе ее была вывеска клуба, висели афиши и множество мелких бумажек с об'явлениями.

— Вот чудеса! — пробормотала она, не зная, что думать и подбирая упавшие свечи.

— А это как раз для чудес мне и надо!

Даша с изумлением поглядела на новую свою подругу.

— Вот увидишь, пойдем! — засмеялась та.

В аудитории было людно, жарко и шумно. Но порою толпа затихала и с интересом следила за опытами — «чудесами» науки.

Профессор на кафедре был ни молод, ни стар. Голос у него был усталый, а глаза молодые; Даша не знала еще, что у ученых людей обычно моложе всего их глаза.

Очень большое впечатление на аудиторию произвело претворение воды в кровь.

Перед тем как сотворить это чудо, профессор порылся в бумажках, и немного глуховатым голосом, закинув пенснэ перед собою, прочел цитату из библии:

«И сказал господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему: возьми жезл твой в руку твою и простри руку твою на воды египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их,— и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах».

Он поднял потом, отодвинув слегка рукава пиджака (жест настоящего фокусника) — высоко два стакана с водой, и из одного стакана вылил прозрачную жидкость в другой; стакан оказался налитым кровью!

На минуту в аудитории воцарились шум, возгласы:

— Вот это здóрово!

— Гляди, гражданин Моисей очки протирает!

— Этот тебе и протрет, и вотрет!

— Ничего не вотрет. Он снимает очки предрассудков и суеверий! — немного по-книжному, но убежденно сказал рыжеватый рабочий с узкими плечами и непомерно большими руками; тот самый, которого видела Даша в столовой.

Сосед же ее с другой стороны тихо ворчал:

— В стакане... пожалуй... А Моисей-то весь Нил окровянил! Выйдем на пруд — поглядим! — крикнул он громко; но, как видно, никто его не слыхал.

Тогда он пригнулся к карандашу и начал царапать записку профессору, все бормоча через усы:

— Этот твой фокус и жрецы фараоновы сделали, не хуже тебя.

«А ведь это, пожалуй, и в самом деле ошибка, что о жрецах-то он ничего не сказал»,— подумала Даша, а сама старалась припомнить формулу роданистого калия, который дает с солями железа ярко-красное окрашивание.

— Дай-ка, Наташа, мне свечи!

Новая знакомая Даши помогала профессору; она аккуратно, не ошибаясь, все ему подавала. Схватившись за свечи, невольно она поискала Дашу глазами. Даша кивнула ей весело, но та не видала.

Это последнее чудо с иерусалимской свечей, которая сама зажигается в храме, имело наибольший успех. Даша не знала сама, что фитиль окунули в раствор фосфора в сероуглероде. С интересом следила она за этой несложною операцией. Многим казалось, что на этот раз ничего не выйдет: все четыре свечи были поставлены рядом и — никакого огня! Наступило молчание; спокойно молчал и профессор, снявши пенснэ. Но вот один за другим вспыхнули яркие большие огни. Только одна, последняя, не загоралась. Профессор сказал что-то девушке. Она взяла эту свечу и повела ею в воздухе; свеча загорелась тотчас. Раздались аплодисменты, вздох удовлетворения пробежал по скамьям. Даша вспомнила знахарку Пафнутьевну и на минутку задумалась. Потом она тоже вздохнула, но очень тихонько и про себя.

Вечером на пруду должны были на лодках «сжигать богов». Обе девушки отправились в парк.

— А ты разве тут учишься?

— Нет, куда мне еще! Это мой дядя, а я ему помогаю. Но я тут буду учиться. По химии.

— И я тут буду учиться. И тоже по химии,— сама для себя неожиданно прибавила Даша.

Наташа ей очень понравилась, и ей захотелось, по-детски, быть во всем, как она. У Даши, собственно, не было еще настоящих подруг, все больше мальчики, а с ними — что же? — как яблоки в куче! — толкаются холодноватым бочком одно об другое. Даше и в голову не приходило, что с ними можно было дружить по-настоящему. А от Наташи шел девичий запах, что-то таилось в глазах и оттуда поглядывало. Хотелось схватить ее руку и крепко, не отпуская, помять. Наташе, пожалуй, можно бы все-все рассказать — и про Ивана Егорыча... Бочком поглядела она на нее и начала:

— А я через недельку полечу за границу...

Наташа была изумлена, а Даша ей все, как и хотелось ей, рассказала. Но об Иване Егоровиче так ничего и не промолвила. И не потому, что не могла бы подруге сказать — какая ж тогда это дружба! — а потому, что вдруг увидала, как Наташа и слушает, и думает о чем-то своем.

С минуту шли молча. На боковой тихой аллее было безлюдно, мягко шуршали первые осенние листья, вполголоса переговариваясь о человеческих, их перешевельнувших шагах. Налево поблескивал темный, глухой осенний прудок; этот не разговаривал — дремотная дума покоилась в нем. Воздух теснился к деревьям, посередине дороги казался разряженным, и это давало зарождавшимся мыслям терпкость и остроту.

В ранние сумерки, у старой, блекло-рыжей сосны на пригорке Наташа спросила подругу:

— Даша, а в бога ты веришь?

— Да нет...— протянула Даша, смущенная неожиданностью вопроса.— А ты?

— Ну, конечно, нет! — скороговоркой воскликнула и тряхнула головою Наташа; потом она резко сломала сосновую веточку и далеко кинула прочь

от себя; потом они обе, молодые безбожницы, взялись-таки за руки и побежали к пруду — глядеть на «сожженье богов».

На пруду было людно и шумно; сжигали картонный цветной, шутовской иконостас; пели безбожные песни, и громче всех заливался пожилой усатый рабочий, писавший запрос о жрецах; у него оказался порядочный бас.

Арцыбушев был Дашей в первый раз недоволен, и в первый раз Даша увидела, как у него, под маской привычной любезности, отвратительно движутся скулы, набегая одна на другую. Однакоже Даше он погрозить не посмел, и не посмел помешать дальнейшим ее свиданиям с новообретенной, задушевной подружкой.

Профессор Синицын с племянницей жили в двух комнатах на Поварской; в академию он приезжал на трамвае. Кабинет его весь был устроен из книг. стены, простенки, перегородки. Но на окнах стоял целый рядок кипарисов, вывезенных им в прошлом году из Нового Афона. Они были очень красивы и придавали комнате, похожей на катакомбу, нечто отшельническое. Комната эта, закрепленная за ним для научных занятий, служила ему также и спальней. Он спал на небольшом диванчике с неоткидными деревянными боками; было немного похоже на коротенький ящик, в котором переносят цветы.

— И ни за что не хочет ни переменить, ни поставить кровать,— возмущалась Наташа.

У самой у ней комнатка была невелика, но хороша. Большое окно выходило во двор. Оно было высоко. Крыши теснились одна под другой, трубы взбегали, напоминая лианы, ободранные жестким укладом огромного города; окна глядели, как входы в пещеры, тая за стенами частную жизнь. На дворе был асфальт и стоял одинокий, пышно разросшийся клен. Он развивал кипучую деятельность, и за эти три дня, в которые Даша глядела на него из окна, он был, как фонтан: каждый день радуга, и все обильней и ярче. В комнате у Наташи были чистота и белизна.

Один раз у них Даша застала гостей, и как эти гости были ничуть не похожи на тех, что шумели у принудительного ее опекуна! Это были, как водится, тоже ученые, и, тоже как водится, изрядные чудаки. Даша в них мало что поняла, но у всех у них были молодые глаза: столь молодые, что в них можно бы было, пожалуй, летать. Порою они друг на друга сердились и спорили, как первоступенцы, и также, порою, беззаботно смеялись.

— Ты понимаешь что-нибудь, что они говорят? — спрашивала Даша подругу.

— Немножко,— отвечала Наташа, и очень добро смеялась: как взрослая, глядя на расшалившихся маленьких.

Но все-таки лучше всего, когда они оставались одни. Они теперь многое знали одна о другой; между ними образовалась уже молодая привычка друг к другу, но эта привычка не мешала им ежеминутно ощущать ежеминутно возникавшую прелесть пленительной новизны.

Однажды Даша от подруги не скрыла своих опасений, которые зародились в ней еще дома, в Копьеве — нет, пожалуй, в Ширинском уже, как стояла она на крылечке у Фаддея Никодимыча в чайной: а вдруг увезут, продадут, обманут, погубят?..

К этим страхам ее Наташа отнеслась со всею серьезностью. Она очень подумала и, подумав, сказала:

— А ты скажи, что ты застрелишь его!

Это был вообще несколько романтический вечер. Обе подруги сидели на подоконнике над глубоким темневшим двором. Если бы было кому поглядеть со стороны, обе они показались бы двумя угловатыми птичками, присевшими в нишу стены передохнуть; и еще было нечто в выражении приподнятых плеч, в остром изгибе локтей, что навело бы на мысль: отбились от стаи. Это, конечно, было не так: к стае они еще не пристали.

Над вечеревшими крышами возникали время от времени, гудки паровозов и фабрик. Эти летевшие длинные звуки были подобно невидимым, протянутым в воздухе проводам, а минутное звучание их лишь обнажало тугой, крепкий каркас, который невидимо, но ощутимо вязал в один узел миллионы отдельных усилий — мышц, воли, ума. И уже не девушки сами, а их предвечерние мысли присаживались на эти провода, чтобы цепко их обхватить и, хлебнув гудящего тока, перепорхнуть на соседние — чуточку дальше.

Они в этот вечер переговорили о многом — и о себе, и о жизни, которая с каждою фразой им открывала за одним горизонтом другой горизонт, более дальний. Это были опять все те же часы, чудесные и необходимые одновременно, когда происходит отчетливо слышимый внутренний рост. Но рост уже был не потайной, интимный, индивидуальный; это было врастание в мир, завоевание новых пространств, искание там своего — законного, предопределенного места. Немножко при этом нехватало им воздуха, и клювики их раскрывались слегка лихорадочно; впрочем, вернее сказать, что если чего нехватало, так вовсе не воздуха, а нехватало дыхания, и клювики их не успевали глотать и выбрасывать весь прибывавший к ним воздух.

Наташа любила отца, теперь его не было; медицина его не спасла. Заграничный их друг, ученый немецкий профессор Отто Реннер, с которым их видела Даша в Мещовске на станции, Наташе писал, что последние мысли отца были о дочери: он очень томился предсмертной разлукой, наташиной будущей одинокой судьбой. Но по этому поводу Реннер писал и от себя... Наташа достала письмо. Оно было длинно, на четырех плотных листках, исписанных аккуратнейшим готическим почерком.

— Ты знаешь, он очень умеренный человек, совсем консерватор, но как он у нас все замечал... удивительно, мы и не видим, пригляделись, что ли, а он все это четко фиксировал... — У Наташи нередко пестрели словечки полугазетного, полунаучного лексикона.

Письмо прочитали, близко сдвинувши плечи и перемешав короткие волосы; так было видно обеим, и Даша не сразу, но с радостью соображала сама иные слова.

Отто Густавович, знаменитый геолог, длинно писал своей маленькой русской приятельнице, что он много думал об одном проекте — взять Наташу к себе. Он знает ее способности, он был другом ее отца, и он почел бы себя счастливым довершить образование и воспитание высоко им уважаемой — der Hochgeehrten, маленькой умной фрейлен.

— Ты не обращай на это внимания,— законфузилась Наташа,— должно быть, немецкие девчонки очень глупы, я так об'ясняю эту мою квалификацию...

Но, путем размышления, он, Отто Реннер, пришел к убеждению, что должен ограничить поток своих желаний, ибо... Тут шла целая маленькая диссертация на тему о «новой русской молодежи» — der neuen russischen Jugend. Он говорил о том, что нигде другой такой молодежи нет — во всем свете. В то время как на Западе послевоенная молодежь, в здоровой ее части, увлекается голой физкультурой и спортом, русская молодежь живет одновременно и кипучей общественной жизнью, принимая прямое участие даже в правительственном аппарате страны. Но не это важно: важно то, что куется в этом горниле новая человеческая порода.

«Вас не должно удивлять,— писал далее профессор,— что я, человек совершенно других политических воззрений, высказываю такие мысли. Я прежде всего ученый, а следовательно, человек беспристрастный по профессии — unparteisch meiner Proffession nach. Геология с ее камнями и породами должна казаться самой тяжеловесной и малоподвижной наукой, но такое впечатление возникает лишь у людей, мало знакомых с катастрофически стремительными изменениями нашей земной коры; ведь понятие о времени, милый мой друг, весьма относительно.

«И вот я, геолог, вижу в вашей стране процесс, по грандиозности и бурной стремительности сдвигов напоминающий процессы космические. Когда вы читаете книгу, вы воспринимаете ее на фоне собственных дум и вычитываете свое, отличное от того, что воспринимает сосед, имеющий другие, свои думы; так и я, ученый геолог, воспринимаю ваш непрерывный вулкан и одновременную постройку из лавы нового мира — на фоне своих мыслей о процессе видоизменения того — лишь кажущегося неизменным фундамента, который именуется земною корой. Я лучше теперь понимаю и живей представляю многие картины из прошлого, мной изучаемого, и будущего, о котором я размышляю. И вот, невзирая на мое душевное желание видеть вас у себя, я говорю вам: не покидайте вашей кипучей страны! Нельзя отбиваться, скажу по-стариковски, от своей семьи, а ведь семья у вас — это не то, что у нас: она обширна!

«И еще скажу так. Мы, немцы, любим музыку, как вам известно, и хоровое пение в частности. Представьте себе, что среди общего хора чей-нибудь голос выделился и запел свою индивидуальную песню, пусть исключительно прекрасную: она прозвучала бы диссонансом, и общий хор был бы нарушен. А у вас, я ведь вас знаю, головка упрямая, и я не хочу этой опасности, вас подстерегающей, усугублять; ведь рано или поздно вы, конечно, на родину возвратились бы!

«Не знаю, поймете ли вы, как все эти мысли совмещаются во мне самом, но они совмещаются, ибо самая жизнь есть не что иное, как гармония противоречий — denn das Leben selbst nichts anderes als eine Harmonie des Widerspruchs. Но мысли мои не обо мне, а о вас».

Слушая, Даша опять увидала Мещовск, провинциальную пыль, плывшую в воздухе, галок на старых березах, и среди всего этого троицу, говорившую между собою на языке, ей непонятном; знала теперь, что на немецком.

— А он очень умный, должно быть,— наивно сказала она, и тут же добавила дельно уже в пояснение: — У него такие густые, высокие брови, и сам не седой, а брови уже с сединою.

У каждой из них было свое движение мыслей, но обе они так непосредственно живо отзывались одна на чувства другой, что у этих стриженых девушек как бы плелась в разговоре одна большая коса: немецкий профессор посередине, а обе они — по бокам. Наташа тянулась к подруге: подруга без трещинки! Когда Даша вернется, она обязательно приедет к ним в школу, а когда Даша будет учиться в Москве, она поселится у них... и тогда... они обе... А когда Даша сама, в свою очередь, поведала ей страшные свои мысли о загранице и об Арцыбушеве, то мы уже знаем, как энергично Наташа дала деловой свой совет.

Они говорили о многом. Вечер давно уже канул во двор. В окрестных пещерах загорелись огни; порою за кисеей занавесок возникали и исчезали отдельные силуэты, подобные недодуманным думам. Клен был в тени; тень была черной, густой, и сам он казался густым, смоляным; вся радуга красок двумя угловатыми грудками лежала теперь на подоконнике. Обе они перед расставаньем примолкли, а когда соскочили одновременно на пол и хотели что-то еще на прощанье сказать, то слов уже нехватало, и они с горячим, внезапно возникшим порывом, неловко, стремительно расцеловали друг друга — куда-то — в щеку, в висок... Должно быть, вот это и называется дружбой.

Арцыбушев опять был недоволен. Демонстративно он заперся в своей спальной. «Петрушка» — Петр Афанасьич — ждал Дашу на приемном диванчике в передней, где он и спал. Он с трудом оторвал горбатое свое старомодное пенснэ от короткой и толстой переплетенной книги. Красноватые глаза его неодобрительно поглядели на Дашу. Он сделал ручкой.

— Нехорошо-с... Нехорошо-с!..— забормотал он, помаргивая.—Не пошли бы вы по стопам Грушеньки... да-с! — И он хлопнул другою рукою по книге.

Даша прошла в кабинет, ничего не промолвив. Петр Афанасьич последовал также за ней. Раньше, чем Даша, он успел повернуть выключатель, а затем, забежав, откинул с подушек (Даша спала на диване) — темно-зеленое ватное одеяло.

— Постельку я вам приготовил-с...— сдернул салфеточку с холодного ужина,— покушать я вам приготовил-с...— остановился и неожиданно под-

нял палец, прямой и желтый, как свечка,— а только, скажу, развращенность поступков не оправдать-с даже красивою прелестью форм...

— Закройте еду, я ничего есть не буду,— сказала Даша сердито, так что свечка Петра Афанасьича невольно согнулась и медленно поплыла книзу.— А кроме того,— Даша повысила голос, и в нем зазвучали нотки надменности,— кроме того, доложите вашему барину, что если он **там** задумает что-нибудь сделать со мной, то...

— Господи боже мой! — засуетился испуганный Петр Афанасьич.— Что это с вами?.. Да вы бы потише... потише-с! — При этом он приседал едва не на корточки, и кулачки его трепетали перед впалым потертым жилетом.

Даше уже становилось смешно, но она еще тверже повысила голос:

— То я его застрелю!

Из кабинета послышалось сухое покашливание. Не смея зажать Даше рот, Петр Афанасьич горсткой зажал — и крепко! — свои, и без того зажатые губы.

Неизвестно, как Арцыбушев отнесся к выходке Даши, но на утро к кофе он вышел исключительно вежливым и предупредительным.

Когда они встали, он, потирая руки, сказал:

— А у меня для вас есть сюрприз! — и, подойдя к столу, выдвинул ящик.

Даша еще издали увидела, как в руках его блеснул, как осенний осиновый лист, новенький паспорт.

— Это что... мне? — спросила она, вдруг оробев.

— Так точно,— ответил с приятною улыбкою Арцыбушев.— Немножечко долго все это тянулось, но вот... результат! — И он протянул Даше паспорт.— А второй мой сюрприз...— Он помолчал, выжидая.— Вылетаем мы завтра, в семь тридцать утра. Билеты заказаны.

— Завтра, в семь тридцать утра...— машинально повторила девушка.

— Москва, Смоленск, Рига, Кенигсберг, Берлин! — торжественно провозгласил адвокат, как бы торжествуя победу над Дашей.— И выспаться надо, предупреждаю! Афанасьич, пальто!

Он щелкнул пальцами и вышел в переднюю. Даша осталась одна.

Она как привстала, так и осталась стоять. В руках ее была яркая, красная книжка с большим золотым тиснением, радовавшим глаз. Она развернула ее и стала разлядывать. По фамилии стала она Говорная; это ее порадовало. Отчества не было; это ей тоже было приятно. Даша не знала, сколько было хлопот у Арцыбушева, чтобы в паспорте стояло иначе. Поглядела она также срок; срок был годовой. Сначала это немного ее испугало: зачем так надолго? Но потом она поняла, что это обычная форма. Итак, меньше, чем через сутки, она будет в воздухе!

Даша пошла уложиться. У нее уже было довольно много белья. Опять на нее ненадолго наплыли цветные психологические тряпочки; от платьиц шел запах духов, слегка дурманивших голову. Но быстро она отрезвела и побежала к Наташе; вместе решили они проехать на аэродром, поглядеть.

Однакоже на́ аэродром не пускали, и они стояли с четверть часа у ворот, глядя, как слева, круто кренясь, одна за другой, сбегали по воздуху огромные крепкие птицы. На вышке по ветру вяло болталась привязная колбаса; четыре широкие черные полосы прогибались на ней.

— Вишь, нынче куб,— сказал рядом с ними подросток,— ветер переменился!

На вышке, среди других условных примет, разглядели они и черный порядочный куб. Но многое все же было им непонятно.

— Какая я дура! — сказала Наташа,— ни разу не побыла и не полетала. И как жалко, что завтра нельзя. А ты не боишься?

— Ничуть!

По шоссе проезжали автомобили, телеги, раздавались звонки велосипедистов. Им захотелось пройтись, и вскоре они попали в воздушный музей.

— Погляжу, погляжу, как ты там завтра!..— твердила Наташа, немного волнуясь.

Они заплатили по двадцать копеек: нечлены Осоавиахима, а то бы по пятачку!

В залах было прохладно. Висели подвешенные к потолку аэропланы разных систем, стояли моторы, корзины с веревками от воздушных шаров; модели, одна за другой — на столах; на стенах — таблицы и чертежи, картины и снимки.

— При первых полетах пассажирами были, как видите,— показал на одну такую картину руководитель,— утка, петух и баран. И ничего, спустились благополучно, петух только ногу себе повредил.

В толпе посетителей кое-кто улыбнулся.

— А она зажила? — спросил неожиданно громко маленький мальчик.— Тут уже все рассмеялись.

Но особенно интересно и хорошо показалось всем в самой дальней комнате; всю ее занимала модель аэродрома. Девочки сразу узнали и серую вышку, и куб, и колбасу. Но сколько же было там зданий, ангаров и мастерских!

Сидя на деревянных прохладных перилах на возвышении, они слушали жадно, впивая все мелочи. Очень заняли их приспособления для выверки компасов.

— А не заняться ли нам с тобой авиацией? — шепнула Наташа, вся раскрасневшись.

Даша сжала ей руку. И она была красная; и она думала о том самом.

— Теперь я покажу вам аэродром ночью,— сказал руководитель и погасил электричество.

— Мама, это будет кино? — спросил опять мальчик.

Но это оказалось лучше кино. Вся площадь аэродрома, морского и сухопутного, и дальняя площадка с эллингами и дирижаблями, внезапно расцветились огнями. Крошечные прожекторы освещали набережную, засветились ангары, подземные знаки; стало похоже на сон — из сказки, прочитанной на ночь.

И после, когда уже вышли, стоило закрыть глаза, как возникало это играющее огнями видение.

— Как жаль, что ты вылетаешь не ночью! — говорила Наташа.

На обратном пути было у них еще одно впечатление — словно нарочно — про летчиков, про аэропланы. Они обогнали на тротуаре целую группу детей. Это были совсем малыши, четырех-пятилетние. Все они были одеты в совсем одинаковые серенькие костюмчики, у всех на головах белые фланелевые картузы. Они щебетали, как птицы. И щебет был: — «Летчик... летчику... Я буду летчиком!» И голос один, совсем карапуза: — «А летчики мало зарабатывают!» — Наташа весело рассмеялась и дернула его за картуз.

Расстались они так же молчаливо, как и вчера; только — на улице — значительно сдержаннее. По-обычному — вежливо и «добросердечно» — они еще не умели, а слова от волнения застревали где-то в горле. Но Даша, идя уже одна, чувствовала, какой неисчерпаемый — теплый, медовый запас открыла она для себя, и как хорошо будет по возвращении; яркие огоньки, как на ночном аэродроме, светили в ней изнутри. И все ж не могла Даша не вспомнить и не улыбнуться: утка, петух и баран; это ее деревенскому сердцу было особенно близко, тепло.

Дома ждала ее еще одна нечаянность, радость. С кем-то из деревенских, приехавших с поездом в Москву, мать ей прислала на дорогу платок!

Письма никакого приложено не было, но на словах передали Петру Афанасьичу, что дома здоровы и все благополучно. Даша чуть не заплакала. Так было ей жаль, что она не видала сама, не расспросила! И так потянуло домой, как тянет сквозной, порывистый ветер — улететь занавеску в окне...

Платок был завернут в городскую бумагу. Даша увидела, как мать замахала телеге, остановила, потом побежала домой и развязала, нагнувшись, деньги из узелка; как наказала купить в Мещовске гостинец, и долго потом, переплетя на сухой груди пальцы, следила, как тает и расстилается пыльный хвост от повозки между осенних ракит... Даша смяла бумагу и прошла в уголок — в кабинет. Арцыбушева, на счастье, все еще не было. Даша взяла и встряхнула за кончики домашний подарок. Платок был простой — летний, дешевый; по белому полю, кистями, мелкие красные ягоды; он еще не был обмят и колянился. Даша им повязалась по-деревенски и глянула в зеркало. Голова была дашина — копьевская, деревенская. Тут она глубоко, по-бабьи, вздохнула: а все остальное — зачем это?

Быстро она скинула платье ботинки и отыскала обычный, домашний наряд; все это ей доставляло неиз'яснимое удовольствие.

— Что это, маскарад перед от'ездом? Очень, очень мило! — произнес в дверях Арцыбушев.

Он был несколько навеселе: всякий проводит время перед отбытием на свой образец.

— А я не поеду совсем! — сказала вдруг Даша.

Ей было весело видеть, как Арцыбушев мгновенно переменился; вся самоуверенность его и довольство сразу исчезли. Он стал похож на несвежую, измятую манжету.

— К... как... не поедете?

Даша не выдержала и рассмеялась.

Ночью опять видела Даша светящийся, маленький, точно с большой высоты, аэродром. От ветра, от шума мотора свистело в ушах; ветер сорвал с головы ее ягодный новый платок, и он полетел, как парашют, то закрывая, то открывая сигнальные на площадке огни. До самого низу он падал, не изменяясь в размере, и, наконец, коснулся земли, целиком закрыв собою большую, светящуюся и указующую букву Т; и все огни сразу погасли. Даша, как от толчка, пробудилась и открыла глаза.

За окном еле брезжил рассвет: Даша оставила шторы неспущенными. Она соскочила босыми ногами, по привычке, прямо на пол; паркет был прохладен; ночной холодок, невидимым воском, устилал всю комнату. Стенные часы пробили пять, а следом за ними раздался стук в стену: Арцыбушев будил свою подопечную.

Даша плохо спала, но голова ее была необыкновенно свежа — точно умылась коротким своим, блистающим сном. Через четверть часа она были готовы и завтракали, а еще погодя. прогудел перед окном автомобиль.

Очень забавен был Петр Афанасьевич. Он подволакивал ногу, но пролетал между дверей, как сухонькое, из одних только лапок, насекомое. Старый слуга волновался не самым от'ездом, а тем, что от'езжали — к старому барину. Прощаясь с «молоденькой барышней», он ухитрился поймать ее руку и поцеловать. Даша отдернула пальцы, но Петр Афанасьич был очень доволен удачей. Волк из копьевского лесу, он теперь мягко стелил лисий свой хвост.

— Батюшке вашему, я вас прошу, также вот ручку ему поцелуйте-с! Скажите ему, что это старый дурак Петрушка, верный и преданный раб, господскую ручку его лобызает-с!

Даша была в дорожном пальто. Спокойно она отодвинула шляпку и перед зеркалом повязалась вчерашним платком. Странное дело, этот платок и серенькая непромокашка ничуть между собою не дисгармонировали; Даша, умытая, порозовевшая и возбужденная этим от'ездом, была так мила, что даже сам Арцыбушев не протестовал. «Даже оригинально,— подумал он, поглядев на нее.— Пусть почудит напоследках!» А громко сказал, как бы кому-то Дашу рекомендуя:

— Сотрудницу новую сопровождаю в Торгпредство; из выдвиженок!

Утренняя Москва легко и просторно бежала мимо автомобиля. Редкие люди на тротуарах не успевали к ним обернуться больше, чем на полоборота. Узкая вдали улица раздвигалась по мере их приближения. Порою дома, на поворотах, клонились к ним несколько вбок и опять выпрямлялись; автомобиль на себя их нанизывал, как цепочку разрозненных бус. За Триумфальною аркой, вокзалом — солнце, деревья и воздух били в лицо, как

одно проницаемое цветное полотнище; ежеминутно оно разрывалось и было вновь цело. Дашин платок трепался по ветру, подобный флажку.

Навстречу им просвистали, блистая сплошным, из солнца, стеклом, два-три ранних автомобиля. Даша приподнялась поглядеть одному из них вслед: автомобильное солнце погасло, но зато все шоссе позади лилось, как река из текучего света.

У Петровского замка — Воздушная академия — уже кричали газетчики:

— Внезапная смерть Штреземана!

И мягко покрякивал автобус № 6, неизвестно — печалясь о смерти министра, или попросту жалуясь на очередные неполадки в своем бензинном желудке.

Скупые ворота открылись перед автомобилем, и на серенькой вышке затрепыхался бледно-зеленый, по бледному желтому фону флажок, напоминавший игрушечный; посередине его, такая же мягкая в утреннем свете, блестела звезда.

Но — остановка! Из будки налево замахал кружевной воздушный платочек, а следом за ним набежало облако терпких духов: отчетливо крепко ступая каблучками в песок, к автомобилю шла женщина.

— Как это мило! — воскликнул навстречу ей Арцыбушев.— А я будто знал!..— И пальцы его проворно полезли в жилетный карман.

— Пропуск? Но это не менее мило... Здравствуйте, Дашенька!

Даша сердито взглянула на даму. Ее пропускают, а Наташе нельзя! На минуту мелькнуло: а если бы и она попросила у Арцыбушева? Но тотчас же: да ни за что!

Дама села с ней рядом, Арцыбушев — напротив. Даша сидела, отвернувшись и глядя перед собою направо. Автомобиль ехал шагом. Вдруг увидала она за загородкой странные лепные фигуры четырех тоненьких женщин — поодаль одна от другой; у них были подняты руки, они выражали печаль. Даша хотела спросить, что это значит, но удержалась. Несколько дальше через десяток шагов, за такою же точно палисадною изгородью, на невысоких столбах просерели две урны. Что это — место какой-нибудь катастрофы? Даша не знала... Но вот и часовой!

Перед ними лежало теперь огромное поле аэродрома. Все было залито солнцем и — никаких огоньков! Налево пестрела Москва, направо дымилось лесами Всехсвятское. Приехали рано. Даша покинула Арцыбушева с дамой, и с наслаждением, впивая прохладу ноздрями, стала оглядываться.

Несколько крупных, тяжеловатых стрекоз спокойно лежали на порыжелой траве. Возле одной из них, с голубосиними крыльями, усердно возилась кучка людей; к другому аэроплану, бело-блестящему, тащили тяжелый длинный баллон. За узеньким тротуаром и бегущей вдоль него игрушечной низенькою оградой с пестрыми столбиками, напоминавшими кое-где сохранившиеся полосатые версты на старом копьевском шоссе, на рабочей площадке рулировал на старт учебный биплан. Он неспешно бежал по земле, бодро пофыркивая, а механик шел рядом и направлял его за крыло; эта

рука на крыле напоминала Даше плуг и пахоту. Но вот он у старта; разбег; приподнял сперва хвост, и косо стал забирать высоту. Тем временем выводили другой, а этот уже блистал в вышине ярко-голубым своим оперением.

Даша взглянула на облака. Их было много и залегали они невысоко. Низенькое солнце сияло свободно, темно-зеленые ангары под ним казались небольшими бархатными холмами.

Вдруг Даша услышала гуденье пропеллера у себя за спиной. Обернувшись, она увидала наискосок заграничный аэроплан с буквою D и длинною цифрой. Пропеллер крутился, жужжал; повидимому, шло испытание мотора. Летчик в очках и подпоясанной куртке, готовый к отлету, точно такой, как их рисует воображение, стоял неподалеку. Даша к нему подошла.

— На этом мы полетим?

Он поглядел на нее с любопытством и не сразу ответил. Лицо его, может быть, было широко, но шлем его делал узким, воинственным, как на картинках у викингов.

— В семь тридцать на Кенигсберг,— сказал он неспешно, и Даша увидела простые его, неровные зубы.

Внезапно жужжанье пропеллера резко усилилось и он закружился с такой быстротой, что стал едва видим. Даше невольно захотелось отойти немного подальше, но она удержалась и только взглянула на рядом стоявшего летчика. Он, улыбаясь, глядел на нее.

— Не бойтесь,— пояснил он,— это проба на большой газ — сжатым воздухом. А он не разлетится.

— Я знаю,— возразила Даша, вспоминая музей.— Он склеен из мелких пластинок.

Эти ее нечаянные познания дали ей право на дальнейшие расспросы. Особенно ей понравился на спине аэроплана маленький игрушечный пропеллерчик — для электрического освещения внутри кабины — и радиатор для охлаждения воды, прикрытый спереди пластинками из металла, а сзади напоминавший точь-в-точь пчелиные соты.

Летчику Даша, как видно, понравилась.

— Ай из деревни? — спросил он ее вовсе запросто.

— Ага! — почти не разжимая губ, по-деревенски же, ответила Даша.

— То-то, гляжу я, платок: чистая красная смородина!

Даша ему улыбнулась и обнажила сама на редкость красивые — горошинка рядом с горошинкой — крепкие зубы. Ей было приятно услышать самое это слово: смородина! При школе у них было целых три грядки красной смородины: северный наш виноград! И как это, вправду, сама она ни разу о ней не вспомянула! Разве по той, быть может, причине, что и о себе самом не вспоминается...

— А там-то, гляди! — кивнул очками ее новый знакомый, и Даша обернулась опять к голубой стрекозе.

То, что она увидала, было совсем по-старинке. Трое рабочих стояли, взявшись за руки цепью. Крайний высоко хватал свободной рукой за верхушку пропеллера, и по напеву — раз-два-три! — они гулко его ухали вниз.

потом начиналась та же история: они заводили мотор. Аэроплан готовился в Харьков.

Летчик ее потянул за плечо, и она обернулась на поле. «Вот за то это — реванш!» — сказала бы верно Наташа Синицына.

Высоко летел аэроплан. Он был, как и все. Но вдруг он взмывал вертикально и быстро клонился спиною назад, выравнивая брюхо в горизонталь и довершая затем вторую, нижнюю половину полного круга. Затем он немножко летел для разбега и делал новую петлю. Даша их насчитала тринадцать. Он кувыркался на вышине, как бы резвясь и беззаботно радуясь ясному, полному утру. Это было подобно игре — легкой, изящной и, казалось, не требовало никаких усилий. Тем больше, однако, была полнота радости и восхищения. Даша с трудом оторвалась от этого зрелища; она как бы снова была в старом своем копьевском саду.

— Кто это? — спросила она.

Летчик назвал ей гордое имя своего товарища по пилотажу.

И опять, оторвавшись, Даша увидела, как разгоняли пропеллер вручную. Впрочем, устали они или им надоело,— рабочие кинули это занятие и потянулись, разминая плечи, покурить у ограды.

— Так-то и мы в Смоленске выпьем чайку, — засмеялся дашин сосед.

Даше нисколько не было страшно лететь: некогда было быть страшно! Оставшись одна, она оглядела еще аэроплан, по-немецки прочла на боку возвещенный Арцыбушевым утром маршрут: Berlin — (Danzig) — Königsberg—Riga—Smolensk—Moskau; это доставило ей удовольствие; потолкала подножку, прочна ли; костыль ей напомнил сошник, в нем были за ободком кусочки земли — сухой, желтоватый суглинок. И, однако, когда уже надо было садиться, и как во сне слышала она прощание Арцыбушева с дамой, и как та говорила: Чулки... не забудьте же... номер девятый...»— дашино сердце сжалось невольно, точно она уже оторвалась от земли: утка, петух; серые урны; прививка; падение с дерева.

Сели; рулировали две-три минуты; механик вскочил по дороге, точно присел на облучок; отпустили; немного секунд — хвост приподнялся, легкий толчок и — совершилось отплытие: не сразу его и ощутишь! Но уже где-то внизу — ангары и станция, и серая вышка; две-три вороны поднялись с травы, пробежала собака: — лечу!

Даша сидела, молчала; сердце в ней прыгало. Арцыбушев рядом посапывал носом — деловито и удовлетворенно. Бежала земля, казалось, не так теперь быстро, она только ежилась, и расширялась одновременно, но уже именно с'езженная. А облака ни поднимались, ни низились, и все же от них тянуло дыхание влаги. Где-то мелькнуло в мозгу, как ехал однажды — вот так, в облаках — тракторист — Андрей Николаевич.

В кабине мест было шесть, а пассажиров всего только трое, да и то — третий летел лишь до Смоленска: член РКИ. Арцыбушев тотчас с ним разговорился, и был в разговоре, из-за шума мотора, похожем на крик, ни чуть не похож на Арцыбушева, знакомого Даше; охотники все об'яснять

естественно-исторически, могли бы, не без видимого успеха, приписать это явление пребыванию в воздухе на известной высоте.

Понемногу Даша опять успокоилась. Лететь было очень приятно, шум разве немножко ее оглушал, но ни капли не раздражал; скорее напротив, ровный этот и энергический пульс подчинял себе сердце.

Сидеть было также очень удобно. Все было обдумано с немецкою тщательностью: плетеное кресло; подстилка на нем — серая, с коричневым четыреугольником посередине; подушечка для головы в чистенькой, с мережкою, наволочке, и назади — аккуратные пуговички. Даша не сразу догадалась, что можно отодвинуть окно; она сидела слева и позади; окно ее не было пересечено литою трубой по диагонали. Ветер не очень трепал, и она отрывалась от созерцания осенних полей и лесов, серебряных, точно на карте начерченных рек,— только затем, чтобы взглянуть, через другое окошечко на кусочек спины, на кожаный локоть; там были руки и мозг одновременно.

Ближе к Смоленску ветер стал крепче, началась «болтовня», как называли это мужчины на лётном жаргоне; Даша качалась покорно, порою лишь трогая пояс, застегнутый на животе. Раза два или три попадали в воздушные ямы, и высота резко падала; казалось тогда, что внезапно убрали сиденье, и летишь за ним вниз, догоняя его. И почему-то еще вспоминалось тут Даше: «Дюр-аллюминий, толщина стенки 0,3 миллиметра».

В Смоленске был чай, но летчик стал очень невесел; погода испортилась, мотор на последних пятидесяти километрах капризничал; механик, согнувшись, сидел под дождем, не замечая дождя.

В дороге аэроплану приходилось нырять, выбираясь из толщи бегущих чуть ли не по земле облаков. Порою он забирал круто ввысь и, случалось, внизу виднелась земля, похожая на свое отражение в воде. Арцыбушев вдруг потерял всю свою самоуверенность, стал нервен и груб. Они были в кабине с Дашей одни, и он неприкровенно срывал свое беспокойство и трусость на ней:

— Скоро граница! Скоро конец этой прекрасной страны! Да, шутки теперь довольно шутить... Попили нашей кровушки, я говорю, и довольно. Довольно-с!

Даша молчала, ей адвокат был очень противен. Но что ей за дело до адвоката, когда и в самой сердце тоскливо сжимается по неизвестной причине? Нет неизвестных причин, и Даша тотчас же ее сознает; у нее остается слишком немного времени, чтобы все это, самое важное, до конца осознать! Граница все ближе и ближе, воздушная линия скоро будет пересечена. Она обращается к Арцыбушеву и говорит, нисколько не скрывая своего отвращения:

— Да замолчите вы, наконец! Подлый вы человек!

— Ах, подлый! Так... хорошо-с... Так и запишем! На чистоту? — Извольте, давайте на чистоту! Я человек высокого долга! — кричит он, теряя себя.— Я обещал доставить отцу заблудшую дочь... погибшую дочь... И я ее выкрал у мужиков! И навсегда, навсегда-с! Теперь я могу это сказать. Сле-

дующая остановка у нас — Рига, да, Рига-с, бывший губернский город Российской империи!..

Тут его речь прервалась. Аэроплан зашатался и задрожал. Но тотчас же машина опять как будто бы выровнялась. «Ах, отчего я не осталась в Смоленске, не скрылась, не убежала!»

— Вы со мной ничего не можете сделать,— сказала она, овладев собой на минуту.— Я еду законно, и у меня годичный мой паспорт. Я еду сама по себе.

— Скажите пожалуйста! — И Арцыбушев как бы растер между ладоней закон.— Это здесь в моде... здесь в моде паспорта под псевдонимом, а там, извините, мадемуазель Говорная, там вы законная дочь лица с положением, да-с! И не-со-вер-шен-но-лет-ня-я-с! — да, по законам цивилизованных стран!

«Наташа права: убить бы его!» — Все ее тело занемело и с'ежилось. Адвокат продолжал издеваться, грозить, но Даша его больше не слушала. Несовершеннолетняя! Точно грубая чья-то ладонь сжала ее в темный кулак. Но в этом коротком, мучительном обмороке пришла к ней, возникнув из покидаемых недр,— агафьина дочь — телушка у Говорных; когда-то она пропадала в лесу и вернулась; и, вернувшись под утро, лизнула дашину руку.

— Да и вы сама... Вы и сама, Дарья Владимировна, войдете в свой разум. Мы с вами вместе еще посмеемся над этою сценой!

Даша дала резкий толчок, раздвигая короткие, враждебно ее сжавшие пальцы. «Прививка... Прививка... Помню. Не обману!» — шептала она, и руки ее машинально расстегивали пояс. Отчаянные мысли: «Бежать, пока еще наша земля — не чужая!» — охватили ее с необузданной силой, и она глядела в окно, соображая, как это сделать; окно у нее все время оставалось открытым.

Аэроплан дико качало, и вдруг Даша услышала треск, как если бы, один за другим, принялись колоть гигантских размеров орехи. Арцыбушев кинулся к окошку пилотов и что-то кричал там, впереди. Аэроплан круто начал спускаться. Бегущие мимо верхушки дерев теперь едва не хлестали по крыльям, и в судорожном этом полете, как в вихре листвы, сорванной с дерева, бились в ней тысячи близких, родных мелочей — бывших и будущих,— обгонявших одна другую, но ярче всего вспыхнуло, как она падала с дерева в школьном саду; внятно, отчетливо в ней прозвучало: «Ну, Говорная, разодолжила! Другой раз так не летай!» И голос опять перешел в щелканье грецких орехов.

Странно: звук, говоривший о смертельной опасности, в Даше стер в порошок все ее безумные мысли, в конце концов рвавшие ее к самоубийству, а ветер, свистевший в ушах, вымел их начисто: здоровый инстинкт — остаться живой, упрямство и вера в себя («А!.. если что́ — убегу и оттуда!») — как в яблоке сок, заполнили каждую клеточку ее существа. Даша была до краев исполнена силы, которую надо куда-то девать. Она слегка поднялась, крепко держась за поручни кресел.

В ту же минуту что-то произошло. Аэроплан косо рвануло и пронесло по верхушкам дерев на большую поляну. Там он сел на костыль, потом на колеса, клюнулся носом и, повернувшись, рухнулся на бок. Какая-то сила кинула Дашу наверх через окно и с высоты на поляну.

Пилот уцелел. Он приподнялся с сиденья и повел головой; взгляд его упал на знакомый платок. Но и вся деревенская девочка Даша, лежавшая неподалеку, показалась ему ярким кустом с красными ягодами.

Аэроплан вынужден был к этой посадке, не долетев пяти километров до пограничных столбов.

4 октября 1929 г.
Москва

Белая страница

(Рассказ)

Дм. Сверчков

1

— Милый, я, кажется, беременна.

Он привлек ее к себе и крепко обнял.

— Это правда? Почему ты знаешь?

— Ясно, почему...

— Надо пойти к доктору, пусть осмотрит.

— Я об этом и хотела поговорить. Только зачем к доктору? Достаточно акушерки. У тебя есть деньги?

— Для этого случая найдется.

— Нужно тридцать рублей.

— Тридцать? Почему так много?

— Так уж берут. Бесплатно я не могу: надо ходить по каким-то комиссиям, подвергаться расспросам, уговариваниям... Это так нудно и противно.

Он выпустил ее, не понимая.

— Каким расспросам? Просто пусть осмотрит и скажет, правда или нет. Это будет стоить максимум три рубля.

— Где же это ты видел, чтобы за три рубля делали аборты? — спросила она раздраженно.

Он вскочил и схватил ее за руку.

— Как аборты? Ты не хочешь иметь ребенка?

Она зло рассмеялась.

— А ты воображал, что хочу?

Он отошел и стал смотреть в окно. Потом опять подошел к ней.

— Послушай, Веруня,— начал он мягким, ласковым тоном.— Разве тебе не будет радостно иметь маленького бутуза?

Она перебила его.

— Конечно, мне должно быть очень приятно ходить с раздутым животом, чувствовать вечную тошноту, потом мучиться целые сутки, а может быть, и больше, десять дней лежать почти разорванной надвое, несколько лет не спать и слушать постоянный крик, возиться с грязными пеленками,— словом, совершенно похоронить себя как женщину... А ты разве будешь

любить меня с отвисшими грудями, покрытым рубцами дряблым животом, захлюстанную, нечесанную, с обломанными ногтями и потрескавшимися, огрубелыми руками? Нет, благодарю покорно. Я постараюсь обойтись без всего этого. Я не понимаю даже, как ты можешь удивляться моему желанию сделать аборт?

— Никак не ожидал от тебя этого. Мне казалось таким естественным и желанным иметь ребенка. Я даже не знаю, что́ тебе возразить, так это все внезапно и странно... Мы на эту тему, правда, никогда не говорили, но мне казалось, что это само собой подразумевается... Ты говоришь, что если будет ребенок — ты похоронена как женщина. А на самом деле как раз наоборот! Крепкой и здоровой бывает только женщина-мать... Постой, я прямо не могу привести мысли в порядок, до того это все для меня неожиданно и...

— Вот так коммунист! — перебила она. — Я тоже не подозревала, что все твои стремления направлены на уютную квартирку, герань на окне, жену-кухарку и швейку, которая будет готовить тебе вкусные обеды, штопать носки, встречать тебя, когда ты изволишь возвращаться с ответственной работы, вытирать наскоро руки о фартук и кричать: Коля, Оля, Катя, Сережа или там Спартак и Кима, папа пришел! Как это прекрасно! Ты потреплешь их по щекам, повозишься с четверть часа, пообедаешь, — и опять на заседания, собрания, митинги, в театры, концерты, а я — сиди дома и вытирай сопливые носы твоим наследникам! А потом ты вернешься домой прямо в кровать, может быть, нехотя обнимешь когда-нибудь лежащую под боком жену, мысленно сравнишь ее с другими, у которых нет детей и которые сохранили стройную фигуру, — к невыгоде для меня, конечно... И ты смел предполагать, что я буду так жить? Где же твои разговоры о равноправии, жене-товарище в работе и прочее?

— Я, действительно, сделал большую ошибку, что не говорил с тобой раньше об этом, — сказал он холодным, серьезным тоном. — Я никогда не мог предполагать, что ты так думаешь. Вопрос слишком важен для меня, чтобы не договориться теперь до конца. Ты знаешь, как я люблю тебя, и именно поэтому я мечтал, — слышишь? — мечтал иметь от тебя сына. Я так был рад, когда ты сказала... Что там говорить, не в этом теперь дело. Мы, как видно, теперь совсем не понимаем друг друга. Отсюда надо сделать логический вывод, как он ни тяжел, ибо потом будет еще хуже... А вывод один: мы оба ошиблись, сойдясь. Ошибку можно исправить только одним: разводом.

Она поднесла руку ко лбу, не понимая, и вдруг опустилась на стул, упала головой на руки и зарыдала. Он долго смотрел на ее слабые, бессильно вздрагивающие плечи, потом подошел к ней.

— Право же, Веруня, так будет лучше. Посмотри, ведь в десять минут ты мне наговорила столько ужасного, как может говорить только злейший враг. И все из-за чего? Ты совершенно не понимаешь меня. Я не требовал от тебя полного единомыслия со мной, но ожидал хоть немного уважения к моим убеждениям. А ты с такой ненавистью говоришь и о моей партий-

ности, и о стремлениях,— таких, казалось бы, понятных и простых... Они должны были бы быть тебе еще более понятны, чем другим,— ведь в жизни так часто теперь бывает как раз наоборот: жена хочет ребенка, а муж заставляет ее делать аборты...

Она отняла руки от лица.

— Сделал беременной... взял все... а теперь бросает...— с трудом произнесла она и вновь разразилась рыданиями.

— Успокойся. Я только сделал вывод из твоей безмерной злобы по отношению ко мне... Вот что,— сказал он, посмотрев на часы,— мне пора уходить. Обдумай все, а потом поговорим более спокойно. Пойди все-таки к доктору, чтобы знать наверное. Я оставлю деньги. Только не вздумай делать аборт, слышишь? Тогда между нами все кончено бесповоротно.

Она не подняла головы. Он положил на стол три рубля и вышел из комнаты.

2

По дороге в штаб стрелковой дивизии он не замечал ничего кругом, поглощенный мыслью о случившемся. Его Вера, с которой, казалось, он так крепко спаялся, оказалась такой чуждой и мелкой. Важнее всего для нее сохранить свою фигуру! Конечно, на долю женщины с рождением ребенка падают огромные новые обязанности. Но малыш приносит в дом столько тепла, уюта. Возиться с ним, подмечать развитие его ума, принимать участие в его играх, потом ученьи, сделать из него верного и твердого продолжателя своего дела, воспитать его в новых условиях, лишенных лжи и лицемерия... Неужели все это мещанство? Как дико слышать это от Веры, самого близкого человека!

Он открыл тяжелую входную дверь штаба, ответил на приветствие дежурного красноармейца, прошел в свой кабинет и сел за письменный стол, на котором уже лежало несколько папок с бумагами.

— Чорт возьми! — вдруг произнес он вслух, широко улыбнувшись. Он вспомнил, что у женщины в этом периоде бывают всевозможные странности. Ну, конечно, ее упреки надо отнести только за счет беременности, как лишнее доказательство правильности ее подозрения. Аборта он не допустит. А остальное: занавески, герань и прочее вовсе нельзя ставить в счет. Не надо было так резко разговаривать с ней. И как это он не догадался!

После ухода мужа Вера легла на кровать. Слова его казались такими оскорбительными. Он смотрит на нее, как на машину, которая должна доставлять ему наслаждение и производить потомство! До остального — до ее жизни, интересов, желаний — ему нет никакого дела! Вет и теперь, разве любящий муж оставил бы жену в таком состоянии, разве ушел бы на свою скучную работу, не помирившись после первой крупной размолвки, даже не поцеловав ее на прощанье? Она никак не ожидала встретить с его стороны такое резкое противодействие ее нежеланию связать себя ребенком. Ведь ей всего 20 лет! Ну, если ему так хочется сына, пусть бы отложил на потом, лет через пять-десять, когда лучший период молодости останется

позади. Надо все это ему сказать, об'яснить. Она вела себя глупо: вместо того, чтобы поговорить спокойно и доказать,— расплакалась! А к доктору следует пойти, в этом он прав. Пойти все равно надо в обоих случаях, придется или не придется делать аборт. Это соображение, пришедшее в голову, вдруг возмутило ее: как? Она сама уже допускает предположение о нормальном окончании беременности? Никогда!

Она встала, умылась, тщательно напудрила лицо, чтобы не было видно следов недавних слез, и вышла на улицу. К кому же пойти? Только к кому-нибудь незнакомому. В аптеке ей назвали несколько адресов врачей этого района. Она записала их и остановилась на Белоусове, фамилия которого на дверной карточке оказалась написанной с ятью и твердым знаком: этот начал практиковать еще до революции, значит, не так молод. К ее удовольствию, он оказался совсем стариком.

Сомнений больше не было. Доктор определил наличие беременности, установил полную нормальность ее уже 1½-месячного течения, предсказал вполне правильные роды, если, конечно, не случится каких-либо неожиданностей. Она робко спросила его о возможности аборта. Он взглянул на нее с неодобрением, предупредил о вреде перерыва беременности для женского организма,— это может привести к полному бесплодию (ах, если бы так случилось! — мелькнуло у нее в голове), и отказался давать какие-либо советы в этой области. Уходя, положила ему на стол три рубля, пожалев, что не разменяла их раньше: тогда можно было бы ограничиться двумя.

Вернувшись домой, долго сидела, не раздеваясь. Потом подошла к телефону и назвала номер мужа.

— Я была у доктора. Он подтведил.

Петр Александрович ответил:

— Ну, вот видишь, как хорошо. (Она вовсе не чувствовала ничего хорошего.) Ты, Веруня, прости меня за резкость, я погорячился. Не думай ни о чем и не волнуйся: это может вредно отразиться на н е м. Тебе теперь нужен полный покой. Я так рад. Постараюсь сегодня освободиться пораньше. Будь здорова и береги себя.

Она положила трубку. Он теперь относится к ней, как к футляру, в котором спрятана драгоценная для него вещь,— вот чем об'ясняются его заботы о спокойствии. «Верх! Осторожно!» — вспомнились ей надписи на ящиках, отправляемых по железной дороге.

Опять взяла трубку.

— 2-31-60... Да... Дору Михайловну можно?.. Пожалуйста... Это ты, Дора?.. Здравствуй... Конечно, я... Ты никуда не собираешься?.. Мне необходимо тебя видеть... Ты одна?.. Прекрасно, я сейчас приду.

Дора (при этом имени всегда вспоминалось об'явление в «Известиях»: Дарья Михайловна Стояновская меняет имя «Дарья» на «Дора». Лиц, имеющих препятствия, просят заявить в загс) была подругой Веры Николаевны по трудовой школе, но вышла замуж еще за два года до окончания курса. В школе она была предметом восторженного удивления своих товарок, ибо говорила не стесняясь о самых рискованных вещах, заботилась о маникюре

и костюмах и проповедывала, что девушка может себя вполне обеспечить изящной внешностью гораздо больше, чем какими бы то ни было знаниями и дипломами. Держалась она со всеми развязно и любила приводить учителей в смущение, задавая им с невинным видом самые щекотливые вопросы. Подругам она рассказывала про свои похождения, причем любила останавливаться на самых интимных подробностях. Многие ей не верили, но не могли отказать в исключительной ее осведомленности. Вера помнила, какое негодование классной руководительницы вызывала Дора, когда в ответ на вопрос о причине опоздания на уроки говорила: «У маникюрши была, пришлось ждать из-за длинной очереди», а один раз ляпнула: «Пришлось к гинекологу пойти, а он принимает от 9 до 11-ти». Совет школы уже поставил вопрос об ее исключении вследствие крайне вредного влияния на остальных учеников, но она поспешила выйти замуж, едва ей исполнилось 16 лет. И тут удача: через месяц после этого был опубликован декрет, повышающий возраст регистрирующихся с 16 лет до 18.

Теория, проповедуемая Дорой, была чрезвычайно проста. Мужчины смотрят и будут смотреть на женщин, несмотря на всякие программы и разговоры, как на низшие существа, необходимые им для отдыха и наслаждения. Тип гаремной женщины, против которого так возражают в печати и на лекциях, является именно тем, к которому должны стремиться все девушки, ибо он гарантирует безбедную и беззаботную жизнь, наполненную всяческими удовольствиями. Клеймящие этот тип сами в душе пожалели бы, если бы он исчез. Стойкость и все бóльшее развитие этого типа (посмотрите, как широко распространился маникюр, как внимательно следят за модой все бóльшие и бóльшие слои женщин: революция дала этому стремлению огромный толчок вперед!) доказывают наибольшую приспособленность к борьбе за существование именно такой женщины. Поэтому надо раз навсегда отказаться от стремления к самостоятельности, плюнуть на профессии стенографистки, машинистки, конторщицы, врача, инженера и пр., а стать целиком и полностью именно тою, какою нас хотят иметь мужчины: это даст гораздо более спокойное и обеспеченное существование, чем какие угодно звания. Выходить замуж надо только за богатых или за очень ответственных работников, которые хотя и не получают достаточно много денег, но при них в качестве жены можно пользоваться завидным положением. Пусть муж будет стариком,— это ничего не значит. Правда, неприятно быть близкой с развалиной, но разве работа машинистки или делопроизводительницы лучше? Старика легче забрать в руки и устроить себе кого угодно на стороне. Словом, все чрезвычайно ясно и понятно. Следуя этой своей теории, Дора сначала вышла замуж за коммуниста, председателя одного из крупных трестов, но вскоре разочаровалась, так как он вовсе не склонен был позволить ей эксплоатировать свое положение, ушла от него и теперь жила с нэпманом, 60-летним арендатором кожевенного завода, подвела его уже раз под огромный штраф, ибо растратила отложенные для уплаты налогов деньги, и вертела им, как хотела. Петр Александрович рекомендовал Вере — что равносильно было приказанию — прекратить

с ней знакомство. Однако Вера тайком виделась с ней, так как ни у кого нельзя было получить лучшего совета по всем житейским вопросам. Кроме того, через Дору всегда можно было достать контрабандные заграничные товары: чулки, перчатки, пудру, духи и всякую мелочь. Дора хвасталась тем, что носила исключительно заграничные туалеты, шляпки и ботинки, неизвестно какими путями добывавшиеся стариком-мужем. И теперь Вера застала ее за разборкой целого транспорта материй, шелкового белья и парфюмерии.

Приятельницы крепко расцеловались. Дора хотела было похвастаться перед Верой новыми покупками, но, заметив ее расстроенный вид, усадила ее на диван и тревожно спросила:

— В чем дело, Верок? Почему ты встревожена? Что-нибудь случилось с твоим благоверным?

— Нет, ничего. Немного поссорились. Видишь ли, я сказала ему, что беременна...

— Налетела? Как это вы допустили такую неосторожность? Надо немедленно обратиться к хорошей акушерке, пока не поздно. Ты не беспокойся, это пустяки, в два счета, не успеешь глазом моргнуть, как ничего не будет.

— Я так и хотела. Но муж не желает...

— То-есть как это не желает?

— Хочет иметь ребенка. Дело дошло до того, что разводом грозил...

Дора всплеснула руками.

— Да он с ума сошел! Тебе в твои годы рожать! Превратиться в тесто, тряпку, мочалку, испортить твою дивную фигуру! Ведь ты прямо статуэтка. И погубить себя теперь из-за его прихоти! Лишить себя всяких видов на будущее, стать вещью в распоряжении мужа, так как после родов — уж будь уверена! — редкий мужчина тебя захочет. Отправляйся теперь же без всяких разговоров. А если уж так боишься своего Петра Александровича, то можно проделать все тайком от него. Я тебе сейчас адрес дам вернейшей акушерки. Мне, правда, к ней не приходилось обращаться,— я не так глупа,— но на всякий случай познакомилась с ней, она у меня бывает и интереснейшие вещи рассказывает, не надо в театр ходить.

— Но у меня нет денег. Ведь это, кажется, стоит тридцать рублей?..

— Пустяки. Она поверит в долг, а потом по частям выплатишь, нагонишь на чем-нибудь экономию. Но надо итти именно теперь, так как позднее придется делать выскабливание и лежать несколько дней, а тут всего какие-нибудь полчаса, и все проведешь на ногах.

— Боюсь, что муж узнает.

— А погубить себя родами не боишься? Ведь умереть можно!

— А это очень больно?

— Не знаю. Думаю, что не очень. Ничего не поделаешь. Родить во всяком случае в сто раз больнее.

— Что она будет делать?

— Вероятно, просто впрыснет иод. Может быть, если понадобится, сделает прокол. У нее сотни были, и все благополучно, быстро и хорошо. Когда ты пойдешь?

— Не знаю еще.

— Иди сейчас. Отделаешься сразу и увидишь, как камень с души свалится.

— Нет, нет... Сегодня никак не успею. Скоро муж вернется, надо дома быть.

— Ну, завтра. Но смотри, не откладывай. Пропустишь срок,— ничего уже сделать нельзя будет без серьезного риска.

Вера записала адрес и ушла, бросив полный зависти взгляд на заграничную посылку Доры.

3

Очнувшись, Вера не сразу вспомнила, где находится. В широкое окно заглядывала пушистая от инея ветка дерева. Белые стены, покойная чужая кровать, матовый полушар лампы под потолком. В комнате пахло лекарством. Вера хотела привстать, но нижняя половина тела не повиновалась движению. Ярче всего было ощущение огромного облегчения.

Заметив открытые глаза Веры, сиделка бесшумно подошла к ней и спросила:

— Ну, как вы теперь себя чувствуете? Все окончилось благополучно. Поздравляю вас с сыном. Может, хотите ребеночка посмотреть?

Эти слова вернули Веру к действительности. События последних суток развернулись в памяти яркой отчетливой лентой. Обед с мужем, вдруг — нарастающая волна боли внизу живота, потемнело в глазах, из рук выскользнула ложка. Беспокойный взгляд Петра, его тревожный вопрос: — Началось? — Он бережно отвел ее на кровать расстегнул юбку. Стало легче. Потом бросился к телефону, вызвал автомобиль, отвез ее в больницу. По дороге каждый ничтожный толчок отдавался в огромном животе, который некуда было девать. Опять растущая острая боль. Стиснула зубы и сжала руки, но не удержалась от стона. Под'езд. Муж позвал сестру в белом халате — как она не простудится по такому холоду? — под руки отвел в приемную, там крепко поцеловал, хотел пошутить, но шутка не удалась. Ушел, когда ее увели по коридору. Потом ее раздели, провели в палату и положили на кровать. Дальше она ничего не видела, вся сосредоточившись на все чаще и чаще приходящих волнах рвущей боли. В промежутках — страх перед новым приступом. Ходили какие-то люди, осматривали ее, нагибаясь, и бесцеремонно раздвигали ей ноги. Было совершенно безразлично, что она одна голая перед мужчиной, который ей советовал не церемониться и кричать, если трудно удерживаться. Потом все исчезло, кроме вцепившейся в живот чужой огромной силы, беспощадно раздиравшей внутренности и заставлявшей ее извиваться всем телом и крепко уцепиться руками за кровать. Кто-то дико кричал, и нельзя было понять, откуда доносится этот звериный вой. Когда силы совсем оставляли ее, крик прекращался. Неужели это она сама?

— Поставьте градусник, надо измерить температуру,— сказала сиделка и всунула Вере подмышку холодную стеклянную палочку.— Может быть, хотите пить?

Вера утвердительно кивнула головой. Сиделка подала ей что-то кисленькое в стакане. Вера с трудом взяла стакан и отпила глоток. Неужели все кончилось? Боязливо притронулась к животу. Вместо прежней уродливой горы оказалась впадина. Может быть, это потому, что живот туго забинтован? Когда же это сделали?

Задела рукой набухшую грудь с напряженным соском, который покалывало. Вдруг вспомнила, что теперь придется кормить.

— Где сын? — неожиданно для себя спросила слабым голосом сиделку.

— Сейчас принесу,— ответила та и быстро вышла из комнаты.

— Надо сообщить Петру,— произнесла вслух, обвела комнату глазами и теперь только заметила, что она в отдельной палате. Почему? Может быть, позаботился муж, чтоб ее никто не беспокоил? Впрочем, в отдельную палату перевозят и умирающих. Разве она так плоха? Вдруг стало страшно, что все ушли.

Вошел доктор.

— Ну-с, как дела? Вы вели себя молодцом. Как температура? Мерили?

Вера вынула термометр и протянула доктору.

— Нормальная. Великолепно. Через недельку будете танцовать фокстрот. Сегодня — полная диэта. Молоко, немного бульона и два сухарика Придется потерпеть.

Сиделка вошла со свертком в руках, из которого раздавался слабый писк. Писк этот сразу проник Вере в сердце, наполнил ее неудержимым стремлением схватить, прижать к себе и никому ни на секунду не доверить своего сына. Она резким движением потянулась к нему. Доктор остановил ее.

— Нельзя так прыгать. Надо быть осторожной.

Доктор подошел к сиделке, заглянул в сверток и спросил шопотом:

— Головку хорошо завернули? Ничего не заметно?

Сиделка ответила утвердительно.

Доктор взял сверток из ее рук и подошел с ним к Вере.

— Ну, вот, смотрите, какого хлопчика выносили,— он бережно положил его к ее груди. Вера с тревогой заглянула в лицо ребенка. Полные, ярко-красные щечки, приплюснутый носик, бессмысленные голубые глаза, шевелящиеся губки... Левый глаз был наполовину закрыт одельяцем, скрывшим даже бровь. Вера хотела отогнуть одеяло, но доктор ее остановил.

— Предоставьте уж это нам. Мы лучше знаем, как надо завертывать.

— Его нужно покормить? — слабым голосом, не отрываясь глазами от ребенка, спросила Вера.

— Попробуйте.

Сиделка помогла ей обнажить грудь. Вера не чувствовала никакой неловкости перед посторонними. Она приложила сына к набухшему темному соску. Нежные губки схватили его и сжали. Несколько капель молока

вытекли в ротик. Ребенок делал движение губами, но не сосал. Вера с тревогой посмотрела на доктора. Тот сказал:

— Научится. Ведь у него еще не было практики.

Однако он сам казался озабоченным.

После нескольких бесплодных попыток доктор приказал сиделке взять ребенка, а Вере рекомендовал хорошенько заснуть. Она проводила глазами сына, потом вдруг торопливо сказала:

— Позвоните мужу по телефону.

Доктор рассмеялся.

— Он уже сам звонил раз десять. Информирован обо всем подробно, о нем не беспокойтесь. Просил вам передать привет и поздравления. Помните, что и для вас, и для сына теперь больше всего необходимо спокойствие. Засните пока, а к вечеру я опять зайду вас проведать. Измеряйте через каждые два часа температуру.

Он ласково пожал худенькую руку Веры и вышел из палаты.

4

Петр Александрович сидел в кабинете доктора, нервно куря папиросу.

— Она еще ничего не заметила, так как при ней мы его не раскрываем. Вы видели, приплюснутость черепа с левой стороны слишком бросается в глаза. Кроме того, у ребенка острая грудь,— мы называем ее куриной. Но это еще не так важно,— со временем, если не совсем, то в значительной мере может исправиться. Серьезнее его полная неспособность к сосательным движениям. Меня удивило, что он не взял грудь в первый же день. В последующие четыре дня эта неспособность стала еще ярче. Он жадно хватает сосок, мнет его, но не умеет сосать. Пришлось перевести его на искусственное питание. Вашей жене мы сказали, что ей кормить вредно по состоянию организма, и она истинной причины не знает. Ей забинтовали грудь. Перегорание — как говорят в просторечии — молока вызвало у нее беспокойство и легкое повышение температуры, но она вне всякой опасности.

— Чем же вы это об'ясняете? — спросил Петр Александрович.

— Пока еще поставить верный диагноз чрезвычайно трудно. Как будто бы налицо признаки рахита. Скажите, вы не болели сифилисом?

— Нет, никогда.

— Может быть, ваши родители или родители жены были больны?

— Тоже нет.

— Ну, посмотрим, что будет дальше. Надо научить вашу жену кормить его искусственно. Беда в том, что он, как я уже сказал, не может вовсе сосать, да и глотательные движения у него очень затруднены. Приходится наливать ему в рот молоко с ложечки, держа его навзничь,— тогда он коекак проглатывает. Советую обтирать его соленой водой и каждые два-три месяца показывать врачу. Вот все, что я могу вам сказать.

— Разрешите повидаться с женой?

— У нас свиданий не полагается, но поскольку она в отдельной палате — сделаю вам исключение. Но не больше 10 минут.

Вера очень обрадовалась неожиданному посещению мужа, крепко поцеловала его и спросила:

— Ну, теперь ты доволен? Помнишь нашу ссору?

Он рассмеялся.

— Забыл бесповоротно. Теперь видишь, что я был прав,— ответил он. Вдруг тень пробежала по его лицу. Она заметила.

— Ты знаешь, что я не могу кормить? Никак не ожидала этого. Молока сколько угодно, груди так болят... Не понимаю, почему... Ты не сердишься?

— Конечно, нет! Разве ты в этом виновата?

— Ты уже видел ребятишку? Правда, он такой славный, маленький, только кричит очень... Должно быть от искусственной пищи.

— Видел. Хороший парень,— заставил себя сказать Петр Александрович.— Тебе ничего не нужно? Может быть, хочешь конфект или фруктов?

— Нет, спасибо. Здесь дают всего больше, чем я могу с'есть. Чувствую себя совсем сильной, даже досадно, что не позволяют вставать.

— Пожалуйста, исполняй предписания врача в точности; расстроить здоровье недолго, а потом поправлять его очень трудно. А тебе предстоит столько хлопот с маленьким... Конечно, постараемся найти няньку, но она от всего не избавит.

— А как ты хочешь назвать сына? — спросила она, втайне боясь, что он предложит какое-нибудь из новых неудобопроизносимых имен.

— Выбери сама,— неожиданно ответил он.

— Мне бы хотелось Олегом,— нерешительно сказала она.

— Хорошо, милая. Я пойду,— доктор не велел тебя утомлять. Для первого раза довольно.

Он поцеловал ее в губы и, тихо ступая, вышел из палаты.

5

Он привез ее домой в закрытом автомобиле на десятый день. Закутанный в одеяла ребенок всю дорогу остро и пронзительно кричал. Вера беспокоилась, думая, что его неловко завернули, и с нетерпением поглядывала в покрытые легким морозным рисунком стекла автомобиля, стремясь поскорее осмотреть мальчика. У входа в дом Петр Александрович задержался,— надо было расписаться на путевке шофера,— но догнал Веру на лестнице.

— Дай его мне,— сказал он, бережно беря сына на руки.

Не раздеваясь, он прошел прямо в комнату и положил ребенка в приготовленную для него кроватку. Вера быстро сбросила с себя теплое пальто и подошла к сыну. Мальчик продолжал кричать и захлебываться.

— Конечно, ему что-то больно,— сказала она, вынула его, переложила на свою кровать и стала раскутывать. Петр Александрович подошел к ней. Она бережно развернула одеяльце.

— Что... это?.. что... это?..— вдруг зашептала она, увидев скошенный лоб и яму над левым глазом мальчика, отшатнулась от кровати и вцепилась

в рукав мужа. Расширившиеся от ужаса ее глаза были устремлены в одну точку, руки дрожали мелкой дрожью. Петр Александрович обнял ее и привлек к себе.

— Ты не волнуйся, Веруня. Доктор сказал, что у него рахит. Будем лечить, со временем пройдет.

Она не слышала его слов и что-то беззвучно шептала белыми губами. Потом заломила руки и грохнулась бы на пол, если бы муж не успел подхватить ее и отвести на кресло.

Дрожь ее усиливалась все больше и больше, из сжатого горла вылетал хрип. Она цепко держалась за руки мужа, и он слышал, как неистово колотится ее сердце.

Вдруг она упала к его ногам и забилась с рыданиях.

— Это... я... виновата...— со стоном вырывалось из ее перекошенного рта.

— Никто тут не виноват, Веруня, так уж случилось. Не надо плакать. Будем ухаживать за ним вместе. Ты выносила его нормально, береглась, никаких случайностей не было. Почему он родился рахитичным — никто не знает. Может быть, вина на наших предках, а нам приходится расплачиваться... Возьми себя в руки, милая. Надо ему дать покушать, он, вероятно, проголодался после первого путешествия, вот и кричит, ведь сказать он пока еще не умеет...

Усадив ее опять в кресло, он накапал валерьянки и дал ей выпить, а сам пошел согреть молоко. Когда он вышел из комнаты, она поднялась, шатаясь подошла к кровати, осмотрела голову ребенка, потом упала над ним на колени и стала порывисто и ненасытно целовать его ноги, шепча:

— Прости... прости меня... я все свои силы, все свое здоровье отдам тебе... я буду твоей рабой до самой смерти... я всю жизнь отдам тебе... прости... прости...

— У него и грудь немного выпячена,— услышала вдруг она за спиной голос вошедшего мужа.— «Лучше сказать все сразу»,— подумал он, ставя на столик маленькую кастрюльку с молоком. Она лихорадочно вскочила, развернула ребенка и впилась взглядом в его грудь, остро выступавшую вперед, как киль лодки.

— Ты знаешь пропорцию, сколько нужно молока, воды и сахару? — спросил муж, желая отвлечь ее внимание.

— Напополам и пол-ложечки сахарного песку,— быстро ответила она, поднимаясь.— Дай, я сама сделаю.

Он отошел в сторону. Налив в чайную чашку молока и, разбавив его водой, она подошла к ребенку.

— Лучше бы пузырек с соской завести. Как это мы не догадались!

— Его нужно с чайной ложечки поить,— ответил муж.— Видишь ли, он не умеет сосать.

Она вздрогнула.

— Значит, его начали искусственно кормить не потому, что у меня молоко плохое? — тревожно спросила она.

— По обеим причинам,— смягчил он ответ.

Она села на кровать и взяла ребенка на левую руку.

— Милый мой мальчонушка, перестань, родной, плакать, сейчас мама тебя покормит, потом будешь баиньки,— с глубокой нежностью говорила она, подвигая к себе молоко и беря чайную ложечку.

Мальчик давился молоком, выливал его обратно, кашлял, захлебывался. С ресниц Веры на него срывались крупные слезы.

— Надо вливать чуть-чуть, по капельке, тогда он проглотит.— Доктор предупреждал, что на кормление его будет уходить очень много времени, пока он не научится пить,— сказал Петр Александрович и невольно подумал: «Научится ли?» Он подошел и заглянул сыну в глаза. Бессмысленно устремленные вверх они казались стеклянными. «А может быть, он слепой?» вдруг наполнила холодом мысль. Как бы желая пошутить, Петр Александрович зажег огонь и быстро приблизил его к глазам мальчика, говоря: — Смотри, огонек, огонек,— а сам пристально впился взглядом в его зрачки. Они сократились. Вздохнул свободнее: видит. Вера не обратила внимания на смысл этого маневра.

— Петя, ты будешь спать теперь в другой комнате, а то он измучит тебя своим криком,— сказала Вера.

Он стал горячо возражать. Помирились на том, что двери будут открыты, так что он всегда сможет притти ей на помощь.

6

Летом Петр Александрович отвез жену и сына на курорт. Вернувшись домой в пустую квартиру, он почувствовал себя непривычно свободным и вздохнул с огромным облегчением. Правда, эта свобода была куплена ценой одиночества Веры, лишенной теперь и той небольшой помощи в уходе за ребенком, которую муж оказывал ей в свободное от работы время. Но что же делать? Он отдавал ребенку решительно все, что мог, залез в огромные долги, которых даже не решался подсчитать. Как бы то ни было, эти два-три месяца, которые Вера проведет на курорте, он может спокойно заниматься дома, не вставать ночью чуть ли не каждый час к сыну, не мучиться его уродством. Эх, зачем она не сделала тогда аборта! Но разве можно было ожидать такого несчастия?

Комнаты не были убраны после от'езда. Пустые пакеты, клочки оберточной бумаги, приготовленная, но непонадобившаяся веревка, пузырьки с лекарством, изломанная погремушка, купленая с целью развлечь ребенка, на которую он не обращал никакого внимания... Петр Александрович принялся за уборку, привел в прежний деловой вид свой письменный стол, который служил теперь складочным местом для всевозможных вещей домашнего обихода. Покончив с этим, он разжег примус и поставил чаю. Чем заниматься? Он с удивлением заметил, что уже отвык от возможности пойти в театр или в кино, отправиться к товарищам, поужинать в ресторане с музыкой или просто, развалившись на кровати, почитать что-нибудь. Теперь эта возможность казалась совершенно необычной. Однако воспользоваться

ею не хотелось. Нужно было на свободе обсудить с самим собой создавшееся положение и поискать из него выхода. Ответственным за несчастье с ребенком он считал только себя, ибо настоял на его рождении. В результате вся личная жизнь его и Веры свелась к ухаживанию за ребенком, хождению с ним к бесчисленным докторам, покупке разнообразнейших и одинаково бесполезных лекарств, и если знания их чем-нибудь обогатились, то только сведениями о различных проявлениях рахита, о железах внутренней секреции, об аномалиях черепа и грудной клетки, хотя и в этой области каждая из книг трактовала вопросы чрезвычайно путанно и зачастую противоречила одна другой, а иногда и вовсе заставляла отказаться от надежды понять смысл написанного. В особенности их приводили в отчаяние делаемые предсказания. Выходило так, что описываемая ненормальность вполне излечима при таких-то условиях, «но часто наблюдаются случаи, когда все перечисленные средства остаются недействительными», или что «необходимо оперативное вмешательство, дающее блестящие результаты», и тут же — «но самый характер заболевания или аномалии в большинстве случаев заставляет считать операцию противопоказанной»...

В отношениях Петра Александровича с Верой также появилась глубокая трещина. Он любил ее попрежнему, а заботился о ней еще больше прежнего, но сам оставался неудовлетворенным, так как лишь в очень редкие минуты позволял себе быть с ней близким, учитывая ее измученность от забот о сыне. Но и в моменты близости холодным ужасом наполняла его мысль: а вдруг она опять «понесет», и второй ребенок окажется таким же уродом?.. И он применял отвратительные средства против беременности, унижавшие их близость и мешавшие удовлетворению.

7

Вера возвратилась в Москву в октябре. При первом же взгляде на ребенка Петр Александрович понял, что лечение не принесло ему никакой пользы. Внешне он не изменился. Его глаза показались Петру Александровичу еще более бессмысленными, чем были раньше,— может быть, потому, что он слишком хотел увидеть в них хотя бы отдаленный намек на пробуждающееся сознание. Вера похудела.

Доктор, внимательно осмотрев мальчика, пожевал губами и порекомендовал обратиться к профессору, сознавшись, что не знает дальнейших способов лечения. Сказал несколько слов о редкости этого случая, о возможности сложных методов лечения, но Петр Александрович понял, что эти фразы предназначены для Веры и имеют целью смягчить окончательный приговор. Вера обратила внимание доктора на некоторые факты, которые могут иметь значение: ей пришлось видеть, как сын улыбался, хлопал в ладошки — особенную радость ему доставляло присутствие других детей,— стал лучше сидеть. Доктор выслушал ее с притворным интересом, предупредительно подтвердил важность этих явлений, но вновь повторил свой отказ от дальнейшего лечения и советовал обратиться к профессору-специалисту. Петр

Александрович вышел вместе с доктором на улицу и там поставил ему в упор вопрос о сыне.

— С вами я, конечно, буду вполне откровенен,— ответил доктор.— Ваш сын, повидимому, безнадежен. Советовал бы вам теперь сосредоточить свое внимание на здоровьи жены,— она достигла крайней степени и переутомления. Если ребенок еще жив, то только благодаря ее энергии и самоотвержению.

— Но что же делать? Может быть, его можно поместить в клинику и тем дать отдых жене, хотя и временный?

— Вам следовало бы завести другого ребенка,— тогда заботы вашей жены сосредоточатся на втором, а этот уже не будет пользоваться таким исключительным уходом и вниманием, в результате чего и наступит... естественная развязка.

— А если и другой родится... таким же? — сквозь зубы спросил Петр Александрович.

— Это невероятно. Вы оба молоды и здоровы. Мне кажется, что ваш сын появился на свет с таким ненормальным строением головы и грудной клетки потому, что во время беременности вашей жены — в самом ее начале — что-то произошло. Вы не помните, может быть, она сильно ушибла живот, упала, пережила какое-нибудь острое душевное волнение?

— Нет. Она мне ничего не говорила.

— Не спрашивайте ее,— это вызовет лишнюю тревогу и беспокойство, от которых ее нужно беречь. Может быть, я ошибаюсь, конечно,— тут мы находимся в такой темной области... Во всяком случае, за здоровье второго ребенка вам опасаться нечего, даже при теперешнем состоянии вашей жены. Подумайте о моих словах.

— А ваш совет обратиться к профессору вы дали только для успокоения или серьезно?

— Конечно, серьезно. Попытайтесь.

Едва Петр Александрович вошел обратно в квартиру, как Вера бросилась к нему:

— Ты говорил с доктором? Что он сказал?

— Ничего другого, как то, что ты слышала. Он больше озабочен твоим здоровьем и просил меня потребовать, чтобы ты меньше изводилась с мальчиком и отдохнула.

— Ах, неужели ты не понимаешь, что без забот о нем я изведусь еще больше? Я поклялась выходить его, чего бы это мне ни стоило. Твой доктор ничего не понимает. Ребенок начал поправляться, а он отказывается его лечить! Справлюсь сама и ни к каким профессорам его не понесу.

— А в результате и ты свалишься!

— Я свалюсь, если перестану ухаживать за мальчиком.

8

На рождестве неожиданно приехал из Туркестана Миша, привез целый ящик фруктов и внес в жизнь Петра Александровича и Веры свежую, давно

забытую струю. Его рассказы о быте далекого Востока были так интересны, что Вера пришла в комнату мужа, оставив широко открытой дверь, чтобы услышать ребенка, если он проснется. От Миши веяло кипучим воодушевлением борьбы с вековыми предрассудками Востока и с дикостью населения. Так странно было слышать на двенадцатом году советской власти о существующей еще продаже девушек в жены, о полном рабстве женщин, об убийствах тех из них, которые начали ходить с открытым лицом, о жестоком противодействии открытию школ для девочек... От рассказов Миши пахло жарким солнцем и экзотикой юга, он был полон под'емом первых лет революции, который после ликвидации фронтов потерял свою яркость, разменявшись в будничной работе по восстановлению разрушенного хозяйства.

Петр Александрович, слушая Мишу, чувствовал, что молодеет, что в нем просыпается былой энтузиазм, требующий полного самозабвения, порыва, лишений во имя общего дела.

— Ну, а из старых товарищей ты кого встречал?

— Видел Курнашева,— помнишь, комиссаром полка был? Он в Ростове, помощником директора табачной фабрики, что ли. Да, встретил я здесь в Москве, знаешь кого? Володьку Носова!

— Да ну? Где он?

— В ВСНХ. Недавно сюда переведен. Хотел тебя разыскать и повидаться. Я ему сказал, что ты в штабе,— жди телефонного звонка на этих же днях.

— Ах ты, чорт возьми! Володька нашелся! Сколько мы с ним вместе пережили! Помнишь, под Харьковом, а потом в Донбассе?

— Как же не помнить! Этого, брат, не забудешь. Спаялись мы тогда на всю жизнь.

Из соседней комнаты послышался нудный протяжный стон. Вера вскочила и бросилась туда. Дверь осталась открытой.

— Что это? — тихо спросил Миша.

— Сын. Он не плачет, как другие дети, а ноет или дико кричит.

— А как он, не поправляется?

Петр Александрович махнул рукой.

— Все попрежнему. С той разницей, что у меня и надежда испарилась. Расскажи еще про Володьку, как он живет?

— Женился было. Помнишь, еще в Харькове — промежду боев — он за Катей Прокофьевой приударял. Так вот, по окончании войны поехал туда, разыскал ее и женился. Но она недавно умерла. Неудачный аборт.

Петр Александрович ударил кулаком по столу.

— Чорт его побери, этот проклятый вопрос, сколько людей из-за него гибнет! Я очень хорошо понимаю, почему разрешили делать аборты, но ведь мы прем против природы, а она не оставляет без оплаты никакого противодействия ее законам. Подумай, сколько гибнет, может быть, величайших талантов, гениальных писателей, поэтов, композиторов, скульпторов, изобретателей, словом, ценнейших работников! Ведь свобода брака предоставляет возможность самого широкого полового подбора, не стесненного

никакими привходящими обстоятельствами, сходятся люди действительно любящие друг друга, сильные, крепкие, молодые. Именно от них должны родиться исключительные дети, и чуть не все они гибнут в первые недели после своего зачатия! Как хочешь, а это неправильно.

— Лекцию твою я слушаю с интересом, но не совсем с ней согласен. Пережитые во время революции лишения отразились на здоровье нашей молодежи, и твои радужные перспективы насчет имеющих родиться талантов вряд ли целиком правильны.

— А откуда ты взял, что гениальные люди должны иметь здоровых родителей? Прочитай-ка на этот счет биографии великих людей, вошедших в историю,— ты увидишь там, что сплошь и рядом талантливейший человек родился у более чем посредственных отца и матери. Эти твои возражения не имеют под собой почвы. Ведь статистика говорит, что незаконные — по старому названию — дети в среднем всегда превышали своими способностями законных, потому что родились от об'ятий по страсти, настолько большой, что она ломала перегородки всех условностей, а не по супружеской обязанности, которая скорее подходит к скучному выполнению естественных потребностей, чем к любви...

— Да, это вопрос серьезный,— сказал Миша.— А еще хуже бывает, когда женщина сделает тайком попытку к аборту, но не доведет его до конца, а в результате родится ребенок изуродованный или идиот.

В соседней комнате что-то грохнуло. Петр Александрович и Миша бросились туда. Вера лежала навзничь на полу возле кроватки сына...

— Не надо было говорить про уродство и идиотизм,— сказал Петр Александрович Мише.— Она так болезненно относится ко всему, что напоминает ей наше несчастье...

9

Вера, наконец, не выдержала и свалилась. Петр Александрович отвез ее в больницу. Она очень беспокоилась о ребенке, и Петр Александрович, помимо найма няни, был вынужден взять отпуск на неделю и обещать ей все время безотлучно находиться при сыне и спать возле его кроватки.

Вернувшись из больницы, он стал перебирать и приводить в порядок домашние вещи. Звонок. Прачка принесла белье. Уплатив ей, Петр Александрович открыл комод, увидел и там полный хаос и решил уложить все, как следует. Вынув из ящиков белье и перебирая его, он нашел исписанный листок. Рука Веры. Пробежав первые строки, он побледнел, отошел от комода и сел за стол.

«Мне хочется, чтобы меня поняли и не истолковали ложно моего поступка. Когда приехал Михаил Степанович и провел у нас вечер, я увидела, как жадно рвется Петр к другой жизни, не той, которая у нас, а полной впечатлений и борьбы. Я и сын висим у него на шее тяжелым камнем. И я решила, если только все средства к излечению мальчика окажутся бесполезными, освободить Петра от этого бремени. Я знаю, что если бы я меньше ухаживала за ребенком, его уже давно не было бы на свете. Но я не

могу. Это мой долг, так как я во всем виновата. Остается одно: уйти вместе с мальчиком. Без меня он все равно не сможет жить. Поймите, что мой поступок обдуман и взвешен до конца. Пусть это будет...»

Записка не была дописана.

10

«Милая, не тревожься, я с мальчиком уезжаю на несколько дней в Ленинград. Я узнал, что там в Институте мозга знаменитого профессора Бехтерева принимают детей. Покажу его, узнаю условия, и если они отвечают тем строгим требованиям ухода и лечения, которые ты считаешь необходимыми, оставлю его. Если захочешь, устрою и тебе жилье в Ленинграде на время пребывания ребенка в клинике, чтобы ты была совершенно спокойна. Няню возьму с собой. Выздоравливай скорее и не волнуйся; поездка никакого вреда мальчику не принесет. Как досадно, что мы до сих пор не использовали этого пути».

Эту записку Петр Александрович передал Вере в четыре часа, а в половине десятого в тот же день уехал в Ленинград.

Огромный дворец бывшего великого князя Николая Николаевича на набережной Невы передан профессору Бехтереву и превращен им в институт для изучения мозга, его деятельности, работы подсознания, его болезней и аномалий. Сюда по широкой лестнице из белого мрамора Петр Александрович принес своего сына для получения окончательного приговора.

Мальчика осматривали больше двух часов. Выслушивали, выстукивали, измеряли, заставляли реагировать на звуки и на свет, старались рассмешить, привлекали внимание к блестящим вещам, изучали хватательные движения его ручонок, принесли игрушки и забавляли его, причем все время делали отметки на нескольких листах, из которых каждый был мелко разграфлен и содержал десятки печатных вопросов.

После заполнения всех листов совещались, причем сыпали ворохом латинских названий и терминов, которых Петр Александрович никогда не слыхивал, однако, приговор «неизлечим» был произнесен единогласно.

— Что же с ним будет? — вырвалось с отчаянием у отца.

— По мере роста он постепенно будет усваивать и развивать способность к движениям. Может быть, даже научится ходить. Сознание в нем пробудиться не может. Чем дальше, тем больше будет требовать тщательного наблюдения, ибо может проглотить гвозди, стекла и все, что попадется под руку. Вам лучше его куда-нибудь отдать.

— Я хотел просить вас принять его в Институт.

— Мы принимаем детей только в возрасте до одного года. Есть здесь еще одна клиника, но туда берут детей, могущих самообслуживаться.

— Значит, человеком он никогда не будет?

— Нет. Кроме названия.

Петр Александрович отвел одного из ассистентов в сторону.

— Скажите, а вы могли бы попробовать сделать ему операцию? Я слышал, что расширяют швы черепа или вырезают часть его, чтобы дать воз-

можность мозгу развиваться свободнее. Я заранее согласен на самый рискованный опыт. Пусть будет только один шанс на успех из ста...

— Такие операции иногда практикуются, но без хорошего результата. Кроме того, ваш сын не представляет пригодного для этой цели об'екта.

— Значит, вы и в этом отказываете?

Ассистент развел руками.

— Ничего не поделаешь!

— Тогда... я прошу вас... усыпите его...

— То-есть как? — не понял ассистент.

— Совсем... Навсегда...— шопотом произнес Петр Александрович.

— Этого мы не можем. Не имеем права. Нас привлекут за убийство.

— Но ведь вы сами же говорите, что он останется безнадежным идиотом на всю жизнь, что представляет собою опасность, требует постоянного наблюдения, значит, отрывает от полезной работы других людей и ничего, кроме вреда, для общества представлять собою никогда не будет!

— Все это верно. Вопрос об уничтожении подобных индивидуумов поднимался неоднократно в научных кругах Западной Европы, но не выходил из рамок теоретического обсуждения и огромным большинством решался отрицательно.

— Что же мне делать? — прошептал Петр Александрович.

— Единственное, что я могу вам посоветовать,— это поместить его в специальный для таких детей дом № 54, находящийся в Удельной. Там за ним будет необходимый уход.

— Да какой же смысл тратить на него заботы и деньги?

— Больше ничего вам сказать не могу.

11

Петр Александрович привез сына в номер гостиницы, сдал на попечение няни, а сам решил с'ездить в Удельную и посмотреть, что́ представляет собой детский дом, о котором говорил ассистент.

На Финляндский вокзал он приехал, не справившись о времени отхода поезда, но случайно попал как раз во́-время. Через полчаса он уже подходил к детскому дому, наружность которого ничего не говорила об его обитателях. Он справился, где можно видеть заведывающего или главного врача. Его попросили подождать и указали комнату.

Там находилась уже другая посетительница, молодая женщина с перевязанной рукой. Но взгляд Петра Александровича приковался не к ней, а к сидевшему возле нее на полу мальчику, вертевшему беспрерывно головой и раскачивавшемуся взад и вперед туловищем. Петр Александрович узнал эти движения и отшатнулся, когда на него глянули бессмысленные глаза, жившие, казалось, отдельно от тупого лица с широким носом и раскрытым ртом. Петр Александрович обошел мальчика и сел на стул с другой стороны. Женщина заговорила первая.

— Повидать кого-нибудь из своих пришли, дозвольте спросить?

— Нет. Просто хочу узнать, какие здесь порядки, как содержат детей и какие условия помещения их сюда.

— Пускай будут, какие угодно, а я своего привела сдавать. Сил моих больше нету с ним. Сами видите, какой. Бьет и колотит все, седьмой год пошел ему, а на пятом только ходить начал, говорить не умеет, только мычит, а злость у него — прямо не приведи господи. Чуть что не по нем — бросается на всех, кусается, швыряется чем попало, ножом вот в меня пырнул, всю руку располосовал. А то в припадке зайдется, крючит и ломает его всего, на губах пена... Хоть бы прибрал его господь, день и ночь молюсь, только не слышит он, батюшка, молитву мою...

Петр Александрович вскочил и почти выбежал из комнаты.

Он не помнил, как пришел на станцию, взял билет и приехал обратно в Ленинград. Мысли его путались и скользили мимо сознания. В вагоне, а потом в трамвае он сидел с пересохшим горлом, ничего не видя кругом, и шептал:

— Он будет таким же, он будет таким же...

12

Ночью с мальчиком случился припадок. Глаза его скосились и закатились под лоб, тельце изогнулось в судорогах и сотрясалось дрожью, из перекошенного рта с трудом вырывался вой. Петр Александрович возился с ним больше часа, пока приступ не прошел. Он держал его на коленях, чувствовал нежную теплоту его ручонок, гладил потные, вьющиеся волосики. Это — его сын, рожденный от Веры, бессильный, ничего непонимающий, зависящий навсегда и целиком от воли других...

Мальчик заснул. Петр Александрович бережно положил его на кровать, разделся и лег рядом с ним.

Он не помнил, спал ли ночью, но когда открыл глаза, уже наступило утро. Ребенок еще не проснулся. Бледная синева темными кругами легла под его глазами с длинными, стрельчатыми ресницами, во рту виднелся ряд маленьких острых зубов хищника. Петр Александрович вздрогнул. Перед ним с яркой отчетливостью встал вывод, к которому он пришел. Когда? Вероятно, ночью. Неужели он думал во сне? Цепь мыслей вставала в памяти обрывками, но вывод был законченным и неопровержимым. Записка Веры... Неизлечимость ребенка несомненна. Значит, она приведет в исполнение свое решение? Вряд ли. Нехватит силы. Но можно ли надеяться только на это? Жить дальше в вечном страхе потерять ее... Если бы мальчик умер сам во время припадка! Ждать этого, желать? Лицемерие! Надо кончить, спасти и Веру, и себя и сына от бесконечных страданий. Доктора отказываются усыпить его, не могут взять на себя ответственность. Но он, отец, родивший его, отдавший ему за три года столько сил и забот, не останавливавшийся ни перед чем, чтобы вылечить или хотя бы только облегчить его болезнь, испробовавший все пути для этого,— он возьмет теперь на себя всю тяжесть конца. Будут судить? Пусть. Он вызовет одного единственного свидетеля,— того шестилетнего мальчика, которого он видел в приемной комнате дет-

ского дома в Удельной. Больше никого. Пусть посмотрят на него и потом пишут приговор.

Мысли неслись, и Петр Александрович с удивлением следил за их логичностью и стройностью, будто они были чужими. Когда он все это передумал?

Еще раз пристально посмотрел на сына. Позвал к нему няню, а сам вышел на улицу.

Вернулся он уже после полудня с несколькими свертками. Отослал няню обедать. Сын сидел на кровати и рассматривал спичечную коробку. Петр Александрович развернул покупки, вынул из длинной коробки разноцветные кубики и положил их на колени мальчику. Тот схватил самый яркий и потащил в рот. Может быть, краска ядовита? Все равно.

Из другого свертка достал пестро одетого паяца, хлопавшего в тарелки. При виде его мальчик обрадовался, как умел. Особенно его привлекли движения паяца, и он стал сам хлопать в ладоши, бросив кубик.

— Поиграй, маленький, поиграй,— шептал Петр Александрович, чувствуя подступающий к горлу клубок.

Вынул из пакета палочку шоколада, оборвал обертку и вложил в ручонку сына, направив ее в рот. Мальчик стал было сопротивляться, но сейчас же начал сосать шоколад, обмазывая им себе губы и щеки.

— Кушай, родной мой, хороший...— шептал Петр Александрович.

На лице мальчика отразилось что-то вроде улыбки. Отец отвернулся, встал и отошел к окну. Потом вынул из чемодана револьвер. Надо застрелить, чтобы поступок был ясен и очевиден. Если прибегнуть к яду, могут подумать, что хотел скрыть. Осмотрел барабан. В отверстия его глядели тупые шляпки патронов. Все семь штук. Этот наган ему подарили товарищи, прикрепив к рукоятке серебряную дощечку с надписью.

Подошел к кровати. Твердой рукой поднял револьвер к голове ребенка. Мальчик потянулся к матовому блеску вороненой стали и захлопал в ладоши от удовольствия.

Револьвер с глухим стуком упал на пол. Петр Александрович отошел, опустился на диван и закрыл лицо руками.

Пришла няня. Он не впустил ее в комнату и освободил до вечера. Умылся. Закурил папиросу. Потом опять подошел к сыну и начал с ним играть.

Через час мальчик заснул, держа в руках паяца. Петр Александрович долго сидел и пристально всматривался в его лицо. Потом встал, поднял револьвер, еще раз проверил его, приставил дуло к виску ребенка и спустил курок.

Выстрела он не слышал. Мальчик не пошевельнулся. Искоса взглянув на него, отец увидел на виске маленькую черную, обожженную по краям дырочку.

Разрядил револьвер, выбросил пустую гильзу, спрятал его в карман. Потом вышел и запер комнату на ключ. Спустился вниз, подошел к постовому милиционеру и молча протянул ему наган.

Анна Калымова

(Роман)

Александр Поповский

(Продолжение)

6

Аварию в машинном отделении ожидали давно. Трещина в главном вале была своевременно замечена, механик посоветовался с инженером соседней фабрики и пришел к заключению, что из'ян незначителен, но неисправим. На всякий случай следовало приготовить запасный вал. Прошло два года, о дизеле забыли и спохватились, когда маховое колесо, сделав пробоину в стене машинного отделения, уперлось в дверь.

Высокий, узкогрудый механик с полными пунцовыми губами придвинул Анне стул и принялся подробно говорить о свойствах и капризах дизеля, о назначении зубчатой передачи и клапанов.

— Вы очень длинно рассказываете,— перебила она его,— как обстоит с конусами и цилиндром?

О, он так рад ее знакомству с устройством двигателя, это так важно для директора, так необходимо. Конуса, конечно, немного обточились, цилиндр в порядке, но вообще нужно сказать, что дизель обладает редкими особенностями. Его слова, возможно, очень удивят ее, но это больше не секрет, что их дизель бессмертен... Да, да, бессмертен.

— Значит, стоит заказывать вал?

Боже, что за вопрос, неужели он неясно выразился, двигатель стоит двадцати новых... Да что говорить, было бы преступлением рядом с этим дизелем поставить дизель последнего выпуска. Разве их умеют теперь делать? Старые мастера знали тайну бессмертия...

— Отлично, пустите динамо, я сегодня же выеду в Сормово.

Анна записала размер вала и на следующий день была уже на заводе. Три дня спустя она с вокзала прямо под'ехала к конторе, а через семь дней стальная махина в четыреста пудов прибыла на станцию.

Прошло еще три дня, а со станции приходили все менее и менее отрадные вести. В первый день возчикам удалось продвинуться на пять километров, затем пропали вдруг сани, оставленные ночью на шоссе, и пришлось делать другие. В дальнейшем произошло нечто непонятное: возчики застряли

на месте. По одним сведениям, вина падала на плотников, сделавших покатые сани, отчего вал на каждом ухабе скатывался в снег, по другим — виноват был уполномоченный, взявшийся не за свое дело. На четвертый день к Анне явился крестный Телебукина Федька, с которого она месяц назад сняла выговор за прогул, и шопотом сказал ей:

— Сами бы Анна Сергеевна, на станцию с'ездили... Ей-богу, поезжайте, кто их знает чертей, когда вал привезут.

Видно было, что он хочет что-то сообщить, но стесняется окружающих. Позже, когда они остались вдвоем, парень перегнулся через стол и быстро-быстро произнес:

— Все это от Якова Степановича, как бог свят от него... Поезжайте, враз привезете.

— При чем здесь Телебукин? — спросила она.

Федька сверкнул глазами и упрямо сказал:

— Говорю, значит знаю.

Чтобы подзадорить его, Анна усмехнулась:

— Никогда не поверю, это тебе наговорили.

— Да нет же,— загорячился он,— ей-богу, нет!

— Я не поеду,— с расчетливой холодностью сказала она, но, увидев, что парень направляется к дверям, вскользь добавила,— если ты твердо знаешь, почему бы толком не об'яснить...

— Чего вы меня неволите,— жалобно сказал он,— не могу я... Да и всего не перескажешь. Придется, возьму да выложу. Поезжайте!

После описанного разговора в кабинете директора состоялось производственное совещание. Анна подробно осветила положение с доставкой вала, не утаила свои подозрения, что уполномоченный артели намеренно усложнил перевозку, употребив плохие сани. Она просила всех высказаться: какими средствами целесообразней доставить вал на фабрику? Первым попросил слово Телебукин. Преследовал ли он этим какую-нибудь цель или искал случая доказать преданность интересам производства — трудно сказать, но пространная речь его представляла собой редкий образец путаницы. Вал, по его мнению, нужно, конечно, доставить, и поскорей, так как иначе пострадает работа в ткацком отделении, но если перевозка все же затянется — особого убытка не будет. Что касается средств доставки, то нет ничего лучшего саней, но так как установлена их непригодность — не попробовать ли для этой цели телеги? Впрочем, он не настаивает на своем предложении. Заведующий тарифно-нормировочным бюро согласился с предшествующим оратором в общем и хотел только возразить ему в частности, но так как возражения эти несущественны, не лучше ли предоставить высказаться знатокам этого дела?

Мастер прядильного цеха долго извинялся, что берет на себя смелость говорить о том, что ему недостаточно известно, но долг обязывает его заметить, что в предложениях Телебукина имеются преувеличения. Телега в данном случае, конечно, не при чем. Остальные доводы подмастерья также неосновательны. Ни телега, ни сани делу не помогут. Вал нужно катить по

шоссе, но так как он коленчатый — предложение это, конечно, отпадает. Других способов перевозки мастер предложить не может.

Последним говорил механик. По его мнению, все говорили чепуху. Это естественно, так как большинство выступавших — специалисты других областей. Телега по снегу — это детская выдумка. Катить вал — преступление, так как малейшая ссадина может отразиться на работе дизеля. Правда, трудно допустить, чтобы укатанный снег мог повредить стальному валу, но всякое бывает. Лучшее средство перевозки, конечно, сани, но если опыт доказал их непригодность для этой цели, то он затрудняется что-либо предложить. Против телеги же следует безусловно протестовать.

Этим была исчерпана повестка дня. Когда Анна осталась одна в накуренном кабинете, ей было уже совершенно ясно, что́ следует предпринять, чтобы доставить вал на фабрику.

Она приказала запрячь и везти себя к валу. По дороге Анна не проронила ни слова, настойчиво что-то обдумывая. До вечера они успели побывать в нескольких селах; везде она советовалась с крестьянами, а к вечеру приказала вернуться в деревню.

Едва из-за леса глянуло солнце, Анна была уже на ногах. На лице ее не было следа сонливости, но зрачки казались шире обычного, а под глазами легли тени. Она разбудила возницу и приказала ему ехать за Кандауровым, а сама на крестьянской подводе отправилась в соседнее село. У церковной ограды она слезла и вошла в крохотную избушку сторожа. Старик ответил на поклон, придвинул ей стул и вопросительно уставился на нее.

— Я по поводу вчерашнего разговора на сходе... Помните, вы советовали вал волочить?..

— Советовал, только не весь, а половину. Частью на сосне утвердить, а частью чтоб по снегу тянулся.

— Вот я и думала, как же его к сосне привязать?

Старик усмехнулся, потер руки и сказал:

— Плевое дело. Посреди бревна гнездо вырубить, вал в него и ляжет. Не скатится, а чтоб дорогой не соскочил — привязать за колено. Выйдет, как пушка на лафете: сосна — лафет, а вал — пушка.

К полудню Анна вернулась домой в деревню и застала там Кандаурова. Мастер стоял посреди избы и удивленно рассматривал убогую обстановку. Когда Анна вошла, он пожал плечами и хотел, видимо, заговорить о квартире, но, увидев ее истомленное, осунувшееся лицо, только крепко пожал протянутую руку.

Она сбросила доху, сняла шляпу и пригласила его сесть.

— Вы очень изменились за эти два дня,— участливо произнес он, с тревогой разглядывая ее лицо.

— Разве? Как жаль, здесь зеркала нет, не увидишь.

— Вы, должно быть, мало спали?

Анна улыбнулась и спросила, что нового на фабрике.

— Вам следует подумать о себе,— не слушал он ее,— разве так можно? На кого вы похожи?

— Разве не на себя? — рассмеялась она.— Спасибо за внимание.

Она хотела коснуться его руки, чтобы выразить ему благодарность за внимание к ней, но он быстро отдернул руку, и лицо его стало вдруг жестким. В дверях стояла хозяйка.

— Зачем я вам здесь понадобился?

Какой неприятный голос, глаза снова устремлены вниз, а руки играют бахромой скатерти.

— Я решила сегодня же доставить вал на фабрику,— поспешно сказала Анна, словно опасаясь невольно произнести что-нибудь другое.

Она рассказала ему обо всех неудачах. Сообщила содержание случайного разговора с церковным сторожем и призналась, что всю ночь продумала над советом старика. Теперь необходимо срубить сосну, сделать все по ее указанию, чтобы к ночи вернуться на фабрику. Крестьяне помогут им, хотя они не одобряют ее плана перевозки вала.

— Может быть, что-нибудь покушаете? — спросила хозяйка,— вы ничего не ели сегодня.

— Нет, нет!..

Анна ждет, чтобы он заговорил, проявил какое-нибудь участие, предложил ей, наконец, поесть. Неужели все сказано было из вежливости?

— Почему вы отдернули руку,— строго спросила она, когда хозяйка вышла.— Испугались, что жене донесут?

— Можете, Анна Сергеевна, как угодно обо мне думать, прошу вас только не оскорблять меня. Я никогда ничего дурного вам не делал.

Он по-особому произнес слово «никогда», или это ей показалось?

Оба замолчали.

— Вы очень жестоко обращаетесь со мной, и у меня нет другого средства, как отвечать вам тем же. Я ничего не требую от вас, кроме добрых, дружеских чувств, а вы всегда ищете случая меня уязвить. Что я вам сделала?

Продолжая теребить бахрому скатерти, он ответил:

— Вы ошибаетесь. Я хорошо отношусь к вам и никогда не позволю кому-либо дурно говорить о вас в моем присутствии.

Она печально усмехнулась.

— Спасибо, конечно, и на том... Вокруг меня столько злобы и темноты, что следует дорожить и этим.

— Я сказал вам правду.

— Мне кажется,— не слушая его, продолжала она,— что все готовы здесь загрызть меня. Об этом страшно подумать, но ведь от правды не уйдешь... Подумайте только — быть в таком положении, и без единого друга... Ни одной близкой души... Вы понимаете?

Анна говорила горячо и быстро.

— Мы разные люди,— все еще не поднимая головы, возразил он.— Вы вот сказали все, что вас мучает, и вам станет легче, а я, должно быть, не скоро еще скажу; судите сами, кому из нас тяжелей! Вы слишком снисходительны к себе и строги к другим, подумайте об этом...

— Может быть, вы вернетесь на фабрику и отдохнете? — неожиданно спросил Кандауров.— Я здесь все выполню, как вы распорядитесь...

— Да,— вспомнила она вдруг,— как вы находите Телебукина? Его действительно трудно было бы заменить другим?

Он подумал и ответил:

— Прошу вас об этом никогда меня не спрашивать. Лучше будет, если вы этот вопрос сами разрешите... Я не хотел бы касаться Телебукина.

— А ведь плохо, что прядильная не поспевает за ткацкой, нужно покончить с перебоями... Вы, кажется, то же самое говорили в первый день моего приезда?

— Почему вы вдруг заговорили об этом?

Она смутилась и неуверенно ответила:

— Так, случайно вспомнила...

К вечеру на шоссе доставили сосновый чурак в полтора метра длины с выдолбленным посредине гнездом. Вал привязали так, как советовал церковный сторож, запрягли лошадей и повезли. Прежде чем вторая смена успела кончить работу, упряжка из семи пар лошадей, волоча за собой четырехсотпудовую махину, в'ехала в фабричный двор. Позади, на санях, покачиваясь от усталости, ехала Анна.

7

Когда секретарь ячейки Алексей Хоботов вернулся с уездной партийной конференции, его ждали необыкновенные новости. Авария в машинном отделении была квалифицирована как пробное выступление организации вредителей, производственное совещание окрестили «открытым саботажем спецов», а недовольство отдельных рабочих об'яснялось как незыблемое свидетельство предстоящей стачки. Хоботову услужливо донесли, что отношения между директором и Кандауровым зашли так далеко, что противоречат добрым нравам, и, наконец, ему показали длинный перечень увольнений, перемещений, выговоров и преданий суду. Из разговора с Петром секретарь понял, что тот не мало смущен случившимся и не намерен защищать сестру.

Терпение Хоботова переполнилось сообщением о грубом вмешательстве Анны в дела партии. В действительности дело обстояло вот как. Член бюро партийной ячейки, замещавший секретаря в его отсутствии, обратился на митинге к рабочим с призывом жертвовать в пользу погорельцев. Следуя установленному правилу, он приказал запереть песле гудка ворота и задержать таким образом смену у конторы. Недовольные ткачи стучали в ворота, шумели, а оратор тем временем излагал причину пожара, делал красочные экскурсы в области пожарной профилактики и с дрожью в голосе описывал состояние погорельцев. Голос члена бюро гремел, вытянутая рука угрожающе повисла в воздухе, и казалось, потоку слов не будет конца.

— Вы жертвовали для лодзинских, английских, германских и других пролетариев мира, неужели вы остановитесь пред новыми трудностями? Не

забудьте, что такое же несчастье может постигнуть и вас. Никто не знает, что будет с ним завтра...

— Поживем, увидим, погорим, так погорим,— скептически отвечали ткачи.

— Пред лицом мирового пролетариата,— продолжал оратор,— покажем свою солидарность с погорельцами. Не дадим умереть нашим братьям...

— И жертвуй себе на здоровье,— искренно посоветовала ему долговязая раскладочница.

— Я предлагаю отчислить один процент,— закончил член бюро.— Возражений нет? Кто за предложение?

Возражали, конечно, все, но оратор, упоенный собственным голосом, принял шум недовольства за одобрение и первый поднял руку. Затем случилось нечто небывалое на фабрике: ни одна рука не поднялась.

— Товарищи,— завопил ошеломленный оратор,— что вы делаете, ведь на вас смотрит вся Европа...

Упрямство не понимавших столь простой истории глубоко взволновало его, и когда вторичное голосование дало те же результаты, он озлобленно крикнул:

— Добром не даете, на себя пеняйте. Без вас отчислим, а там жалуйтесь...

Ткачи зашумели, полетели угрозы, брань. Тогда на возвышении появилась Анна. Во время митинга ее видели у открытого окна, затем она вдруг исчезла и вскоре появилась у двери. Когда все утихли, послышалось ее короткое заявление:

— Без вашего разрешения копейки отчислить не дам. Открывайте ворота!

Этот поступок секретарь квалифицировал как «дискредитирование коммунистической ячейки в глазах беспартийных масс», как «подрыв кампании помощи погорельцам» и «нарушение партийной дисциплины и этики».

Алексею Хоботову было всего лишь двадцать три года; он недавно был избран секретарем, недавно женился и совсем недавно стал отцом. Эти три события необычайно повлияли на него; он перестал думать о своей внешности, продолжал носить черную сатиновую рубашку, картуз с поблекшим козырьком и стоптанные сапоги с искривленными каблуками, невзирая на их изношенность. Движения его сделались торопливыми, речь короткой, торжественной, с обилием мало понятных слов.

Из всего происшедшего Хоботов сделал заключение, что произошла «неувязка», которую нужно «срочно изжить», прежде чем слухи дойдут до уездного партийного комитета, губернского, центрального и так далее.

— Товарищ Калымова,— начал он, усаживаясь на табурете,— как секретарь партячейки я обязан призвать вас к порядку.

Он смотрел ей прямо в глаза, говорил полушопотом, с подчеркнутой строгостью. Она не должна думать, что это прихоть с его стороны, нет, тысячу раз нет, лучше договориться, чтобы потом не вышло неприятности.

В самом деле, недоставало еще, чтобы о них заговорили в укоме, губкоме, цека! Возможно, там уже знают, и не сегодня-завтра нагрянет комиссия. Разве ей станет легче, если его «притянут» за то, что он не досмотрел, не принял мер и не «изжил болезненных явлений»? В сущности, все еще исправимо, нужно «подтянуться», «изменить тактику» и «взять правильную большевистскую линию».

Когда у секретаря родился ребенок, он на следующий же день заказал для новорожденного туфельки и не поверил сапожнику, что дети в таком возрасте обуви не носят. Анна вспомнила об этом и улыбнулась. Хоботов заметил ее усмешку и продолжал с еще бо́льшим под'емом. Она может как угодно относиться к его словам, но нельзя забывать, что он — секретарь коммунистической ячейки, которому все коммунисты подчинены «по линии партийного руководства». Наконец, и его терпению может притти конец, не век же выносить ее капризы. Это даже не капризы, а скорее антипартийный «уклон».

— Вы кончили? — неожиданно спросила его Анна.

— Да. Я требую об'яснения по всем пунктам.

— С этого и следовало начинать. Впредь советую вам раньше выслушать об'яснения, а потом призывать к порядку.

— Вы не учли местных условий,— горячился секретарь,— и «взяли резкий курс на дисциплину».

Он по-взрослому сдвинул брови, но лицо его стало не сердитым, а капризным.

Анне нравился этот мальчик с широким добродушным лицом и ярким румянцем на щеках. О нем рассказывали, что, будучи комсомольцем, он собрал ткачей и долго увещевал их отправиться в лес за топливом для паровой машины. Дров на дворе оставалось только на несколько дней, подвоза угля не предвиделось, и остановка фабрики была неизбежна. Убедившись в бесплодности своих уговоров, комсомолец неожиданно выхватил наган и заявил, что тут же убьет себя, если рабочие не пойдут с ним в лес. На собрании были женщины и дети, поднялся переполох, ткачихи требовали, чтобы мужчины отняли у него оружие. Тогда он приставил револьвер к виску и повторил угрозу. Послышались истерические выкрики, дети заплакали, ясно было, что парень не шутит. В тот же день около тысячи рабочих на два дня отправились за топливом.

Вечером и в праздничные дни его можно было увидеть с ребенком на руках. Он приносил его с собой в клуб, а однажды даже явился с ним на пленум фабричного комитета. Заметив смущенье и улыбки собравшихся, секретарь попросил слово для внеочередного заявления и долго говорил о новом быте и взаимной помощи супругов. Все знали, что он фразами о новом быте хочет скрыть истинную причину — свою любовь к семье, и никто не стал ему возражать. Тогда он внес на повестку дня вопрос о взаимоотношениях между рабочими и работницами, и хотя предложение это было крайне некстати, настоял на его обсуждении.

Водилась за ним и другая слабость: он не терпел покровительственного тона и требовал, чтобы все считали его взрослым. Справедливость требует отметить, что ни усы, ни золотистый пушок на подбородке этому не содействовали, наоборот, казалось, он с годами молодеет. Анна знала эту слабость секретаря и охотно делала вид, что не замечает его неопытности и юности.

— Итак, чего вы требуете от меня? — спросила она.

Разве он не высказал ей всего, что хотел? Отлично, он изложит свои требования по пунктам:

— Вы не должны озлоблять рабочих излишними строгостями... Нужно учесть условия и «переменить курс в области дисциплины»... Не снижать ее, а смягчать... Это не значит распускать ткачей, но... нужно не забывать...

Так и следовало ожидать: в пылу речи он изложил все подробно и ясно, а теперь у него выходит не совсем гладко... Почему она не слушала его раньше? Это озлобило его, и он резко сказал:

— Вы сами понимаете, чтó надо делать, и вам незачем меня переспрашивать.

— Вы правы, товарищ Хоботов, я постараюсь.

Секретарь взглянул на нее, и ему показалось, что в глазах ее мелькает насмешка.

— Шутки теперь не к месту,— чтобы испытать ее, строго произнес он,— вопрос требует «пристального внимания».

— Я с вами согласна,— совершенно серьезно заявила она, и в глазах ее снова заискрилась ирония.

Что — она шутит, или ему только кажется?

— Предупреждаю вас, мне придется прибегнуть к другим мерам,— все еще неуверенный в своем успехе, продолжал он.

— Знаю.

— По-моему, лучше договориться.

— Я вас не понимаю,— спокойно сказала Анна,— ведь я обещала все исполнить по-вашему.

Ему показалось, что она сделала нажим на слова «по-вашему», и он смущенно улыбнулся.

— Мне кажется, что вы все еще шутите,— неожиданно выдал себя секретарь.

— Нет, нет, ошибаетесь. Я извинилась и обещаю исправиться.

— Значит, все улажено?

— Да, да, понятно...

Прощаясь, она его спросила:

— К какому сроку, примерно, предлагаете вы мне устранить недоразумения?

Он некоторое время смотрел на нее в упор и, сбитый с толку, буркнул:

— Чем раньше, тем лучше.

Была середина апреля. Волга все еще лежала под ледяным накатом, скованная стужей, но морозы слабели, на пригорках чернели уже проталины, а в уличных лужах все чаще отражалось чистое небо. К вечеру снег промерзал, земля покрывалась хрупким стеклом, но с проблесками дня налетал теплый ветер, с крыш срывались первые капельки, окна оттаивали, и пригревало солнце. В фабричном дворе было грязно, множество ручейков бежало к воротам, вода скапливалась у конторы и медленно стекала в пруд. Дровни стучали по оголенной мостовой, лошади с трудом тащили доверху нагруженные сани, застревая посредине двора, и с утра до ночи слышалось громкое гиканье возчиков, ободрявших усталых коней.

Кандаурова Анна застала в конторе ткацкого отделения, он рассматривал какой-то длинный список и часто делал на нем пометки. Она села у окна, подперла голову рукой и долго пробыла в таком положении. Дверь часто открывалась, входили рабочие и подмастерья, громко разговаривали и ссорились, а она ничего не видела и не слышала, поглощенная своими мыслями. Мастер несколько раз вставал из-за стола, крупными шагами ходил взад и вперед по помещению, садился и снова вставал. Два раза его приходили звать в цех, он уходил и возвращался, а она продолжала сидеть в прежней позе.

— С вами что-нибудь случилось? — спросил он, близко останавливаясь около нее,— или вам нездоровится?

Она подняла голову, окинула его долгим взглядом и встала.

— Нет, ничего... Должно быть, переутомилась... А я вчера чуть не навестила вас... Говорят, у вас славные детки... Кстати, почему вы до сих пор не познакомили меня с вашей женой?

Анна произносила слова неуверенно, торопливо, как будто говорила что попало.

Он энергично принялся теребить край свисавшего со стола полотна.

— Отчего же вы не отвечаете?

— Вы об этом ни разу не обмолвились...

Анна снисходительно улыбнулась.

— Я думала, вы сами догадаетесь.

Некоторое время оба молчали, затем она пересела ближе к нему и сказала:

— Вы за последнее время стали как будто избегать меня. Я не узнаю вас, Андрей Петрович.

Он задумался.

— Почему бы вам прямо не сказать мне правды? Поверьте, я не обижусь, даю вам слово. Может быть, вы все еще сердитесь за прошлое? Можете не скрывать этого, нет ничего лучше, как выложить все начистоту... Вы молчите, вам мало того, что я подавляю свою гордость и первая ищу примирения. Что же мне еще сделать, скажите?..

— Я, собственно говоря, не понимаю, чего вы хотите...

Кандауров заметил, как дрогнули ее брови, и смущенно замолк. Несколько секунд он нервно кусал губы и изо всех сил дергал телефонный

шнур, затем решительно встал и, избегая встретиться с ее напряженным взглядом, упавшим голосом продолжал:

— Это вам только кажется, уверяю вас... Я действительно стал, как бы вам сказать, малообщительным, но вы здесь не при чем, даю вам слово... Наоборот, ваше присутствие доставляет мне удовольствие... У меня семейные неприятности, вы, верно, слышали о них...

Она отрицательно показала головой.

Удивляюсь, что вам ничего не говорили, все знают это.

— Значит, вы на меня не сердитесь, так я вас поняла?

— Я уже сказал вам и могу еще раз повторить. Я вовсе не способен десять лет таить дурное чувство. Тем более, что вы не предпочли меня другому. Ведь вы не были замужем, так, кажется? Меньше всего я могу обвинять вас в том, что моя жизнь сложилась нескладно... Впрочем, зачем это я говорю вам... Ведь вас, главным образом, угнетало подозрение, что я недоволен вами. Теперь вы будете спокойны, не правда ли?

Прямоугольный подбородок его заметно задрожал, на лбу отчетливо обозначился треугольник, и в углах губ легли глубокие морщинки.

— Нет, нет, я не верю вам,— решительно сказала Анна.— Разве можно говорить человеку «я не сержусь на вас» и в то же время так жестоко обращаться с ним? Если бы вы были уверены, что мне нет дела до вас, но ведь вы не можете не знать, какие я чувства питаю к вам. Я не скрываю от вас ничего, потому что у меня нет больше ни одного близкого человека. Нет, вам просто доставляет удовольствие причинять мне боль. Я уверена, что это так, не пытайтесь меня переубеждать.

Они снова замолчали. Анна смотрела в окно, из которого ничего, кроме окрашенной в желтый цвет цистерны, не видно было, а Кандауров продолжал теребить край свисавшего полотна.

— Вы сказали, что у вас семейные нелады,— спросила она,— почему же всем известно о них?

— Об этом долго говорить,— не поднимая головы, ответил он,— лучше всего об этом расспросить Телебукина.

Анна привстала от неожиданности. Она смотрела на мастера, словно не веря своим ушам.

— Телебукина, сказали вы, или я ослышалась?

— Да, да.

— Но что он вам сделал?

Кандауров слабо усмехнулся.

— Вы, действительно, оказывается, ничего не знаете. Он человек богобоязненный, не ограбит, не убьет, на преступление не способен. Судить не за что. Не придерешься. Увлек он мою жену в секту, убедил ее бросить работу, развестись с мужем, разве этого мало? Живем мы с ней под одной крышей, но как чужие. Детей она голодом морит — заставляет посты соблюдать, учит их в бога верить, отца ненавидеть и, кажется, собирается замуж выйти за сектанта.

— Я об этом ничего не слышала,— тихо произнесла она, с трудом подавляя волнение.— Но почему вы его до сих пор терпите здесь?

Мастер равнодушно махнул рукой и вздохнул.

— В городе хорошо знают его и бабку Аксинью, но почему-то молчат. Я никогда на него не донесу и не потребую его увольнения, пусть не говорят, что я мщу ему. Наконец, этим дела не исправишь.

Анна некоторое время подумала и спросила:

— Может быть, жена ваша еще одумается?

Он криво улыбнулся и ничего не ответил.

— Вот что, Андрей Петрович,— вдруг сказала она,— не сумеете ли вы ответить мне, как обстоит со сновальными станками, они все еще неисправны?

Мастер сделал некоторое усилие над собой, как будто переключал свои мысли, и ответил:

— Да, все еще... Необходим серьезный ремонт.

— Ну, вот,— с облегчением произнесла она, словно желала услышать именно такой ответ,— сновальные станки наши не в порядке, других нам не отпускают, купить без разрешения треста мы не можем,— что если упразднить их и пряжу со шпульных катушек прямо пускать на шлихтовку?

— Вы сами об этом подумали, — оживленно спросил он, — или кто-нибудь посоветовал вам?

— Это мой проект,— ответила Анна.

Кандауров даже улыбнулся от удовольствия.

— Я об этом уже сам размышлял...

— Подождите,— перебила она его,— это не все. Что если упразднить также и шпульные катушки и пряжу с ватеров непосредственно передавать на шлихтовку?

Мастер стал что-то соображать, а она принялась излагать свои планы. Сводились они к следующему. С ватерных машин обычно выходит мокрая пряжа, но совершенно пригодная для тканья. Все остальные этапы работы ничего к пряже не прибавляют. Ее перематывают на мотки, сушат, наматывают на катушки, перематывают на вал и тогда лишь пропускают через крахмальный раствор. Анна предлагала мокрую пряжу, минуя мотальную, сушильную, шпульную и сновальную, непосредственно с ватеров направлять в крахмал. Это должно было привести к упразднению четырех отделений со ста машинами и освободить не менее двухсот рабочих. Она говорила горячо и убедительно, приводила примеры и факты.

Все это, конечно, потребует еще много времени, труда, нужны осторожность и терпение. Если ему трудно сразу ответить на ее предложение, она согласна ждать неделю, месяц, хотя план кажется ей рассчитанным верно.

— Вот что, Анна Сергеевна,— начал он, по привычке глядя по сторонам,— то, что вы предлагаете, занимает меня уже почти пять лет. Схема работ, расстановка машин, чертежи и планы давно уже готовы и ждут применения. Скажу вам чистую правду, с некоторых пор уверенность моя была серьезно поколеблена, и я не спешил с планами, но теперь, после ва-

ших слов, мне кажется, что дело это вполне осуществимо. Может быть, на меня сильно подействовала ваша уверенность, не знаю. Если вы разрешите, я приступлю к первым опытам.

— Значит, вы верите в мой проект? — спросила она, глядя на него в упор.

— Теперь, да.

Какие заманчивые перспективы: сократив четыре цеха и упразднив сто машин, она значительно расширит производство за счет освободившегося помещения. Увеличится выпуск товаров, вырастет оборот, падут цены, и повысится заработная плата. Фабрика имени Лассаля станет известна, со всех концов страны потянутся сюда люди, чтобы собственными глазами убедиться, что вековые традиции ткачества нарушены. Об этом заговорят на всех фабриках, в Москве, по всей России...

Она медленно опустилась на стул и задумалась.

— Что с вами,— спросил Кандауров,— вы вдруг замолчали?

— Да, я вспомнила нечто очень неприятное,— медленно произнесла она, словно желая таким образом отдалить момент признания,— я получила сегодня предписание приготовить фабрику к ликвидации...

Он пристально посмотрел на нее и, пораженный, спросил:

— Вы серьезно это сказали?

— Совершенно серьезно. Об этом еще никто, кроме вас, не знает. Трест считает фабрику бездоходной и хочет ее ликвидировать. Они совершенно правы, и я даже не осмелюсь возражать, но меня гнетет мысль: что будет с рабочими? Представьте себе, какую панику вызовет наше сообщение о закрытии фабрики. Что вы скажете на это?

Все было так неожиданно: и ее приход, и проект улучшения производства, и, наконец, сообщение о ликвидации фабрики,— что он растерялся и не нашел, что ответить. Она поняла его состояние и продолжала:

— Я вижу этих несчастных матерей с тревогой на лице, отцов, детей, жен и теряюсь в отчаянии. Ведь некоторые отдали всю свою жизнь этим стенам, провели здесь свою юность и состарились. Что я скажу им? Разве они поймут, что фабрика больше не способна к жизни? Ведь в их представлении она все еще молода... Нет, это мучительно... Я не смею итти против треста, потому что отлично сознаю его правоту, но какое до этого дело ткачам, разве легче голодать, сознавая, что несправедливость обоснована? Я совершенно бессильна, остается сложа руки ждать...

— Странно,— наконец произнес Кандауров,— ведь вы знали, что фабрику закрывают, и в то же время пришли ко мне с проектом ее усовершенствования.

— Но ведь вы обещали мне завтра же приступить к испытаниям,— испуганно сказала она,— разве вы раздумали?

Он сделал жест недоумения и коротко спросил:

— Зачем?

— Неужели вы не поняли? — с досадой спросила Анна.— Фабрика может и должна быть доходной. Почему же нам не попытаться отстоять ее?

— Вы думаете?.. В таком случае я вас понял...

Лоб его разгладился, зеленоватые глаза заблестели и как будто ожили.

— Мне кажется, что все теперь зависит от вас, и мне хочется крепко просить вас помочь мне... Нет, вы простите меня, может быть, я не совсем правильно выразилась... Во всяком случае, я уверена, что вы сделаете все возможное вовсе не потому, что я прошу вас об этом... Ведь вас так же, как и меня, волнует судьба этих людей, не правда ли? Да, вот еще, ведь я никому не говорила еще о распоряжении треста, и даже утаила это от секретаря ячейки, за это мне придется отвечать пред своей совестью и партией. Вас я горячо прошу не обмолвиться ни пред кем, мне кажется, лучше будет, если ткачи узнают об этом попозже. Словами ведь горю не поможешь, а если нам удастся осуществить наш проект, они не будут в претензии на нас. Зачем причинять им лишние огорчения, у них и своего горя всегда достаточно. Значит, я могу надеяться?

Он спросил:

— Почему вы решили именно мне доверить эту тайну?

— Разве это вам неприятно?

— Мастер не смеет рассуждать о том, приятны ли ему или неприятны возложенные на него обязанности.

Лицо его стало непроницаемым, взгляд сухим и даже холодным.

— Вы, конечно, правы,— сказала Анна,— но в таком случае мне нет надобности отвечать на ваш вопрос.

Он сильно дернул кусок полотна и жестко сказал:

— Хорошо.

— Вы очень хотели бы узнать причину? — спросила она, любовно касаясь стоявших на столе катушек с ровницей.

— Да.

Анна вдруг побледнела, глаза ее расширились, задергались края губ. Прежде чем припадок успел исказить черты ее лица, она быстро произнесла:

— Я доверила это именно вам, потому что люблю вас... Только вас, вы поняли?

Она решительно повернулась и вышла.

Была ночь. Окна фабрики, озаренные ярким светом, бросали пламенный отсвет на кирпичные корпуса. У ворот кто-то бил в чугунную доску, и звуки, как отдаленный гром, медленно таяли в морозном воздухе. Рыночную площадь заносило снегом. Где-то лаяли собаки, слышался скрип снега и торопливые шаги...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

8

Фабрика вздыхала и содрогалась, глухо бил железный пульс, скрежетали привода, и безудержно стонали машины. Лихорадочно метались руки,

жужжали и кружились веретена, трещали банкаброши, прыгали ремиза ткацких станков, и свирепо громыхали карды. В этом вихре звуков и движений, тепла и холода, пыльной мглы и ослепительного света все трепетно неслось и падало, струились нити потоком шелковистых лент. В окно стучалось лето, мягкое и ясное, блестела прозрачная листва берез, буйно росли травы, и истекало теплом высокое, синее небо. Черную поверхность реки бороздили неуклюжие паромы и легкобежные катеры; солнце жгучими пятнами купалось в воде, то рассыпаясь на тысячи звезд, то собираясь огненным сгустком.

По ту сторону Волги поля тлели золотыми колокольчиками, висли над берегом избенки, и, казалось, слышались резвые выкрики играющих детей.

Тысячи глаз, обычно снующих по станкам, льнули к окнам, жадно смотрели на небо, на берега, поросшие кустами тальника, и, скользнув по реке, с тоской возвращались к мятущимся железу и льну. Шла смена за сменой, ночью заревом пылали фабричные окна, и далеко светились корпуса, потом гасли огни, темнел поселок, и до розового рассвета на Волге умолкали машины. Первой пробуждалась высоко ушедшая в небо труба; из окаймленного сажей отверстия поднимался прозрачный дымок, он густел, кружился и клочьями черной шерсти тянулся кверху. В бледное утро врывался протяжный рев, он стелился над уснувшей рекой, катился по низкому берегу, проникал в лес и долго стучался в окна и двери ткачей. Тогда на тропинках зарождался смех, заглушенный говор, к противоположному берегу стекались люди с узелками подмышкой; оживали катеры и паромы, кричали гудки и свистки, вспыхивала Волга, и открывались ворота фабрики...

Уже светало, когда Анна погасила огонь в кабинете и, не раздеваясь, легла на диван. В девять часов ее разбудил гудок. Наскоро напившись чаю, она отправилась в фабричные корпуса. Каждый день, уже около трех месяцев, в одно и то же время ее видели сперва в чесальном отделении, потом в приготовительном, прядильном, ткацком и, наконец, в стригальном и упаковочном. Она шла медленной, усталой походкой, часто останавливалась, осматривала машины и так же бесшумно уходила, как и являлась. На этот раз Анна направилась прямо в ткацкую и, не заходя в контору мастера, направилась к сновальным станкам. Простояв некоторое время в раздумьи, она перешла к шлихтовочным машинам и долго не отходила от них. Рабочие, полураздетые, потные и красные, суетились, уносили валы с пряжей, пробовали крахмальную жижу и зорко следили за громоздким механизмом. Из барабана с шумом вырывался пар, вокруг нее взад и вперед метались ткачи, а она не спускала глаз с ползущих нитей, словно не будучи в силах двинуться с места. Мотальщицы таинственно перешептывались, шпульницы бросали в ее сторону надменные взгляды, слышался злой смех и грубые словечки, а она шла, не оборачиваясь, отвечая на приветствия, улыбаясь и выслушивая жалобы. Пред ее глазами все, казалось, дышало порядком: работницы стояли на своих местах робкие, молчаливые и равнодушные; одни заискивающе улыбались, другие делали вид, что не замечают ее, а иные с особенным прилежанием делали свое дело...

— Посмотри, сколько вокруг тебя угара валяется,— сделала она замечание молоденькой шпульнице,— разве так можно?.. Катушки, узлы, ровница,— неужели трудно поднять?

Девушка, только что отпустившая непристойную шутку по адресу директора, бросилась собирать концы пряжи и складывать катушки в ящик.

— Это у меня впервые, Анна Сергеевна,— горячо проговорила она, щуря свои бледно-серые глаза,— верное слово, хотите, Андрея Петровича спросите.

Послышался смех, это подруги передразнивали шпульницу. Анна шла дальше, заговаривала с работницами, зедерживалась у станков и отдавала распоряжения подмастерьям. Во всех углах слышалось шушуканье, мотальщицы перебегали к шпульницам, ловили новости и передавали их друг другу. За каждым движением директора напряженно следили, подмечали все: и темноту под глазами, и бледность лица, и неуверенность движений. Казалось, одно уже присутствие Анны возбуждало их. Ни для кого больше не было тайной, что Анна намеревается упразднить шпульную, мотальню, сушильню и сновальню, и животная злоба, ненависть к человеку, посягающему на их покой, на издавна установившиеся традиции, слышались в придушенном смехе, намеке и недоговоренной фразе. Злоба выползала из приветливой улыбки, пожатия руки, шутки и покорного шопота.

— У меня, товарищ-директорша, станок из рук вон плохой,— жаловалась девушка с продолговатым розовым лицом и желтыми зубами.— Сколько раз просила Андрея Петровича поставить меня на другое место... Посмотрите сами, стягивает полотно, ровно клещами...

Анна остановила ткацкий станок, осмотрела ремиза, расправила ткань и осторожно пустила его. Батан заколебался, челнок, как пуля, полетел взад и вперед под натянутыми нитками, и плавно заскользило вниз полотно.

— Это вы, должно быть, такая счастливая,— смущенно произнесла ткачиха,— станете здесь, и все хорошо, уйдете — опять забунтует.

Трудно сказать, говорила ли она искренно, или притворялась, чтобы подурачить директора, но пока Анна стояла около ткачихи, та изо всех сил старалась доказать, что во всем виноваты «проклятые рядки».

Из ткацкого отделения Анна направилась в машинное, несколько раз прошла взад и вперед мимо дизеля, осмотрела паровую машину и спустилась в кочегарку. У котлов люди в длинных перчатках открывали румяные дверцы, швыряли в печь поленья и запихивали их вглубь длинными кочергами. Со всех сторон неслось зловещее гудение, словно из огня шли вопли сжигаемых дров. Записав со слов механика мощность генератора и другие подробности, касающиеся двигателей, она сказала ему:

— Приготовьте, пожалуйста, подробный расчет, сколько энергии требуют моталки, шпульные машины, сновальные и сушильня..

В прядильном отделении, прежде чем Анна успела войти, случилось нечто непредвиденное: кто-то перед самым ее носом закрыл дверь, и слышно было, как изнутри скрипнул засов. Все это произошло так быстро, что

трудно было решить, нарочно ли это сделали. Она быстро вернулась в машинное отделение и через запасную дверь вошла в прядильню. Пока бригада с'емщиков сменяла катушки на ватерах, работницы и рабочие столпились у прохода и слушали высокого худого подмастерья с широким шрамом на лбу. Никто не заметил появления Анны, и она, стоя в тени за предохранительной решеткой, могла следить за тем, что творится в отделении.

— ...То же самое будет и с нами,— сквозь шум машин слышался хриплый голос оратора.— Повыбросит она шпульниц, мотальщиц, сновальщиков и сушильщиков, развалит фабрику, а там ее и прикроют... Ей лишь бы чудить, а мы без хлеба оставайся... Я сам этому не верил, пока от механика только-что не услышал... Она так и сказала ему: четыре цеха упраздняю, энергии теперь хоть завались... Что же это, бессудная земля? Одно только и остается — скопом пойти к ней, пусть отчитывается, что не так! Будем голосовать?

В это время оратор увидел Анну. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем быстро соскочил с ящика, на котором стоял, и стремительно пошел в другой конец помещения. Работницы и рабочие рассыпались по местам, словно ничего не случилось. Анна направилась к дверям, отодвинула засов и спокойно принялась расхаживать между ватерами.

— Что это у вас не ладится? — спросила она у пожилой ватерщицы, нервно обрывавшей пряжу.

— Не знаю,— грудным голосом ответила та,— сегодня, одно наказание, ползет ровница...

— Выясните, в чем здесь дело,— распорядилась она подмастерью, не глядя на него.

Он долго кружился около машины, трогал катушки, развинчивал каретку, и когда Анна полчаса спустя вернулась, лицо его лоснилось от пота, весь он как бы с'ежился и не переставал твердить, что «машину заело». Что и где заело — у него нельзя было добиться. Анна терпеливо выслушала подмастерья, расстегнула пуговицы на манжетах рукавов своей кофточки, высоко закатала рукава и остановила ватер. Сняв деревянные валики и отбросив их далеко в угол, она приказала принести из токарной другие, вставила их и проворно присучила концы пряжи.

— В порядке, можете работать... Валики размокли и покоробились, плохая береза. Лучше пальмовых нет...

Подмастерье подобрал в углу брошенные части, осмотрел их и, избегая глядеть на окружающих, стал вытирать свое потное лицо.

Когда мастер прядильного отделения явился, она спросила его:

— Я распорядилась выдать ватерщицам обувь, почему они до сих пор ходят босиком?

Он вынул руки из карманов и вместо ответа принялся разглядывать ноги работниц, словно желая убедиться, что те действительно разуты.

— Им полагаются туфли с деревянными каблуками,— снисходительно заговорил он, наконец,— на рынке таких не достать. Может быть, вы рас-

порядитесь выдать им туфли с кожаными каблуками? — не без ехидства добавил мастер.

— Да, да, и немедленно,— решительно произнесла она.— Затем вы не находите, что здесь слишком жарко?

— Очень жарко,— ответил он,— вы правы, но что поделаешь, таково свойство пара...

Анна сделала вид, что не замечает его иронии, и продолжала:

— Мне думается, что работоспособность работниц должна от этого страдать...

— Безусловно.

Она набросала несколько слов на бумажке и передала ее ему.

— Здесь приказание механику срочно установить дополнительный вентилятор и разрешение заведующему хозяйством выдать ватерщицам обувь с кожаными каблуками.

У дверей стояла длинная очередь ткачей с расчетными книжками в руках. За столиком конторщик заглядывал в раздаточную ведомость и выдавал заработную плату. Когда Анна прошла мимо, послышался шопот, и кто-то отчетливо произнес: «Готовьте монатки, скоро без нас машины запоют». На ее лице что-то дрогнуло, синие глаза потемнели, и скорбные морщины легли на лбу.

Во дворе ее ждала Анисья.

— Здравствуй, Аннушка, здравствуй, голубок,— хватая золовку за руку и с трудом подавляя желание обнять ее, прошептала ткачиха.— Что же это ты три ночи домой не являлась?.. Что с тобой, родная, святые угодники, лица на тебе нет... Бог ты мой, себя бы пожалела... Что же ты молчишь?

Неожиданная нежность тронула Анну, и, чтобы не разразиться рыданиями от боли и обиды, внезапно подступившими к горлу, она нежно погладила жесткую руку Анисьи и увлекла золовку с собой по направлению к конторе.

— Нет, нет, милая,— сопротивлялась ткачиха, и медный номерок, приколотый к кофточке, зазвенел от ее движений.— Мне сейчас на смену, нельзя, родная. Где же ты была, неужели в конторе спала? И кормилась всухомятку? Царица небесная, святые великомученики, вот человек... Не спроста это, чует мое сердце, что не спроста...— Она отвела Анну в сторону и тихо-тихо зашептала: — Может, из-за Петьки не приходила, прямо скажи...

— Да нет же, Анисьюшка милая, не то, я все занята была. Освободишься в три или четыре часа утра, не будить же вас.

— Ой, не поверю,— как любящая бабушка, грозила Анисья пальцем,— призналась бы, что с Петькой повздорила... Не иначе. Не говорил он мне ничего, а чую, что так... И не уговаривай, не поверю. Как хочешь, Анютка, а похвалить не похвалю... Зря ты нас обижаешь. Дома ровно кого похоронили: Петя слова не проронит, меня порой так проймет, хоть в пруд бросайся, а уж папаня прямо с лица спал... Сядет на лавку и глаз с дверей не сводит. Намедни так и уснул.

— Неужели? — взволнованно спросила Анна.

— Целый день рта не закроет: «Где Анютка», «Сведи меня к ней», «Не иначе грех приключился». Так это другой раз замутит меня от его слов, что ревмя-ревешь... А про петра вот что я, Аннушка, скажу: не следует тебе против него злобу таить. Любит он тебя, богом клянусь, любит, и не так, как другие, а прямо всей душой... Сама посуди, легко ли ему: люди, бог знает, что выдумывают на сестру, пальцами тычут, попрекают, как не озлиться? Другой раз как начнет плакаться, слушаешь, слушаешь, а у самой на душе тяжелей тяжелого... Может, ты на меня что имеешь?

— Что ты, Анисьюшка,— нежно сжимая ее руку, сказала Анна,— чего мне на тебя сердиться? Правду говорю, работы много.

— Стало быть, сегодня придешь?

— Нет, нет, милая, сегодня не могу. Завтра непременно явлюсь, а если все уладится, буду аккуратно приходить каждый день.

— Смотри, не обманываешь? — недоверчиво спросила ткачиха.

— Нет, нет, приду. Передай папане привет. Скажи, что я прошу у него прощения...

— Да, вот еще что, Аннушка,— вспомнила Анисья, и на лице ее выразилось смущенье.— Правду говорят, что ты полфабрики рассчитать хочешь?

Анна улыбнулась, нежно взглянула на золовку и спросила:

— А ты поверила?

— Кто его знает,— развела ткачиха руками,— не поймешь. Другие про тебя бог знает что скажут, всему не поверишь.

— Значит, ты и этому не поверила?

Анисья пытливо взглянула на нее и ничего не ответила.

— Что же ты молчишь?

— Да не томи меня, бога ради, откуда мне знать... Кто его ведает, что у тебя на душе.

Обе замолчали.

— Бог ты мой,— заторопилась вдруг ткачиха,— скоро гудок, а я, дура, застряла. Прощай, Аннушка, значит, придешь?

— Приду, непременно,— целуя ее, ответила Анна.

Она долго смотрела Анисье вслед, затем медленно побрела к воротам.

Анна вышла к реке узкой тропинкой между зеленеющими клочками огородов и пашен. По ржаному полю плыла серебристая дрожь, одиночками зеленели главы сосен, а вверху, высоко над берегом, лежало шоссе, и высились домики на крутых обрывах. Ни живой души; изредка пройдет между грядками толстоногая девушка с мотыгой в руках, вспорхнет и высоко взовьется жаворонок, лениво мотая головой, выглянет из кустов коза,— и снова безбрежная тишина...

Анна опустилась на траву, сложила руки на коленях и закрыла глаза. На некоторое время лицо ее словно окаменело, дрогнули и ослабли мускулы лба, вытянулись щеки, и выражение сдержанности и спокойствия сменилось выражением утомления и равнодушия. Веки ее с трудом поднялись, и на

свет глянули безжизненные глаза. Как мало эта женщина походила на Анну Калымову; и бессонные ночи, и неутомимый труд, и недоедание, до того подавленные ее огромной волей, казалось, взяли верх над ней.

Никто не знает, как тяжело до боли, до тоски быть ласковой и приветливой, прикидываться спокойной и подавлять свои порывы. Ей одной известно, как это мучительно! Почему она так несчастна, почему жизнь ее полна неудач? В самом деле, как будто все сговорились, да, да, именно все... Много ли у нее в прошлом беззаботных дней, счастливых часов, без огорчений и страданий? Всегда угроза и опасность, борьба тяжелая и беспощадная... Друзья, братья, родственники, возлюбленные,— были ли они у нее? В прошлом нет ничего кроме одиночества, сурового и безутешного, как старость. Она видела счастливцев: они не томились тщетными надеждами и в радостях топили грусть. Они любили, знали удачи и умели веселиться... Нет, она как будто создана для страданий, а как ей хочется покоя... Хорошо в какой-нибудь глухой деревне заниматься хозяйством; вставать с одной зарей, ложиться с другой и ни о чем не думать... Как это, должно быть, прекрасно... Нет, нет, она сама во всем виновата; у нее ужасная натура, ее влечет к опасностям и трудностям,— без них она томится, как в неволе... Однако недурно бы растянуться на траве, закрыть глаза и уснуть. Не видеть, как день сменится ночью, взойдет солнце, наступит вечер и снова настанет день. Спать долго, пока не уйдет усталость из тела, из костей, из мозга и не вернется прежняя бодрость... То же чувствовала она на фронте после бессонных ночей. Так же, как и теперь, мучительно хотелось уснуть и не просыпаться неделями, месяцами, но тогда сердце не билось так сильно, не ломило в голове и не шумело в ушах... Действительно, она слышит глухое гудение, словно над ухом звучат телефонные провода. Чтобы это значило? Должно быть, от старости... Мало ли людей, у которых организм изношен уже в тридцать лет?.. Нет, нет, тогда все было бы иначе: сон казался бы желанным, а теперь... Это может показаться неправдоподобным, но ее вовсе не клонит ко сну. Хочется лежать без чувств и мыслей, не двигаясь с места... Неужели она больна? Конечно, у нее сильно шумит в ушах, больно стучит в висках, а в груди что́ творится... Должно быть, порок сердца или даже тиф... Какие надоедливые мысли; если бы можно было не думать... В самом деле, какая отвратительная привычка всегда и везде размышлять, строить планы и терзаться воспоминаниями... Неужели нельзя пять минут, только пять минут пролежать без мыслей?.. Почему ей не хочется спать, ведь она провела несколько бессонных ночей?.. Как трудно стало работать на фабрике... Ткачи ненавидят ее; они всеми способами стремятся выразить ей свою ненависть... За что? Как это несправедливо... Опять эти назойливые мысли, неужели они не оставят ее сегодня в покое?..

Анна приподнялась, потрогала голову и снова растянулась на траве.

Нет, нет, это несерьезно... Она много волновалась, мало отдыхала и, естественно, переутомилась...

Река лежала в глубоком покое, тихая и неподвижная, словно под стеклом. Грузовое судно «Академик Бехтерев» медленно тянуло за собой

длинную, низкобокую, как плот, баржу «Легенду». На корме чья-то заботливая рука установила столбы с перекладинами, и мальчишки качались на качелях. Катер «Византия» протащил на буксире три баркаса, груженные прессованным сеном; отошел паром с лошадьми и повозками, издали напоминающий пловучую площадь. Показался пароход, он вынырнул из лесистой дали, где зеленый берег словно преградил дорогу реке. Забелела могучая грудь лебедя-великана, загорелась красная кайма на трубе, и затрепетал алый флаг. Послышалось гулкое приветствие, зашумела вода у дебаркадера, и нежно звякнул колокол. Промелькнули минуты, и друг другу вдогонку побежали три звонка. Белый гость три раза вздохнул, вздрогнул и забился на месте. Выползла пенистая борозда из-под кормы, вскипела желтая вода, от колес пошли длинные складки, они веером разбегались, ширились и дружно неслись вслед за кормой...

— Не клюет, дикая, не клюет, хоть господа попрекай...

Из кустов тальника высунулась маленькая головка с седыми жидкими волосами. Козлиная бородка, белая по бокам и рыжая посредине, казалось, вылиняла от струйки дыма, вытекавшей из полупотухшей трубки. Старичок держал в руке удочку и не спускал глаз с поплавка. Анна несколько раз хотела разглядеть его лицо, но это было не так легко: глаза и нос рыбака сливались, лоб, как гармоника, то растягивался, то сжимался. Старик сидел неподвижно, и она подумала, что он много лет уже не покидает этого места у реки, не будучи в силах подняться на ноги...

— Не клюет, что хошь делай. Рыбы не стало, вывелась. Раков, бывало, не оберешься, выкупаться не дадут, а теперь, гляди, вытащишь какую-нибудь замоину, а она вся в нефти, вот она и рачья смерть. Годов тридцать назад выполз он весь на берег, доконали его, теперь нет его больше, сгиб. Волгу всю запаскудили, дохнет рыба. Уж на что стерлядка, по самому дну идет, и та нефтью попахивает. Раньше, бывало, и самоловом и крыленой, хоть удочкой лови, теперь невод и тот пустой. Все потому, что караванов хлебных не стало: одними сметками, мусором с плотов сколько рыбы кормилось.

Анна слушала рыбака и силилась припомнить, где она слышала такие же слова. Недавно, только несколько дней назад, кто-то говорил ей о том же, теми же словами.

— Пустует Волга, помирает и рыба. Холода дело губят, пескарь третий год с наростом остается, не мечет. Оскудела река, обнищала; ни белевой, ни язи, ни сороки, ни даже уклейки. Один налим, и тот зимой перестал показываться.

Она услышала вздох, увидела, как головка рыбака исчезла в зелени, и снова потекли жалобы:

— Выехал я давеча крыленой ловить; привязал к веревке якорь, спустил снасти в воду, бросил и бездник, а сам повернул к берегу. Солнце по над самым холмом стало, думаю, поеду за крыленой, пора, а кто-то прямо над ухом шепчет, уговаривает меня повременить. Уже припекать стало, как снасти вытащил, смотрю — чисто, хоть бы лещик поганенький. А зимой похуже случалось. Два раза ровно нечистый попутал. Сделал это я прорубочку,

крылену под лед опустил и вешку поставил, чтобы снегом места не занесло. Прихожу утром, весь лед обшарил — ни следа. Так две крылены и пропали.

Когда Анна открыла глаза, была ночь. Посредине реки причудливым островком плыл длинный плот. Два огонька электрическими угрями извивались в воде. Сгонщик тяжело ворочал веслом и громыхал цепями. На другом берегу ночь слила воедино небо и землю и дымчатой завесой легла над водой; в черном просторе расцвел багровый костер, бросая румяные пятна во тьму, и слышался протяжный крик: «Лодку! Лодку!» Как сказочная птица, выплыл расцвеченный огнями пароход; зеленые лампочки, мигающие блестки и сияющий пламень на мачте заиграли в серебристой массе и, оставив яркий шрам в ночи, погасли.

Она приподнялась и вспомнила вдруг о рыбаке. В кустах никого не было. Она встала, подошла к тому месту, где он сидел, но трава там даже не была примята. Неужели это ей приснилось? Но она отлично запомнила каждое его слово, его внешность, бороду, трубку. Лицо, правда, забыто, но стоит только напрячь память, и она припомнит, непременно припомнит.

Из кустов кто-то поднялся и пошел к ней навстречу,— это был Федька.

— Добрый вечер, Анна Сергеевна,— улыбаясь, произнес он,— сладко спали?

— Да, ты давно здесь?

— Давненько, скоро после вас пришел.

Она опустилась на траву и спросила:

— А ты рыбака здесь не видал?

— Какого?

— С удочкой. Старичок здесь сидел около меня.

Он рассмеялся и от удовольствия прищелкнул даже пальцами.

— Это вам приснилось, ей-богу.

— Значит, ты его не видал? — все еще рассеянно оглядываясь, спросила Анна.— Он долго говорил здесь.

— Ей-богу, приснилось, Анна Сергеевна,— горячо божился Федька.— Я здесь все время около вас.

Она замолчала, потерла глаза и зевнула.

— А я, должно быть, хорошо вздремнула. Который теперь час? Ты, говоришь, все время здесь?

Федька ухмыльнулся.

— В одно время с вами пришел; не видели вы меня, я вон за тем бугорком сидел.

— А что ты там делал? — вдруг строго спросила она его.

Он взглянул на нее и опустил голову. Она промолчала и мягко заметила:

— Не хорошо так, зачем ты следишь за мной?

Парень слегка отодвинулся, сорвал несколько травинок и почти шопотом произнес:

— Это я, Анна Сергеевна, не из баловства, ей-богу, не из баловства. Я и сам в толк не возьму, чего ради далось это мне. Нехорошо, что вы

с нашим братом так по-любезному обращаетесь. Построже бы, тогда сло; нет, не посмел бы.

Он сидел насупившись, обхватив руками колени.

— И не поймешь вас, что вы за человек,— продолжал Федя,— давеча с вечера как зашли в контору, до утреннего гудка с места не поднялись. Не верил, думал, спит; взобрался я на крышу прядильного отделения, смотрю, что-то вы над катушками мастерите. Так до утра пряжу сматывали и разматывали. И прошлой ночью глаз не смыкали; сначала долго взад и вперед ходили, сами, должно быть, с собой разговаривали, руками все больше разводили, потом за бумаги принялись. Не усидел я, так на крыше и уснул. Открываю глаза, вижу, сидите, подперши голову, как в тот раз, когда за валом ездили. Только я подумал, что вы спите, нет, вы опять за свое: писать, считать, да с катушками возиться. Под утро, смотрю, на диван бросились, а часа через два уже по ткацкой ходили. Непременно, подумал я, свалится, присмотреть надо. Со смены побежал домой, вернулся, а вас нигде не видать. Спросил одного, другого,— говорят, что вниз пошли. Оно-то, может, и не мое дело,— неожиданно запнулся он,— только жаль мне вас стало, ей-богу, жаль. Хотите покататься, у меня тут и лодка в кустах? Ночь хорошая, теплая. Согласны? Откажетесь, право слово, пожалеете... Раздолье какое, поглядите, свет ты мой, без начала и края, небо ровно серебром шитое, даром что ночь, вода, как завороженная, тишь да покой, ровно херувимы пролетели, поезжайте, право слово, поезжайте...

— Да ты, Федька, поэт,— рассмеялась Анна.— Против твоих слов устоять трудно. Как ты сказал: небо серебром шитое? Ха, ха, ха...

— Стало быть, согласны?

Парень с восторгом бросился к берегу, вытащил из кустов лодку, и они выехали на середину Волги. Он отложил весла, пересел на руль и лодку понесло теченьем вдоль пустынного берега. Ни шелеста, ни движенья, все притихло и оцепенело; тишина, казалось, истекала от земли, задернутой темным покрывалом зелени, от парящего над головой неба, бездонной реки и розовых полос заката. Вместе с прохладой она нарастала, до краев наливая речной простор, прибрежную низину и согретый солнцем воздух. От ночной ли синевы, или от потемневшей воды всюду мерещился лиловый отсвет: и на плотах, широкими мостиками приставших к берегу, и на фабрике, как будто вкрапленной в лиловую чащу, и на лодках, издали похожих на гигантские раковины.

— Была у меня бабушка,— рассказывал Федька,— хорошая-хорошая, а внуков у нее не то восемь, не то девять...

Анна думала о Кандаурове и вспомнила свою встречу с его женой — Марией. Это случилось несколько дней назад. Рано утром в дверь ее комнаты постучались, и вошла высокого роста женщина, бледная, с вытянутым лицом, высоким лбом и расширенными глазами. Она была одета во все черное; с головы ее на грудь свисал край кашемирового платка с длинной шелковой бахромой. Анна много лет ее не видела, но с первого же взгляда догадалась, что это жена Кандаурова. Мария поклонилась и молча стала у дверей.

— Это вы — Анна Калымова? — спросила она слабеньким, едва слышным голосов и, не дождавшись ответа, добавила:— Я не запомнила вас, хотя мы по соседству жили...

Некоторое время длилось молчание, затем еще тише полилась ее речь:

— Андрей Петрович часто вспоминал вас...

В этой исстрадавшейся женщине Анна с трудом узнала прежнюю Маньку Пестюхину — краснощекую, сильную и веселую. Из-под низко опущенных век темнели потухшие глаза, гладко причесаны волосы, смиренное выражение лица и черная одежда делали ее похожей на монахиню. Она держалась необыкновенно ровно, руки были сложены на животе, а голова слегка наклонена вперед.

— У меня к вам просьба,— сказала она, придвигаясь к Анне.— Вы, верно, слышали, что я развелась с Андреем Петровичем; вот уже скоро год, как мы больше не муж и не жена, а он не отпускает меня из дома. Вы, говорят, имеете на него доброе влияние, сделайте милость, убедите его...

Трудно по такому поводу с кем-либо говорить, очень трудно, спасибо, нашелся человек, который сам догадался помочь ей советом и наставлением. Некоторые его, правда, считают неискренним и дурным, о нем ходят различные слухи, но она глубоко убеждена в его душевной чистоте и искреннем благочестии. Анна должна его знать, это Яков Степанович Телебукин, подмастерье ткацкого отделения.

— Был у меня и дедушка,— продолжал рассказывать Федька,— злой-презлой, горький пьяница, натворит всяких бед, нагрешит и давай на нас зло изливать...

Анна не слышит его больше, она снова видит Марию, и кажется ей, что та стоит рядом с ней и упрашивает ее:

— Истинным богом прошу вас, Анна Сергеевна, уговорите его детей моих вернуть. Нельзя нам, поморцам, по судам ходить, грех божьи законы на людские выменивать... Дала я обет три года по-миру ходить, грех свой и детей отмаливать. Заставьте за себя бога молить, уговорите. Почему бы вам тогда не обвенчаться, греха в том никакого: любить он вас не переставал, со мной жил, а о вас думал. Я только вида не подавала, чтобы его не огорчать, все равно делу не поможешь... Себе руки развяжите и мне волю дайте, как родную прошу вас, Анна Сергеевна, не откажите в милости...

— Терпела бабушка, терпела,— рассказывал Федька,— а он, что ни день, сильнее лупит ее. Мы, внуки, бывало, как увидим это, так со всей мочи и закричим:

Дедушка Иван,
Куда бабушку девал?..

Он еще пуще озлится и давай нас тузить валенцем, скалкой, чем попало.

Анна вспоминает, как жена мастера упала пред ней на колени и непременно хотела поцеловать край ее платья. Страшно было видеть эту высокую, прямую женщину извивающейся на полу, слушать ее мольбы и заглушенные рыданья. Она плакала и молила, не слушала увещаний и настойчиво говорила

свое. Потом фигура ее резко вытянулась, глаза строго взглянули на Анну, и тихо стукнула за ней дверь.

— Вы и не слушали меня,— обиделся Федька,— рассказываешь вам, а вы на небо глаза пялите, ровно впервые увидели.

В темноте ей показалось, что он иронически поглядывает на нее, словно догадывается, о чем она думает. На самом деле парень был глубоко удручен. Если бы она только знала, сколько огорчений причиняют ему ее рассеянность и задумчивость... Чего он только не делает, чтобы развлечь ее, легко ли придумывать забавные истории, делать из каждой мелочи повод для смеха и веселья... Сколько осторожности и благоразумия нужно при этом проявить, ведь она может любую шутку принять за оскорбление или за грубый намек. Возьмем к примеру рассказ о том, как дедушка лупил бабушку, разве это не сущая правда, а расскажи он его в такой час, когда ей не до шуток, она высмеет его или того хуже — прогонит. Теперь у него про запас нечто такое, на что Анна Сергеевна живо откликнется, но рассказ про дедушку и бабушку так и пропал. Зато теперь он — Федька — безраздельно овладеет ее вниманием, скуку ее как рукой снимет, непременно она поблагодарит его, это уже как пить дать...

— А у меня для вас новость, Анна Сергеевна.

Зачем спешить, ведь это значило бы даром расточать сокровища. Он еще немного побалагурит, осторожно, как будто нечаянно обмолвится и затем сразу заговорит о другом. Потом, когда изрядно разворошит ее любопытство, неожиданно сообщит ей ошеломляющую новость.

— Что ж, рассказывай.

— А вы опять прямо в небо упретесь?

Анна смеется, ей не впервые выслушивать его упреки.

— А новость такая, что грех не послушать.

Она молчит. Это обескураживает его, и он спешит выболтать все, что ему известно.

— Крестный намедни хвалился, что дело ваше не выйдет.

— Почему?

— Не за свое дело, говорит, взялись.

— Слышала,— спокойно отвечает она.

— Еще сказал, что мокрая пряжа нашей шлихты не возьмет.

— Почему? — насторожилась Анна.

— Потому мало в ней щавельной извести, в крахмале нехватка, и градусов на двадцать пару поддать надо. Чем горячей шлихта, тем она скорей пряжу проберет.

Она вытащила записную книжку, долго что-то записывала, затем спросила:

— Еще что он говорил?

— И не выйдет,— сказал он,— ваше дело, потому пряжа после шлихты разно сбегается, потому, как она из разных сортов льна состоит. Если бы лен из одной местности — другое дело, а раз сборный — все дело ни к чему.

Лодка шла почти у самого берега. Близко тянулась зеленая изгородь деревьев, зияли мрачные овраги, и белели разрозненные домики. Розовые полосы на горизонте побледнели, вода подернулась туманом, и стало свежо.

— Как поживает твоя знакомая? — спросила Анна, налегая на весла,— выздоравливает?

Об этом ему меньше всего хотелось бы говорить. В самом деле, что Анне до его возлюбленной, ведь она даже не знает ее. Так, от нечего делать спрашивает, в таком случае ему вовсе не хочется отвечать...

— Почему ж ты молчишь?

— Что ж вам говорить, болеет. Должно, скоро умрет, простудили они ее...

— Кто?

— Известно кто, бабка Аксинья. Она, известно, сиротой прикидывается: что мы, дескать, понимаем, омшанники,— это все на людях, а сама колдунья, за все берется. Услыхала, что муж жену к доктору возит, сама взялась лечить. Рассудила чортова баба по-ихнему: ежели человеку оспу привили, а он заболел, значит, плохо привили. Ежели поморец слег, стало быть, крещенье не впрок, перекрещивать надо. Потащили ее больную к реке и в холодную воду опустили. Простыла она, чахотку, должно быть, нажила, кашляет здорово. Что бы там ни говорили, а затея это крестного; сулил он мне давеча: «Разлучу вас навеки, запомни мое слово»,— так и сделал. Не такой он человек, чтобы отступать, за что возьмется уже, до дела доведет. Хоть она мне чужая, а помрет — останусь я один, как вешка на дороге, скорей бы и мне конец...

Послышался протяжный гудок. К берегу фабрики пристал катер и большой паром. Донеслись короткие свистки, и зеленые огоньки понеслись по воде. Еще один отдаленный свист, и на другую сторону реки высыпала толпа ткачей. До лодки долетал их громкий говор, смех и шум. В фабричных корпусах погасли огни, последняя смена ушла домой. На скамьях, расставленных вдоль берега, сидела молодежь, и в ночной тиши трещотка сторожа соперничала с неудержимым гомоном молодняка.

— Так ты думаешь, рыбак этот приснился мне? — спросила Анна, выходя из лодки,— а мне все думается другое...

Она протянула ему руку и, как будто случайно вспомнив, заметила:

— Тебе об'явлен был второй выговор за прогул. Смотри, на меня не надейся, уволят, ничего сделать не смогу. Запомни.

Федька сердито отвернулся, втащил лодку в кусты и ничего не ответил. Что он мог ей сказать? Разве она поймет, как много он перестрадал за эту неделю? Он скрыл от нее, что присутствовал, когда больную опускали в холодный, мутный пруд; скрыл, что молил бабку Аксинью и крестного не делать этого... Ведь он до последней минуты надеялся предотвратить несчастье, какой же это прогул? Она все равно не поймет его, пусть будет так...

Но Анна прекрасно все понимала.

В фабричном дворе было темно. У конторы горела маленькая лампочка, слабо освещавшая деревянные мостки, проложенные к ткацкому отделению. Анна поднялась по железной лестнице на третий этаж и открыла обитые жестью двери. В приготовительном отделении словно иссяк источник света и движения: бессильно повисли пассы, замерли шпульные машины, залитые мраком растаяли сновальные станки, только огромные барабаны шлихтовочных машин дышали паром и жарой. Кандауров шопотом об'яснял что-то Телебукину, а двое чернорабочих переносили железные валы, освобождая место для катушечных подставок-шпулярен. Передвигались все тихо, почти бесшумно, говорили едва слышно, словно опасались кого-нибудь разбудить. И полумрак, и перешёптыванье людей, и тени, мелькавшие по стенам и потолку, производили впечатление чего-то таинственного. Девушки по беззвучной команде мастера, легко ступая, переносили ящики с ватерными катушками, чернорабочие, осторожно, не делая лишнего движения, расставляли тяжеловесные шпуларни, словно они были из хрупкого стекла. Кандауров не отходил от шлихтовочной машины, жестами отдавая Телебукину распоряжения, а тот без слов бросался выполнять их. Показав рабочим, как устанавливать стальной гребень-рядки, через которые пряжа потянется в корыто с крахмалом, подмастерье заглянул в клееварню, несколько раз ткнул палец в бак и взглянул на манометр. Тем временем девушки быстро вставляли катушки в гнезда шпуларен, проворные руки перебегали вниз и вверх, просветы в подставках редели, и опорожнялись ящики.

Анне показалось, что четвертая шпуларная не совсем ровно стоит. Она несколько раз примерила глазами расстояние между ними и взялась за железный переплет, чтобы передвинуть его. Подставка с расставленными на ней катушками оказалась ей не под силу, но прежде чем она успела отвести руки, Кандауров взял ее за локоть, отвел в сторону и сказал:

— Это сделают без вас. Как автор проекта, не заинтересуетесь ли вы тем огромным гребнем, придуманным мной?

Он показал ей длинные стальные рядки и стал об'яснять, как тысяча ниток, протянутых от шпуларен, широким потоком пройдут через этот гребень, потом через более узкий, прежде чем двинуться в крахмальную жижу. Не будь этих рядков, пряжа от слишком резкого сужения диапазона рвалась бы, теперь опасность устранена. Не хочет ли она познакомиться с еще одной любопытной выдумкой?

Кандауров водил ее вокруг машины, тепло говорил о каждой мелочи, открывал кран и выпускал свирепую струю пара, стучал по трубам и разглядывал торчавший из крахмала термометр. Голос его звучал мягко, глаза лучились, а речь лилась, словно заученная. Эти части нужно непременно переделать, железные валы заменены теперь шпуларнями, значит, стальную раму можно удалить. Он уменьшил шкив, чтобы замедлить движенье машины,— это облегчит девушкам связывание оборванной пряжи... Соединив паровой кран с рычагом, пускающим в ход шлихтовочную машину, он таким образом имеет автоматический парозакрыватель... Все это, конечно, только первые шаги, со временем обнаружатся новые трудности, но их легко будет

преодолеть, нужно только захотеть, не правда ли? Его волнует еще одно опасение, но лучше о нем не говорить, может быть, вкралась ошибка,— зачем причинять Анне напрасные огорчения... Нет, нет, напрасно она настаивает, не в его правилах изменять раз принятое решение... Куда это делся Телебукин, пусть она извинит его, он сейчас вернется и будет продолжать свои об'яснения.

— Чего бельма заголяешь! — слышался грубый окрик подмастерья,— говорят — тяни, значит заткни горло...— и вслед за тем спокойная, вразумительная фраза, словно не было предыдущей.— Сказано ж тебе: всякому произведению своя история, значит, и отлынивать нечего...

— Добрый вечер, Анна Сергеевна, без отдыха, можно сказать, трудитесь,— произнес Телебукин, низко надвигая картуз, как будто опасаясь показать свои глаза.— Это я к слову сказал, а чем плохо, ежели баба, как мужик, с делом справляется? Не всякая только разберется, другая дура напролом прет, себя изводит и людей, а толку никакого. Что, не так? Иное дело образованная, ученым все понятно, не то, что нашему брату... Возьмем, к примеру, вас: только на фабрику пошли, а такое затеяли, что мы и во век не додумались бы...

— А как вы думаете,— перебила она его,— управимся, не высмеют нас?

Он погладил усы, провел рукой по лысине и неуверенно сказал:

— Кто его знает, как люди поведут себя...

— Почему же люди? — удивилась Анна.

Подмастерье боком придвинулся к ней, бросил опасливый взор по сторонам и шопотом произнес:

— Народ несознательный, забунтовать могут... Неровен час, душу загубить способны. Потому и говорю вам: вы все сделаете, а они возьмут да перевернуть.— Он еще ниже склонился и едва слышно добавил: — Не зря болтаю, пересуды слышал... Вон какие люди, старайся для них, а они как были, так и есть сволочи...

— А что вы скажете по поводу пряжи,— снова перебила она его,— наберет она крахмала?

— Наберет,— уверенно произнес он,— мокрая, что сухая одинакова.

— Еще одна забота у меня,— притворяясь огорченной, медленно произнесла Анна,— не знаю, как быть...

— Может быть, Андрей Петрович поможет? — Он усмехнулся, погладил рваную ноздрю и принялся надевать очки.

— Не говорила я ему... Кажется мне, что пряжа разно сбегаться будет... Лен ведь различный...

Телебукин уставился в пол, почесал подбородок и неопределенно развел руками.

— Этому делу не поможешь, лен теперь весь сборный... Раньше бывало, каждая корсточка на какой земле росла, знаешь, теперь — кто его разберет. Понавезут со всей России, а ты с ним возись... Думаю, неважно, сойдет... Сколько там сбежится...

— Спасибо, что успокоили меня; я все, знаете, волновалась... Несколько человек мне одно и то же говорили, уверяли, что ничего не выйдет...

— Чего язык зря чесать,— махнул подмастерье рукой,— взялись, значит, сделаете.

— А ведь люди эти утверждали, что вы им так говорили... Яков Степанович, говорят они, человек знающий, сказал — не выйдет, лучше бросать.

Он быстро снял очки и тревожно взглянул на нее.

— Шутите, Анна Сергеевна?

— Нет, нет, не шучу,— спокойно возразила она.— Мне ведь все о вас доносят. Я и про уговор ваш с уполномоченным знаю, помните, когда вал перевозили? Сообщают мне и о том, что вы рабочих против меня настраиваете, одним словом, кому бы вы что ни сказали, мне все сразу передают... Нехорошо так, очень нехорошо, сами согласитесь — разве это допустимо?

Она прошла к шпулярням, но с полпути решительно повернулась и смущенно сказала:

— Вы меня извините, что я вам раньше этого не говорила. Нехорошо, конечно, так поступать, я и сама понимаю, но что поделаешь с привычкой... Я долгое время была следователем, и манера выпытывать, собирать улики и терпеливо ждать результатов глубоко укоренилась во мне... Никак отучиться не могу. Лучше было бы запросто поговорить, об'ясниться, вы, может быть, извинились бы, и тем дело кончилось. Вина моя, что и говорить...

Подмастерье смотрел на нее, смущенный и испуганный, и по глазам его видно было, что он не знает, смеется ли Анна над ним или действительно извиняется.

— Значит, вы не сердитесь на меня, не правда ли?

Она остановила Кандаурова, повела его в другой конец помещения и спросила:

— Вы, кажется, хотели докончить нашу беседу?

Он шепнул что-то чернорабочим, сделал несколько нервных жестов разговаривавшим девушкам и сказал:

— Что же вас еще интересует?

— Состав шлихты остался тот же?

— Я забыл об этом предупредить вас,— сухо произнес Кандауров.— Содержание солевой соды увеличено на двадцать процентов, щавельной извести и крахмала положено вдвое больше. Новый состав дает нам полную уверенность, что пряжа наберет достаточно шлихты. Кроме того, я поднял температуру раствора до девяноста градусов...

— Очень хорошо сделали,— перебила его Анна,— у меня еще одно опасение, но я не буду о нем говорить... Пока это только предположение и возможно ошибочное. Было бы неразумно из-за мелочи омрачать ваше настроение...

— Спасибо,— сдержанно ответил он.— Я вам больше не нужен?

— Сейчас, сейчас,— нерешительно протянула она, смущенная его неожиданной холодностью.— Я хотела еще спросить вас, почему вы не при-

дете ко мне... Вы ни разу не были у меня дома... Я не думаю, чтобы вы делали это умышленно, но почему бы нам не повидаться, мало ли о чем можно поговорить...

— Мне некогда ходить в гости,— резко произнес Кандауров.— Дни я провожу на фабрике, а вечера — в кругу семьи.

— Я понимаю,— покраснела Анна,— но неужели у вас не найдется свободной минуты?

— Нет, Анна Сергеевна, я всегда занят, простите...

Он заторопился и, не глядя на нее, ушел.

Зажглись электрические лампы, и послышалось гуденье пущенного динамо,— то был сигнал к началу работы. Девушки с узловязателями в руках выстроились у шпуларен, завертелись барабаны шлихтовочной машины, из клапана вспыхнула струя пара, закружился вентилятор, тысячи ниток медленно потянулись в бурлящий крахмал.

«Не спутается ли пряжа, не оборвется ли, а вдруг сбежится?» Поток мыслей казался безостановочным. Анна стояла у рамки, лицо ее пылало от недавней обиды, а глаза приникли к тому месту, где накрахмаленные и высушенные нити водопадом неслись вниз на медленно вращающийся вал. Кандауров стоял у противоположной стороны машины и следил, как мелькали узловязатели в руках девушек. Пред его глазами вытянулась тысяча ниток, скользили крошечные узелки сквозь редкий гребень в кипящую жижу и дальше — на огромный горячий барабан. Чернорабочие сидели на пустых ящиках, а у самых дверей, в тени шпуларен, прислонился к окну Телебукин.

Было уже светло, когда шлихтовочную машину остановили: опыт удался.

(Окончание следует).

Моя жизнь

С. Подьячев

(Продолжение)

В Питер поезд наш приполз рано утром. Вместе с другими я вышел на площадь. Было сыро. Моросил дождь.

Постояв и не зная, куда итти, я обратился к стоявшему неподалеку рослому с медалями на груди городовому.

— А где бы здесь чайку попить? — спросил я.

— Чайку? — переспросил он, оглядывая меня.— Ты, что же, приехал что ли сейчас?

— Да.

— Та-ак! Значит, чайку тебе? Та-ак! Ну, иди вон туды,— махнул он рукой влево,— там найдешь. Грамотный небось?

Я сказал ему спасибо и отправился по указанному направлению.

Направил он меня, как я узнал после, на Лиговку, где я вскоре нашел чайную и вошел в нее. Чайная, против московских вонючих и грязных трактиров, показалась мне и чистой и светлой. Народу было немного, и народ был какой-то другой, чище одетый и не такой грубо-горластый, как в Москве.

Здесь, в этой чайной, я хорошо отдохнул после далекой утомительной езды в переполненном, грязном и душном вагоне. Уходить не хотелось, да и куда итти?.. Хозяин чайной, видя, что я напившись чаю, так долго зря занимаю место, стал поглядывать на меня сердитыми глазами; и мне в конце концов пришлось покинуть чайную.

Поехал я в Питер с целью попасть к Скабичевскому, письмо которого ко мне у меня было с собой. Достав это его письмо, я прочел адрес: «Фонтанка, близ Цепного моста, дом № . . .», и стал спрашивать кое у кого, как туда пройти.

Между тем, пока я сидел в чайной, погода стала лучше. Дождь перестал и прояснило. Я вышел на Невский и, идя по широкому тротуару по направлению к Неве, удивлялся и многолюдству этой улицы и ее ширине, чистоте и богатству магазинов. Многоводная широкая Нева поразила меня своей красотой. Я долго стоял на набережной, любуясь ею.

В конце концов, я разыскал Фонтанку и дом, где проживал Скабичевский, но войти к нему на квартиру побоялся. Что-то, какая-то странная ро-

бость останавливала меня. Несколько раз я прошел туда и обратно мимо его дома, но, помню, начало уже смеркаться, когда я, не поборов свою робость, отошел от этого дома, направляясь, в буквальном смысле слова,— куда глаза глядят.

Погода опять переменилась, опять засеял дождь, и кругом как-то все затуманилось, затемнело неприятно и тоскливо. Засветились огни и в фонарях, и в окнах магазинов. Я опять попал на Невский, и здесь картина, которую я увидел, заставила меня остановиться.

Вдоль улицы, по обеим сторонам, мчались экипажи. То-и-дело слышались возгласы кучеров и извозчиков: «Эй, берегись!» По тротуарам двигалась лавина людей, и все это — и быстро несущиеся экипажи, и толпа людей — все неслось и двигалось в каком-то темно-сером тумане, а над улицей сверху стояло и, казалось, тихо спускалось что-то страшное, черное. Чувство лютой скорби охватило мою душу. Я горько почувствовал свое одиночество, свою ненужность здесь, среди чужого мне города.

Не помню теперь, как я попал, какими путями, уже поздно вечером в подвальный притон-ночлежку, где-то в глухом месте, на берегу какого-то канала и здесь застрял.

Когда я спустился вниз по каменным ступенькам в помещение ночлежки, то там уже было полно народа и стоял сплошной, смешанный гул человеческих голосов. Я пристроился, нашел себе место, сел и потихоньку стал поглядывать по сторонам. Сразу было видно, какой народ находился здесь. Оборванцы с опухшими лицами, обтрепанные страшные бабы, какие-то отставные старые солдаты, бородатый пропойца-монах, в длинном подряснике нараспашку. Из этого помещения, где можно было пить чай и закусывать, вела открытая дверь в другое помещение, где видны были нары. Там была ночлежка или, по-питерски на языке босяков,— «гоп».

За столом вместе со мной, на другом конце, сидели двое. Один — высокий, с курчавыми волосами на голове, запрокинув голову, прислонясь затылком к стене, сидел вытянув ноги, и курил, тихо пуская колечки дыма к потолку. Другой, худощавый, плотный, с клочковатой жидкой бороденкой, одетый в длинный, подпоясанный концом веревки дипломат, ерзал на стуле, чесался, кашлял, харкая на пол, то-и-дело шмыгая носом. Они только что поели какую-то маленькую зажаренную на сковородке рыбешку, а перед едой, очевидно, выпили, потому что от них пахло водкой.

Худощавый беспокойный мужиченка часто поглядывал на меня и, видимо, ожидал, не скажу ли я что-нибудь. Я делал вид, что не замечаю его. Наконец, он не вытерпел и, потянувшись ко мне через стол бороденкой вперед, спросил:

— Ты что за человек?

— А что? — в свою очередь спросил я.

— Да так. Не видал я тебя здесь на нашем гопе ни разу!

Я помолчал и потом сказал:

— Приезжий я. Дальний. Забрел вот сюда, сам не знаю как.

— А чей дальний-то?

— Московский,— ответил я.— Московской губернии.

Молодой малый, сидевший запрокинув голову, прислонясь затылком к стене, услыхав, что я сказал, быстро повернулся в мою сторону и спросил:

— Какого уезда?

Я назвал уезд.

— Земляк мой! — радостно, как мне показалось, воскликнул он.— Я ведь тоже тамошний.

Оказалось, что мы из одного и того же уезда, и даже волости наши рядом.

— Выпить бы что ли по этому случаю,— сказал худощавый мужиченка, щуря глаза.— Спрыснуть бы радостную встречу. Ты как, располагаешь деньгами-то аль нет? — обратился он ко мне.

У меня, было, осталось немножко деньжат да узелок с бельем: пара рубах, полотенце. Я ответил, что денег у меня мало.

— А ты, что же, ночевать здесь будешь? — опять спросил худощавый мужиченка.

— А можно здесь?

— Устроим! Все, землячек, устроим,— сказал молодой, мой земляк. Мы здесь люди свои, постоянные. С нами и тебе хорошо будет. Паспорт-то есть?

— Есть!

— Отлично! Да, если бы и не было, наплевать. И без паспорта устроим. А выпить не повредило бы. Ну-ка, не соорудим ли на цельную? Неробкий,— обратился он к своему приятелю,— выкладывай капиталы. С носу по грошу, авось, наберем!

Сделали складчину, я принял участие в ней. Появилась водка. Пили чайным стаканом, «лошадиной порцией». Я быстро захмелел. Что-то кричал, спорил. Потом, не знаю уж как, новые мои приятели втащили меня в ночлежку и бросили на нары.

Проснулся я на этих нарах рано утром. Все еще спали. И за окном было темно. На стене горела какая-то коптилка-лампочка. Слабый свет падал на желтые, грязные, с подтеками сырости стены и на низкий, закоптелый потолок. Спертый, вонючий воздух стоял в «гопе», и свет лампочки издали казался окруженным каким-то туманом.

Лежал я на голых досках, между своих новых знакомых, которых, кстати сказать, я вчера еще узнал и не забыл, как звать. Молодого, назвавшегося моим земляком, звали, как он сказал мне, Гришкой, по фамилии — Поярковым. Другой не сказал своего имени, а, ухмылясь, сказал свое прозвище.

— Неробким меня зовут,— сказал он и повторил с ударением: — Неробкий!

— Это его за храбрость так прозвали,— пояснил молодой.— Он никого не боится, и первое его удовольствие на кулачки драться да песни петь. Ты не гляди на него, что он такой с виду. Он, брат, здоровый чорт! Гляди, у него руки-то висят до пяток. Редко какой устоит, коли он даст раза.

Вскоре ночлежники начали просыпаться. Проснулись и мои товарищи. Узелка с бельем около меня не оказалось. Я спросил, где он.

— Эвося! — воскликнул Неробкий,— забыл что ли? Вчера, небось, сам продавал. Эка, друг, память-то у тебя вдовья. А тебе, что же, жалко дерьма? Авось, чай, видел рубашки-то. Небось, не они тебя нашли, а ты их. Ты толкуй, как нам поправиться, а рубашки дело нажитое. В шелку еще, может, будешь ходить. Живы будем — и рубашки будут. Деньжат-то еще осталась малая толика? Чекалдыкнем что ли, а?

Не дожидаясь нашего согласия (мой земляк Поярков лежал навзничь и хмурился), Неробкий побежал куда-то за дверь в помещение закусочной, где уж слышно было, как хозяин пощелкивает за стойкой на счетах, и вскоре с веселой ухмыляющейся рожей, по которой сразу можно было понять, что дело сделано, возвратился назад.

— Где это ты так скоро добыл? — спросил я.

— Эва, где! У нас, друг, не забалуешь. Чик и готово. У хозяина взял. А где же больше!

Стали пить.

Трое суток прожил я с ними. Все, что было у меня, все прожилось, и меня, в конце концов, «выставили».

Я очутился на улице без гроша денег, грязный, с невыносимой тоской, терзавшей мою душу. Надвигалась ночь. Надо было где-нибудь укрыться. Но где?

Проходя около ворот какого-то дома, я помешал (наткнулся на него) дворнику, подметавшему около ворот.

— У-у-у, чорт вас носит! — крикнул он.— Не видишь, на человека лезешь, чорт серый! — Он замахнулся метлой и хотел ударить, да не ударил, а опять прорычал:

— В участок захотел, пьянчуга несчастная! Сволоку, вот узнаешь.

— Волоки! — завопил я, глотая слезы,— волоки, сволочь! Волоки!

Не помня себя, я полез на него. Он начал пятиться от меня под ворота.

— Отстань, чорт не нашего царя! — выставив против себя вперед метлу, крикнул он,— отвяжись, анафия проклятая! В участок стащу!

Он скрылся за углом, а я, весь переполненный обидой, глотая злобные слезы, побежал дальше.

Очнулся я где-то за Невой, на Васильевском острове и там попал в участок. В участок я пришел сам. Паспорт у меня был. Придя, я попросился, чтобы меня «посадили», как какого-нибудь пьяницу-скандалиста на ночь, в «холодную». Помню, надо мной посмеялись, долго расспрашивали, чей я, откуда и т. д. В конце концов, оставили ночевать.

Рано утром, когда только чуть-чуть начало светать, меня и ночевавших со мной бродяг и жуликов «выгнали» на двор, где заставили пилить и колоть дрова. Часа через полтора меня освободили и выгнали на улицу. Было еще рано, итти некуда. В кармане ни копейки, настроение невыносимо гнетущее.

Стыдно было явиться к Скабичевскому в моем грязном, провонявшем запахом ночлежек, костюме. Но после долгих колебаний, после хождений

около дома, все-таки, наконец, решился и пошел. Дело было часу в одиннадцатом утра. На квартиру прошел я с черного хода. Встретила меня на кухне, с испуганным лицом, прислуга — не то кухарка, не то горничная.

— Вам... тебе кого? — спросила она.

Я сказал.

— А зачем тебе?

— Надо.

— Подожди, сейчас я.— Она повернула хвостом и скрылась за дверь.

И вот, немного погодя, вышел ко мне одетый в халат, с одутловатыми щеками, пожилой, среднего роста мужчина. Он остановился и вопросительно смотрел на меня. Я назвал себя. Упомянул о его письме ко мне.

— А, помню, помню! — воскликнул он.— Что же вы здесь стоите, проходите, пожалуйста, прошу.— Он бегло оглянул мой костюм и опять повторил: — Пожалуйства, прошу.

Вслед за ним я прошел в какую-то узкую комнату, где он предложил мне сесть и сам сел напротив. За стеной, в другой комнате, слышен был разговор и звяканье посудой. Он стал спрашивать меня, как я попал в Питер и зачем, и понравился ли он мне.

— Что же вы намерены делать теперь? — спросил он.

Я не нашелся, что ответить.

— Талант у вас несомненный,— пристально глядя на меня, опять начал он.— Но... но одного таланта мало. Надо учиться. Читать больше, а, главное, писательское дело — это уметь наблюдать то, что, так сказать, закрыто одеждой. Вы меня понимаете.— Он помолчал, что-то думая, и, не спуская с меня глаз, спросил:— Здесь в Петербурге думаете остаться?

— Нет,— ответил я.— Навряд ли останусь. Уйду.

— Чем скорее, тем лучше,— улыбнувшись, сказал он.— Уезжайте.— Он опять, как и давеча, посмотрел на мой костюм и мягко, и понизив голос, спросил:

— Вы нуждаетесь?

Я промолчал, чувствуя, что краснею.

Он быстро поднялся и, сказав: «Я сейчас», скрылся за дверью, куда-то в другую комнату. Прошло минут пять-шесть, и он снова появился передо мной.

— Вот,— сказал он и сунул мне в руку бумажку,— пожалуйста, возьмите... сколько могу... на дорогу вам... вот.

Он посмотрел на меня, я на него,— и оба мы, дающий и принимающий, сконфузились, и, судя по себе, думаю я, что и ему было не по себе. Сразу обоим нам говорить стало не об чем.

— Всего вам хорошего! — заторопился он, подавая руку.— Всего хорошего! Повторяю: талант у вас несомненный, но-о... Будьте здоровы. Будьте здоровы.

Очутившись на улице, я посмотрел даденную им бумажку. Оказалось — пять рублей. Чувство какой-то особенно жгучей обиды и злости наполнило мою душу.

— Эх, Семка, Семка,— припомнились мне почему-то слова отца,— неужели и ты такую же чашу пить будешь, какую мы пили!..

Пройдя бесцельно улицу, я утомился, как-то ослаб и присел, прислонясь спиной к стене на каком-то выступе. Мимо меня справа и слева шли люди, не замечавшие и не обращавшие на меня внимания. Но, вот, вдруг, какой-то человек, как сейчас гляжу на него, высокого роста, с седой бородой, приостановился около меня, достал из кармана длинного пальто монету-медяшку, подал ее мне и потихоньку сказал:

— Прими, христа-ради...

...Пятерка, полученная от Скабичевского, не пошла на пользу, а, наоборот, снова натолкнула меня на пьянство. Я пропил ее с каким-то гнусавым нищим, называвшим меня «ваше сиятельство». Пил я с отвращением и злобой, стараясь залить, заглушить там где-то сидевшего во мне другого меня, стыдившегося меня, кричавшего отчаянным голосом: «Брось, брось, брось! Опомнись, опомнись, опомнись!..» Но напрасно тогда вопил этот другой я, и напрасно он вопил и еще после того многое множество раз, пока я не понял.

Впрочем, забегать вперед не буду. Всему придет свой черед. Итак, пропив пятерку, я утром встал без гроша денег, без возможности куда-либо сунуться здесь, в этом огромном городе, к людям, грязный, противный самому себе. «Что делать? Кому я нужен? На кого надеяться?» — думал я, и тогда же увидал и понял, что надеяться мне нужно только на самого себя, не падать духом и, невзирая ни на что, ни на какие трудности, отправляться пешком домой, на родину.

Ухватившись за эту соломинку, я почувствовал себя бодрее и тут же, «не долго думая», как был, в своем нищенском костюме, отправился, точно это было где-нибудь рядом, а не за шестьсот верст, к себе домой, на р о д и н у.

Не меньше месяца плелся я «пеш» от Питера к Москве и чего-чего только ни перевидел и ни перенес во время этого путешествия.

Путешествие это было после описано со всеми подробностями. Получилась солидная тетрадь, озаглавленная «Домой». Тетрадь эту я отнес в Москве издателю Сытину, торговавшему тогда еще на Старой площади, кажется, на том месте, где теперь огромное здание Наркомзема. Принял у меня ее какой-то пожилой приказчик, сказавший мне между прочим: «Мы все издаем. У нас сойдет». Рукопись у меня там пропала. Пропала по моей вине, ибо жизнь закружила меня, и не пришлось узнать, что стало с рукописью, и не пришлось побывать там и взять ее обратно.

Вышел я из Питера за неделю до Покрова, т. е. в последних числах сентября. Погода на мое счастье все время стояла хорошая, и в ту сторону, по тому же направлению, куда шел я, т. е. на юг, высоко в прозрачной, холодной лазури пролетали еще изредка, с какими-то тоскующими криками, запоздавшие журавли.

Первый мой этап-остановка была на станции Саблино, первая, кажется, станция от Питера. Пришел я сюда уже перед вечером и, пройдя в конец

платформы, сел на скамью. Дальше по шпалам итти было нельзя, потому что начало быстро темнеть. Надвигалась длинная осенняя ночь.

Пока сидел, раздумывая, что делать, куда итти, мимо прошло два поезда — один из Питера, другой из Москвы. После их отхода на станции сделалось тихо и безлюдно. Я сидел, не зная, как быть, и в конце концов обратил на себя внимание какого-то человека с горящим фонарем в руке. Человек этот раза три прошел мимо, искоса поглядывая на меня. Потом остановился и спросил:

— Ты чего здесь сидишь?

— Отдыхаю,— сказал я.

— А ты кто такой?

— Прохожий.

— Здесь не полагается сидеть. Куда идешь-то?

— В Москву.

— Что-о-! — Удивленно воскликнул он и засмеялся. — Будя врать-то! Когда же ты придешь туда?

— Когда-нибудь приду.

— Ох, а не врешь ты? Что-то, брат, не похож ты на прохожего. Что же тут-то тебе надо, на станции-то?

— Да не знаю вот, где бы переночевать?

— Гмм. Переночевать! Чудак человек, где же ты здесь ночуешь? Деньги есть?

— Нет.

Он подумал что-то, приглядываясь ко мне, и сказал:

— Ну, что уж с тобой делать. Пойдем, дам тебе ночлег.

Он привел меня в какой-то чулан, осветив его своим фонарем. На полу в этом чулане стояли какие-то железные — очевидно, под керосин, которым сильно пахло — бочонки. Пол был черный, асфальтовый. Стены голые. В углу, в сторонке стояла скамейка, на которую он поставил фонарь.

— Ну, вот тут и ночуешь,— сказал он.— Вот на скамейке-то на этой ляжешь. Небось, не велик господин-то, уснешь. Не бойся. А коли страшно станет, богу молись. В бога-то веришь? А царя, государь-императора признаешь, а?

— Зачем ты это спрашиваешь-то?

— Так, милый, так... разные тоже по нынешнему время бывают прохожие... разные. Ну, ты садись, посиди маленько один, а я в одно местечко сбегаю, сейчас приду.— Он вышел, хлопнув дверью, и запер ее с той стороны ключем.— Посиди! — крикнул он,— сейчас я.— Слышно было, как он пошел куда-то, топая сапогами.

Ждать пришлось недолго. Он вскоре возвратился обратно, но не один, а с молодым, красномордым, с закрученными, как у немецкого Вильгельма, усами жандармом.

— Вот,— сказал он, обращаясь к жандарму, кивнув в мою сторону,— этот самый молодчик. Гляди, какой гусь. Говорит: прохожий, в Москву идет.

а по-моему — он из энтих, долговолосых-то. Хы, хы, хы! В Москву? Оно и видно!

Жандарм посмотрел на меня, нахмурился и грозно спросил:

— Паспорт!?.

Я, дивясь на них, подал ему свой паспорт. Он взял его, еще больше нахмурился и, поднеся бумажку к фонарю, стал читать.

— Таа-а-к,— произнес он, проглядев паспорт.— Вид настоящий. А ты, что же, пропился, что ли? Да ты, сукин сын, не врешь ли, а? Вас, чертей, теперь развелось — девать некуда. С рыла-то ты не похож на прохожего. Социалист ты, сволочь, а? Говори, а то пришибу на месте!..

— Подозрительная личность, по всему видно,— вставил свое мнение приведший меня сюда на ночлег человек.— Гляжу, сидит на скамейке, не уходит. Что, думаю, ему здесь надо?

— Вид у него исправный,— помолчав сказал жандарм,— а там чорт его знает, кто он. Канителься со всяким дерьмом... Ступай отсюда к чортовой матери и больше никаких! — крикнул он, обращаясь ко мне.

— Куда же итти,— сказал я: — ночь, тьма...

— Ну, не издохнешь и на улице,— сказал жандарм.— Небось, не первый раз. Авось, не барин какой, лег где-нибудь в канаву и спи. Теперь не зима,— каждый кустик ночевать пустит. Иди-ка, брат, пока цел. Н-нну, живо!

Они вывели меня из чулана на пустую платформу, провели по ней до ее конца, и здесь остановившийся жандарм сказал, махнув рукой вперед, где стояла тьма и кое-где мерцали по пути огоньки:

— Вот тебе дорога в Москву. Ма-арш!

Он толкнул меня в спину, и я, споткнувшись и чуть не упав, очутился внизу за платформой.

...Слова жандарма: «Лег где-нибудь в канаву и спи», исполнились: ночь я провел на воле, устроившись на старых, сложенных клеткой шпалах.

Долог и утомителен был путь мой. Целыми днями я шел по железнодорожному пути, а перед вечером сворачивал куда-нибудь в сторону, в деревню, где просился ночевать и где меня почти постоянно кормили. Сами садятся ужинать, и никогда не случалось, чтобы не сказали:

«Прохожий, садись с нами, поужинай, чем бог послал».

В дороге я обтрепался, загрязнился и обовшивел. Переодеться было не во что, и рубашка на мне была, как говорят в деревне, «огню присечь». Бабы на ночлегах расспрашивали меня, женат ли я, живы ли мои родители. Ахали, покачивая головами, и говорили: «Каково родителям-то на эдакое вот чадушко смотреть. Каково материнскому-то сердцу. Ждет, небось, мать-то, думает: «Где он, сынок родимый. А он — эва, возьмите его!»

Утром я не уходил без завтрака. В деревне бабы-хозяйки печки затопляют рано, готовят завтракать — обыкновенно в большинстве случаев варят картошку и, когда поспеет, ставят чугун на стол: «Ешьте».

— Эй прохожий,— слышишь, бывало, еще лежа где-нибудь у порога на полу на подостланной соломе,— вставай! Картошка поспела!

И на дорогу, бывало, дадут и хлеба, и картошки.

...Помню, подошел я к реке Волхову. Дело было перед вечером. По железнодорожному мосту меня не пустили, а за перевоз в лодке на ту сторону баба-перевозчица просила три копейки.

— Да нет у меня денег. Перевези, сделай милость, так,— взмолился я.

— Эка ты склизкой какой,— сказала бабенка.— Много вас, дерьма. Тебя перевези, другого перевези... Давай деньги!

— Да нет!

— Ну, на нет и суда нет — иди с богом, куда идешь.

В кармане пиджачишки уцелел у меня платок, превратившийся в грязную тряпку. Этот платок выручил меня. Я предложил его бабенке за перевоз. Она взяла его в руки, встряхнула, подумала и сказала:

— Ну, уж ладно, садись перевезу.

...А то, помню, заблудился я и ночевал в лесу, в болоте. Дело это случилось в Новгородской губернии. Перед вечером я, по обыкновению, свернул с полотна железной дороги в сторону, чтобы дойти до первой деревни или села и переночевать там. Свернул я на какую-то плохо наезженную дорогу, уходившую в мелкорослый лес, и пошел по ней. Чем дальше шел, тем все хуже и хуже делалась дорога. Наконец, она как-то затерялась, превратилась в тропку, и тропка эта привела меня в кочковатое, поросшее нечастыми корявыми сосенками болото.

В болоте увидел я растущую и по кочкам и так клюкву в таком множестве, что я просто рот разинул от удивления. Была она крупная, сочная. Я стал набирать ее себе в карман, сойдя с той малоприметной тропки, которая привела меня в это болото. Пока канителился, быстро стемнело. Сунулся, было, назад, да, очевидно, ошибся, не попал на тропку, и получилось то, что куда ни сверну, почва под ногами колышется, как какой-нибудь пружинный матрац.

«Батюшки-светы», думаю себе: «Вот попал-то! Что делать?» Пошел, было, вперед на авось и увязил ногу по колено в какую-то жидель. Выдернул. Испугался и сразу увидел и понял, что итти мне нельзя, ибо сделалось темно, и если — думал я,— не зная места, пойду зря в потемках наугад, завязну в болоте, пропаду.

Испугался еще больше. Сел под сосенкой на кочку, скорчился, и как-то сразу сделалось мне до того жалко самого себя, что чуть не заплакал.

Совсем стало темно, и вместе с темнотой чувствовал я, как охватывает меня со всех сторон холодная сырость. Где-то, не так далеко, слышно было, как прошел поезд, и после его прохода наступила мертвая пугающая тишина. Я сидел, скорчившись, в совершенной тьме, жадно прислушиваясь, чтобы услыхать что-нибудь, но ничего не было слышно. Поднялся, крикнул что было голосу: «Гоп!», в надежде, не услышит ли кто-нибудь. Но этот крик мой прозвучал глухо, точно кричал я в каком-нибудь погребе под землей.

Снова сел, скорчившись, на кочку и, чтобы чем-нибудь, так сказать, утешить себя, стал сочинять шуточное стихотворение. Помню его и сейчас. Вот оно:

Дошел, наконец, я до точки,
Сижу вот в болоте на кочке.
В болоте, наверно, есть черти...
Избавь меня, боже, от смерти,
Не дай мне погибнуть в болоте,
Куда я зашел по охоте,
Гоняясь за крупною клюквой,
Как будто за девкою пухлой...

От этой ерунды стало веселей. Махнув на все мысленно рукой, я скорчился еще больше и задремал.

Под утро на меня напала такая дрожь, что я буквально не попадал зуб на зуб. Когда-то, когда-то начало, наконец, белеть! Где-то влево от того места, где я сидел, вдали послышался петушиный крик. За ним другой, третий. Начало рассветать, опять запели петухи,— и я с окоченевшими членами, осторожно ступая, двинулся по направлению петушиного крика.

Теперь, утром, дело было совсем другое. Страх прошел, и я вскоре же выбрался из болота прямо в поле, за которым видна была деревня с поднимавшимся над ней дымом. Перезябший, но обрадованный тем, что выбрался, я побежал к этой деревне, название которой сохранилось в моей памяти. Называлась деревня «Елизаветино». Здесь меня и обогрели и покормили.

Близ Твери есть монастырь, называемый «Отрочь монастырь». Известен он тем, что в нем, когда-то, во времена царя Ивана Грозного был по приказу этого Грозного убит, задушен, Малютой Скуратовым — митрополит Филипп. Этот монастырь был на моем пути, и я зашел в него. Хорошо зная монастырские порядки, зная, как это делается, мне удалось пообедать на трапезной и получить на дорогу несколько «укрухов», т. е. ломтей мягкого хорошего хлеба. Да помимо всего этого, игумен — толстенький, небольшого роста, лупоглазый монах — дал мне двадцать копеек медью. Деньги эти после мне очень пригодились.

Попался я ему около его «покоев», когда он сходил по ступенькам с крыльца. Не зная, что это игумен, я прошел было мимо, да он остановил меня, крикнув:

— Раб божий! Эй, раб божий! Постой-ка, погоди!

Я остановился.

— Обожди,— опять повторил он, подойдя ко мне.— Что же это ты, раб божий, не кланяешься-то? — спросил он, остановившись против меня.— Бежишь, как с цепи сорвался — не кланяешься!

— Кому кланяться-то? — спросил я.

— Как кому? Мне! Мне кланяйся. Я, небось, здесь не чурка какая-нибудь, а игумен. Куда господь несет? Откуда? Чей? Из духовных, что ли,

ты, а? И не дожидаясь, что я скажу ему, взмахнул широким рукавом подрясника, благословил меня и сунул руку к моим губам.

— Куда идешь-то? — опять спросил он.— Откуда? — И опять не дождавшись ответа, воскликнул: — Ах, вы необузданные, необузданные! Пропился, знать, а? Говори: пропился, а? Нехорошо, раб божий, нехорошо. Небось, отец, мать есть, живы, а? Женат, а? Хы! Ну, ну! Ох вы, ребяты, ребяты, бить-то вас некому! Ну, на тебе! Н-на! От трудов моих праведных даю. Н-на! Годится.

Он полез в карман, достал оттуда медяки и сунул мне в руку.

— Прими, христа ради, годится!

И прежде чем я успел сказать ему что-нибудь, он повернулся и быстро пошел от меня прочь, махая на ходу широкими рукавами подрясника...

В Твери поздно ночью удалось мне потихоньку забраться на площадку вагона товарного поезда и проехать до следующей станции. Может быть, я еще проехал бы, да под утро на рассвете сделалось холодно, ветрено. Я весь продрог, сидя на площадке, и, доехав до станции, до остановки, соскочил и побежал на вокзал греться.

Приближалась родина, и чем меньше оставалось итти до той станции, с которой шла дорога домой, тем все хуже и хуже чувствовал я себя. Страшно было итти домой. Страшно и стыдно. Главное же — жалко было огорчить мать, на которую мое появление дома в таком виде произвело бы убийственное впечатление. С другой стороны, положение мое было безвыходное. Так, по крайней мере, мне казалось. Наступала зима. Я раздет, разут, грязный, вшивый! Куда мне деться?

Но... но судьба вела меня по своему назначенному ею пути. Выход из скверного положения нашелся.

Случилось вот что.

На станцию, при большом торговом селе, от которого до дому оставалось пройти мне верст двадцать-тридцать, попал я в базарный торговый день. Все трактиры были переполнены народом. Погода на удивление стояла теплая, солнечная,— нельзя было и думать, что на дворе конец октября.

У меня уцелел пятачок из денег, даденных игуменом, и не будь этого пятачка, не случилось бы того, что случилось. В те времена за пятачок можно было напиться чаю, да еще в придачу с двумя кусками сахару.

Войдя в грязный низенький трактирчик, переполненный народом так, что не было свободных столов, где бы можно было сесть, я ходил по трактиру позади какой-то бабы, тоже, как и я, высматривавшей местечко, где бы приткнуться к столу — сесть. Шляясь так по трактиру, я видел, что возбуждаю своей фигурой любопытство у многих, сидящих за столами, так называемых по-трактирски, «гостей».

За одним из столов, у окна, в которое падали косые осенние солнечные лучи, сидел, распахнув на груди теплый на овчинах пиджак, бородатый, с красным лицом, с посоловелыми глазами пожилой мужик и тоненьким бабьим голоском старательно выводил, пел:

Ах, да не велят Маше за реченьку ходить,
Не велят Маше молодчика любить,
Ах, какова же любовь на свете горяча!
Стоит Машенька, заплаканы глаза,
У красавицы затерты рукава...

На столе перед ним стояли наполовину выпитая полбутылка водки, стаканчик, сковородка с жареной колбасой, куча белых плюшек и чайный прибор.

Я остановился около этого стола и, подождав, когда мужик перестал петь, сказал:

— А что, земляк, нельзя ли мне пристроиться за твоим столом? Вот здесь, с краешку. Я тебе не помешаю.

Он уставился на меня, долго смотрел и потом, точно спохватившись, что долго молчит, торопливо и, как мне показалось, обрадовавшись, заговорил:

— Садись, садись! Садись, душа моя, садись! Чайкю испить хочешь, а?

— Да.

— А я вот, видишь ты, душа моя, гуляю. Винцо пью.

— С чего же это ты загулял-то?

— Хозяин меня, душа моя, потчует, угощает. Угольник я... Калуцкой... Понял? Уголья жгу...

— А где же хозяин-то?

— А он на дворянской половине. Эна, тама! Трое их тама в отдельной каморке сидят... Все, все трое хозяева-рощенники. Бо-о-гатый народ все. Нас, знамо, душа моя, с собой за стол не посадят. А ты, что же, без делов, знать, ходишь, а? Плохо уж очень одет-то ты. Пропился, знать, душа моя, а? Хошь, поднесу стакашик? Выпьешь, небось? — Он засмеялся, показывая ровные белые зубы.

— Аль не будешь, откинешь?

— Давай, не откину.

Он налил стаканчик и подал его мне.

— Кушай, душа моя, на здоровье. Закуси, возьми вон, колбаской. Бери, бери, не бойся. Нам не жалко. Хозяин еще купит. Так без делов, говорю, ходишь, а?

— Да.

— Ишь ты, вот правду пословица говорит: «на ловца и зверь бежит». Оставайся, душа моя, у меня, ко мне работать иди. Мне такой-то вот, как ты, человечек-то и нужен. Подходящий ты для меня, ей-богу!

— Как это к тебе? — спросил я.— Что у тебя делать?

— Дело найдем. Чудак человек! Что делать?! Уголья жечь будем с тобой. Мне без человека нельзя. Один у меня уж есть, подыскан, нанят. А одного мало, другого надо. Паспорт у тебя есть?

— Есть.

— А боле нам ничего и не нужно. Оставайся. Спрыснем сейчас тебя, ей-богу, и как хорошо-то будет! Чудак, ты погляди-ка-сь на себя: кто тебя такого возьмет — никто! А у меня ты сойдешь. Нам такого-то, говорю,

и надо. Куда ты такой сунешься! А у меня ты будешь в теплоте, кормить буду, чаем поить, водочки когда поднесу.

— А сколько же ты мне положишь за работу? — спросил я.

— Это, то-ись, деньгами, что-ли?

— Ну, да!

— Ничего я тебе деньгами не положу. Из-за хлеба я тебя беру. Хлебом кормить буду. Может, со временем услугу твою увижу, старанье, и деньжонками побалую. Да ты, душа моя, говори слава богу, на меня наскочил. Тебя ведь и из-за хлеба не возьмут, побоятся.

Неприятно, тяжеловато было мне слушать такие речи, а что поделаешь — приходилось слушать.

— А как же без денег,— сказал я.— Вот у меня, например, рубашки нет, только вот что на мне, а куда она годится? Как же быть-то?

— Эва, об чем разговор. Белья мы тебе две пары купим,. а на ноги опорки. Любота, ей-богу. Еще выпьешь стакашик?

— Да-а-вай!

Я выпил еще, и на меня, голодного, усталого, эти два стаканчика быстро произвели свое действие.

— Ну, так как же, душа моя, согласен, что ли? — спросил угольник, с улыбкой глядя на меня.

Я молчал. Было обидно. Было стыдно за свое унижение. Я медлил ответом, хотя уже знал, что ответ будет для него благоприятный.

— Значит, ежели,— начал, было, он, да вдруг оборвал сам себя и вполголоса, совсем каким-то другим тоном произнес: «Эна, хозяин идет сюда. Молчи пока».

Я обернулся и увидел тихо шедшего в нашу сторону здоровеннейшего красномордого, одетого в синюю, хорошего сукна поддевку мужика. От него торопливо сторонились, угодливо давая ему дорогу. Подойдя к нашему столу, он остановился, подбоченился, ухмыльнулся и, разевая огромную, с лошадиными зубами пасть, охрипшим голосом сказал:

— Ну, как, Анисим Кузьмич, дела? Гуляешь! Гуляй, гуляй. Требуй, что надо, мы отдадим. Требуй! — И, окинув меня глазищами, белки которых были покрыты кровяными полосками, спросил:

— А этта что же за гусь такой околачивается колю тебя?

— А это-с, Митрий Иваныч, нанимаю его к себе в подрушные,— ответил угольник.— Ряжусь с ним.

— На кой-те такое дерьмо? Нешто он будет работать, гляди-ка на него.— Ты,— обратился он ко мне,— кто ты такой? — И, видя, что я молчу, зарычал: — Оглох, что ли! Кому я говорю-то, чо-о-рт!

— У него-с, Митрий Иваныч, вид есть. Все у него в исправности, а так, сами знаете, ослаб человек, опустился, пропился грешным делом. С кем-с не бывает, а для меня он подходящее лицо. Бельишко вот ему надо справить, лапотенки какие-нибудь на ноги. Разут, раздет чловек.

— Человек... гы. Человек? — сказал тоже! Ну, гляди, тебе видней, а мне наплевать.

— Деньжонок бы, Митрий Иваныч, дали бы вы-с мне вперед. Нужны-с.

— Кому деньги не нужны? — сказал хозяин.— Денежки не бог, а милуют лучше. На что тебе? Много ли нада-то?

— Да рубликов десяток надо!

— Гмм. Ну, что же, н-на—получи! Мне все одно—не убежишь. Н-на! — Он достал из бокового кармана толстый бумажник, открыл его, порылся в деньгах и, достав красненькую бумажку, подал ее угольнику.

— Когда на дело-то пойдешь?

— Завтра утречком.

— Ну, ну! Так, так! Значит, берешь гуся-то? — кивнул он на меня.

— Пойдет, так возьму.

— Как, чай, не пойти — он небось рад-радешенек... Ну, одначе, вот что: на той неделе я побываю у тебя на заводе. Приеду. Погляжу, как там. Недосуг мне все. Другая роща наклевывается, купить хочу... Забота все... везде все сам... народ-то ноне какой — обмануть все норовят тебя. Завтра, значит, ты на месте будешь, к делу приступишь? Ну, дай бог в час. Гуляй пока, требуй. Что же винца-то у тебя мало? Бери, заказывай! Эй, ты! — крикнул он полового,— подь сюда!

Половой, махая руками, подлетел к нему.

— Чего извольте-с?

— Вот что: что напьют, наедят за этим столом — я плачу. Понял? Что потребуют — давай! Скажи буфетчику Якову Петрову — я, мол, велел. Знаешь меня?

— Помилуйте-с! Кто вас не знает-с?

— То-то, мол. Ну, покеда до увиданья. Так завтра на место. Ладно, ладно, побываю я. Делай там, закладывай, дрова навожены.— Он посмотрел вокруг себя и в развалку, выпятив брюхо, отошел прочь.

— Ох, и жох мужик этот! — сказал угольник, когда хозяин вышел — Счастье человеку,— продолжал он,— бог послал. Попали деньжонки в руки. Тяпнул, когда жил в Москве в дворниках у барина какого-то у пьяного, и с того разу раздул кадилу. Наш тоже, калуцкий. Рядом селы наши. Полез вот в гору и все выше лезет. Рощу по первому разу купил махонькую у барыни у какой-то. Свел. Уголь в Москву свез. Нажился. Еще купил поболе. Свел. Дале, боле: поперло дело! А теперь его голой рукой не бери: купец стал. Два дома! Я у него постоянно работаю, уголь жгу. Он хорошо меня знает. Н-нно, пальца ему в рот не клади — откусит! Отца родного не пожалеет, обдерет, коли надо, как овцу волк. Хрест последний снимет... Ну, так как же, парень, говори: пойдешь ко мне работать, аль нет?

— Покупай белье, на ноги обувь — пойду.

— За этим дело не станет. Купим! Давай пачпорт. Не вышел он у тебя?

Я отдал ему паспорт, и он, взяв его, показал сидевшему за столом какому-то похожему на дьячка человеку, сказав ему:

— Ну-кась, душа мой, ты небось грамотный, погляди-кась, годен ли вид этот?

— Годен,— сказал, осмотрев паспорт, человек, похожий на дьячка.— Куда хошь с ним иди. Хошь в Америку поезжай.

— Такой нам и надо! — сказал угольник и, аккуратно сложив, спрятал его в карман.— А теперь,— сказал он,— эй, малый, подай-ка сюда половинку да возьми сковородку, поджарь колбаски фунток. Пяток яичек не забудь толкануть! Закусим, душа моя,— обратился он ко мне,— как тебя звать, не знаю, а там увидим, что делать.

...Как говорил он, так и сделал: купил для меня на базаре пару белья, хорошие, мало подержанные кожаные опорки и к ним пару из грубой шерсти чулок. Все это в те времена стоило недорого.

Помимо этого он разыскал какого-то «цырульника», который за пятачок «оболванил» меня на улице за углом трактира наголо и сказал при этом:

— Надо бы с тебя еще пятачок взять за вшей, да уж пес с тобой — так и быть. Другой бы на моем месте плюнул бы, никаких бы денег не взял!

Поздно вечером, а дело было как раз в субботу, угольник свел меня в баню при фабрике, где у него был знакомый дворник. В бане и он, и в особенности я, вымылся на славу, почувствовав, что с моего тела слезла точно кора какая-то. Облегчение и бодрость почувствовал я после мытья, обстриженный, одетый в чистое белье.

На другой день, рано утром, напившись в трактире чаю (трактиры тогда отпирались «чем свет»), отправились мы пешком верст за десять, за двенадцать «на завод».

— Там у меня все уж припасёно,— говорил мне угольник,— струмент и все, что надо. Одежонка, то-се... чугун... спасуда. Сюда я приходил хозяина повидать, а главная причина — человечка подыскивал. Один-то у меня уж есть, говорил я тебе, а теперь вот двое вас стало. Тебя вот бог послал. Поживешь, душа моя, у меня, к делу привыкнешь. Сам, может, апосля займешься этим делом. Хлеба кусок верный, а дело не хитрое. Грязновато — это правда, да ведь и то сказать: не господа мы, ручки не боимся замарать, а грязь — не сало, потер — отстало.

Придя «на завод», я увидел большие кучи дров, так называемого «товарника», подвезенного сюда в одно место, к угольным ямам. Ям, приготовленных для кладки дров, было три. Ямы были около опушки леса на полянке. Напротив ям, шагах эдак в сорока, стояла шалашка-землянка, жилище угольников. Шалашка крыта соломой. Ход в нее со стороны ям в небольшую — только пролезть — дверку. Над дверкой маленькое квадратное оконце-гляделка, смотревшее на ямы.

В шалашке, как взлезешь в нее, около двери, по левую сторону, склалена была из половинок кирпича печка с трубой на крышу. Печка эта занимала чуть ли не половину шалашки. Она и обогревала, и в ней же варилось кушанье и пекли хлебы. За печкой под скатом крыши и направо от двери, точнее под самой крышей, устроены были на козелках три койки-нары. Небольшой из-под ящика стол на четырех столбушках, вкопанных в землю, стоял посреди шалашки; на нем обедали, ужинали, пили чай. Над

столом висела на проволочном крючке, приделанном с потолка, жестяная лампочка. В шалашке было сухо, но все пропиталось дымом и копотью.

Мой хозяин-угольник (буду звать его по имени) Анисим Кузьмич привел меня в эту шалашку, где встретил нас сильно выпивший, маленького роста, круглый какой-то, весь черный, косматый мужичишка, который, увидя нас, тоненьким голоском радостно воскликнул:

— К-а-а-во, я ви-и-жу, боже мой! Новое лицо... Милости прошу к нашему шалашу! Только хотел в лапоть на... ать, да за вами послать, а вы сами идете.

— А ты, Захарыч, опять готов,— сказал Анисим Кузьмич.— Глотнул?

— Кто празднику рад, тот до свету пьян!— весело откликнулся мужчина, названный Захарычем.— Это я с тоски, что тебя нет.

— Ну, ну, ладно, а я вот тебе подмогу привел. Эва, какой дядя-хлестало! С завтрашнего дня с утра к работе приступим. Хозяина видел. Сказывал: «Приеду как-нибудь на неделе, погляжу». Начинать надо! Ну, вот Павлыч (вчера еще я сказал ему, как меня звать),— обратился он ко мне:— гляди наше жительство. Зиму будем здесь коротать втроем. Не красна изба, что и говорить, да ладно. Не умрем, не замерзнем. Натопим, деваться от жары некуда. Баня, а не помещение, ей-богу! В печке в этой щи варить будем, кашу, хлебы печь, картошку. Я этим делом займусь, умею я. Чаек будем пить из чугуна, и самовара не надо. Водочкой когда, в праздник, обрадую. А вот он, Захарыч, песни петь мастак. На гармонике играть. У него и гармошка есть. Когда на досуге повеселит нас. Жить будем, ребята, дальше ехать некуда, ей-богу! Харчи хозяин приказал у лавочника брать под книжку, в селе вон, в ихнем,— кивнул он на Захарыча,— недалеча отсюда, за лесом версты за две. Чего еще надо! Живите, ешьте, пейте...

На другой день с утра вышли на работу. Стали «закладать» яму. Дрова, исключительно березовые, хотя и не особенно толстые, но длинные, полусырые и сырые, с непривычки укладывать было нелегко. Анисим Кузьмич то-и-дело покрикивал на меня — «учил». Захарыч, маленький, толстенький, но крепкий и ловкий, как будто шутя, весело делал привычное для него дело, напевая веселую песенку.

Не помню теперь точно, сколько времени «закладывали» мы первую яму и сколько сажен дров пошло в нее. Припоминаю, что делалось это нескоро.

После того, как дрова были уложены, их сверху, всю огромную кучу, покрыли слоем ржаной соломы, а солому сверху плотно-на-плотно засыпали «патьей». С передней стороны ямы, в «головке», сделана была в дровах самим Анисимом Кузьмичем отдушина, наполненная сухой соломой. В эту отдушину, когда вся яма была готова, утрамбована, засыпана патьей, Анисим Кузьмич «пустил дым», то есть поджег солому и хворост. Отдушину эту он немного погодя тоже засыпал патьей, и огонь постепенно стал делать свое дело. Яма задымилась. Теперь надо было сделать, как бы огонь не пробил где-нибудь, или сбоку или наверху, ход себе наружу.

Засыпать дрова патьей была трудная работа. Трудная и черная. Все мы трое превратились в каких-то негров. Страшные черные рожи. На этих

рожах белки глаз, да еще зубы, когда приходилось говорить, открывать рот, как-то особенно резко выделялись на черном фоне. Одежда наша пропиталась и провоняла каким-то кисловато-дымным запахом. Запах этот наполнил и наше жилище-шалашку и все предметы, которые были в ней.

От физической работы на воздухе часам к двенадцати, к обеду, разыгрывался такой аппетит, что, думается, вола с'ел бы! Ох, да и с каким же удовольствием хлебаешь, бывало, щи или похлебку, сваренную Анисимом Кузьмичом!

— Ешь, ребята, ешь досыта,— говорил бывало он,— ешь, чтобы за ушами пищало.

После щей или похлебки он накладывал черной гречневой каши, мазал ее, если был скоромный день, растопленным свиным салом, а если постный— то либо льняным, либо подсолнечным маслом. Ели постными днями кашу с «провожатым», т. е. чтобы она, крутая, не очень застревала в глотке, прихлебывали из кружки водой. Хорошо было! Возвратить бы то время!..

Пущенный в первой яме дым мы ознаменовали водочкой, т. е. выпили. Анисим Кузьмич послал «сбегать» Захарыча в село в шинок за бутылкой Возбужденный, радостный Захарыч покатился за ней, как шар, и не замедлил возвратиться.

Первую чайную чашку выпил, перекрестясь предварительно несколько раз, Анисим Кузьмич.

— Ну, дай бог в час!—сказал он.—С начатием, ребята. Будьте здоровы!

— Кушай на здоровье...

Между тем, пока мы возились с первой ямой, подошла сразу как-то зима. Сперва ударил мороз, потом опять потеплело, подул ветер, нагнал свинцовых туч, повалил из них снег, и закрутила, запела свои жалобно-жуткие песни мятель-вьюга.

Заложили вторую яму, третью. Пока работали над этими ямами, первая стала прогорать — «выходить», т. е. делаться все ниже и ниже. И вот, когда она «вышла», стали из нее выгребать звенящий, глянцевитый, черный уголь и наполнять ими «спосуду» — кули. Приехали от хозяина четыре подводы, наложили кули в сани и увезли в Москву на «место», кажется, на завод Густава Листа.

Безграмотный Анисим Кузьмич вел у себя «запись» по «бирке», т. е. резал ножом какие-то одному ему понятные значки на палке. Получал он, как я узнал после, по тринадцати копеек с четверти. Вот эти-то четверти он и «записывал» по-своему на палку.

Когда первая яма опорожнилась, мы снова принялись за тяжелую работу вновь «закладывать» ее дровами. Пока работали, «вышла» другая. Так они выходили одна за другой.

Раза три приезжал на «завод» сам хозяин. Привозил с собой «угощение»: водки, белых хлебов, плюшек, колбасы. Угощал нас и мужиков, подвозивших к угольнице из рощи дрова. Он во время этих посещений постоянно был весел, ибо дела его шли отлично, чего он и не скрывал. Говорил, что выгодно купил еще рощу, которую будет «сводить» весной. Шутил

с Захарычем, заговаривал со мной, ругал, посмеиваясь, матерно мужиков-возчиков, называл их жуликами, грабителями, на что те как-то особенно унизительно-подло хихикали. Когда он уезжал, они ругали его, но в ругани этой не было злобы, а наоборот, как будто гордились им, своим братом», таким же мужиком, но сумевшим сделать дело хорошо, «тяпнуть» где-то деньжонок, завидовали ему, его счастью — «счастие бог послал», и каждый из них не упустил бы такого «счастия», если бы оно подвернулось где-нибудь.

Зима с каждым днем делалась все лютее. Сильно докучали заносы и ветры, которые особенно разгулялись в декабре. По ночам, во время сильных ветров, спать приходилось мало, потому что мы устроили очередные дежурства, необходимые для того, чтобы выходить из шалашки и глядеть, следить, не раздуло ли ветром огонь в какой-нибудь яме, не выкинулось ли пламя наружу, не нашло ли оно где-либо себе лазейку сквозь слой патьи. С вечера же мы долго не спали.

Захарыч, которого, живя вместе, я хорошо узнал, привык к нему и полюбил, увеселял нас с Анисимом Кузьмичом или веселыми рассказами, или же пением и игрой на гармошке. Я иногда вслух читал какую-нибудь книжонку, принесенную Захарычем из села, или же случайно как-нибудь попадавший к нам номер газетки «Московский листок». Раз только Захарыч принес толстую книжку и, показав ее мне, сказал:

— Вот, эта книжка так книжка. Всем книжкам книжка!

Книжка оказалась «Потерянный и возвращенный рай», старинное издание в загаженном, загрязненном, закапанном воском переплете. Вечера три-четыре подряд читал я своим товарищам-слушателям, терпеливым и молчаливым, эту книжку. В конце концов, она нам не понравилась.

— Мудрено что-то очень,— говорил Анисим Кузьмич.— Ни хрена не поймешь.

— А мне сказали — всем книжкам книжка,— сказал Захарычь.

— А кто тебе ее дал?

— Дьячок наш. А я ему сдуру-то за нее отбайки посулил дать.

«Отбайка» — это мелкий уголь, выгребаемый с хорошим из ямы. Цена ей в то время была пустяковая. Мы кое-кому спускали ее подешевле на водку.

Захарыч, как и было говорено, «происходил», по его выражению, из соседнего села, «хрестьянин». Жил в плохой избенке, крытой соломой, с женой «Грушахой», большущего роста, худой, большеротой, каменной какой-то бабой, которая не отставала от него по питью водки, напротив, по пословице: «муж за рюмку, жена за стаканчик», перещеголяла его в этом деле. Грубым басом пела вместе с ним песни.

Баба эта стирала наши рубашки и портки, а по субботам через неделю мы ходили к ней в избу париться, мыться, «лазать в печку». С утра она для этого дела топила печку и, чтобы к вечеру не «упустить» из нее жар, пораньше закрывала трубу. Готовила воды — в чугунах теплой, а в ушате— прямо с пруда — со льдышками, холодной.

Сперва уходили париться мы вдвоем с Анисимом Кузьмичом, оставляя Захарыча на заводе, а когда, попарившись, приходили обратно, шел он. Его прихода обратно — а долго он не задерживался,— мы ждали с некоторым нетерпеливым волнением: дело в том, что ему давались деньжонки и поручалось «захватить» либо половинку, либо целую (дело зависело от денег) бутылку «доброго здоровья», т. е. водки.

Пока он там «парился», дома мы кипятили в чугунке воду для чая и готовили закусить. Обыкновенно, чаще всего, закуска состояла из поджаренной на сковороде с картошкой свинины, которая, как помню, в те времена поздней осенью и зимой продавалась копеек по десять за фунт. К приходу Захарыча все готово, и как же хорошо было немножко выпить, закусить жирной свининой, попить чаю и слушать какую-нибудь веселую болтовню Захарыча!..

Собираясь в село к Грушахе париться, Анисим Кузьмич давал мне надеть свой старый черный полушубок и говорил при этом:

— Нà-кось, облачайся, благословясь. Живи, пока жив.

Перед устьем печки по полу Грушаха настилала соломы. Сбоку на шестке лежали березовые веники с засохшими листьями. Печка была закрыта, «закутана» заслонкой.

Первым начинал мыться Анисим Кузьмич, а я сидел—ждал, пока он вымоется. Бывало, глядишь на него,— разденется он, все тело белое, а начиная с шеи, все лицо, волосы на голове, руки по локоть черные, как у негра.

Мылся он перед печкой, а грязная вода стекала к порогу, скрываясь в том месте, где зимой в холода ставится теленок, в так называемую «телячью дырочку» т. е. проделанную в подвале для стёка дыру. Помывшись, он лез в печку париться. Забравшись туда, кричал: «Закрой!»

Грушаха с молитвой, «господи исусе христе, сыне божий, помилуй нас»,— закрывала его там заслонкой, и немного погодя за заслонкой в печке начинали раздаваться разные звуки: хлестанье по голому телу веником. кряхтенье, оханье. Потом вдруг раздавалось: «Открой!».

Грушаха открывала заслонку, и Анисим Кузьмич, весь красный, с прилипшими кое-где к телу листочками, на четвереньках, задом выползал из печки и бежал на двор «окачиваться» водой. Потом снова лез в печку, и так раза три.

После него занимал позицию я. В печку я не любил лазить: тесно, душно... а когда вылезешь, то в редких случаях не вымажешь себе сажей спину о чело.

Возвратившись на завод, отпускали, как уже говорено, париться Захарыча, который, собственно говоря, стремился больше не за тем, чтобы вымыться, а за тем, чтобы поскорей «захватить» из шинка водки и прибежать к нам с бутылкой обратно.

— Что же ты как скоро?— спрашивал, бывало, Анисим Кузьмич.— Неужели уж выпарился?

— Готово дело! У меня — раз, и готово!

В Николу, престольный на селе праздник, Захарыч, получивший сколько-то деньжонок с Анисима Кузьмича, отправился домой и, между прочим, на второй день праздника звал нас в гости. Обоим нам сразу уйти былю нельзя. Анисим Кузьмич отказался итти совсем, а меня отпустил, нарядив в свой полушубок.

Пошел я вечером. Захарыча застал выпившим. Он очень обрадовался моему приходу. Вместе с Грушахой, которая тоже была навеселе, усадили они меня за стол в передний угол, и началось угощенье. Грушаха принесла и поставила на стол в чашке рыбный «стюдень» и нарезанную кусками большую селедку-тарань. Никола — праздник постный, а в те времена посты в деревне исполнялись.

Захарыч, с места в карьер, не дав мне путем оглядеться, начал угощать водкой, наливая ее в какой-то облупленный толстый «стакашик».

— Ну, с праздником!— говорю я, принимая от него стакашик.— Будьте здоровы!

— Кушай на здоровье. Закусывай!

После меня он наполняет стакашик для себя и, сказав: «Ну, будь здоров, Захар Иваныч»,— выпивает его и, обращаясь к Грушахе, спрашивает:

— А тебе поднести, аль не будешь?

— Какой дурак от добра отказывается,— говорит ухмыляясь Грушаха,— знамо поднеси...

Сидим, разговариваем... над столом висит и плохо освещает жестяная лампочка. За окнами на улице, слышно, проходят с гармошкой и песнями парни и девки. В углу под скамейкой поют два сверчка.

Неожиданно для меня на печке раздается кашель, харкает кто-то в угол и бормочет.

— Кто это?— спрашиваю я.

— Сват Гаврила Василич,— отвечает Захарыч.— Давеча выпил малым делом лишнее, а слабый человек, старый, взяла она его, забрусел, полез на печку спать. Сейчас, ишь, проснулся. Эй, сваток,— крикнул он,— а сваток! Проснулся, родной, а? Иди, слезай скорей похмеляться!

С печки спускается сват Гаврила Васильич, длиннобородый, всклокоченный старик, в рубахе без пояса, босой, в полосатых коротких (материи нехватило) портках. Он очумело глядит на нас, чешет обеими руками поясницу и мычит:

— А, мать честная, уснул знать я!

— Да, похоже, что так. Иди, полезай за стол, похмеляйся!

Меня оставляют ночевать, а утром, когда еще совсем темно, меня будят «поправляться»...

Так вот и жил я на этой угольнице изо дня в день. Привык, чувствовал себя бодро, здорово, весело.

Дожил так до весны.

Весна выдалась ранняя. К благовещению 25 марта снег уже сильно таял, а в первых числах апреля он поплыл, как масло по горячей сковородке. Хозяин по просьбе Анисима Кузьмича привез нам ружье, тульскую одно-

стволку, «берданку», как называл ее Захарыч, пороху, дроби, пистонов, и мы с Захарычем занялись охотой.

В лесу водились тетерева, рябчики, было много зайцев-«беляков». А вот пришла весна, прилетели вальдшнепы, заворковали дикие голуби, витютни, заблеяли бекасы над болотцами, закрякали утки, заплакали по низким местам чибисы, и на разные голоса зачирикали, засвистала по лесу птичья мелкота. По ночам высоко в воздухе пролетали турахтаны, а невысоко пролетали, ста́я за стаей, со свистом крыльев и говором «га, га, га!» дикие гуси.

Охотились мы с Захарычем и на тетеревов и стояли на тяге и не щадили попадавшихся зайцев. Из села он привел какую-то горбатую, нескладную, с длинными сосками, старую гончую суку, по имени Затравку. Эта Затравка гоняла зайцев самым «пешим», по выражению охотников, манером, т. е. едва ходила и от старости и от голодного изнурения по заячьему следу. Заяц не бежал от нее со всех ног, а напротив, самым спокойным образом ковылял впереди нее, останавливался, поднявшись на задних лапах, слушал и, видя, что она помаленьку двигается к нему, ковылял дальше. Убить его из-под гону этой Затравки ничего не стоило, надо было только вооружиться терпением и ждать, пока она не пригонит его к нам.

— Эна, бежит, косой чорт, бей! — говорит Захарыч,— а то обожди, не торопись — когда поближе подойдет, сядет, тогда и бей. Ишь, он, дьявол, не видит нас скосу-то, прямо на ствол лезет.

Не помню что-то, чтобы тогда, в те времена, запрещалось стрелять весной зайцев. Да, впрочем, если бы и существовал запрет, то навряд ли бы мы его исполняли, потому что зайцев было множество, и Захарыч говорил, когда (а это нередко бывало) приходилось убивать брюхатую самку-зайчиху: «Чего их жалеть-то, дерьма. Их, сколько ни бей, не перебьешь!»

За тетеревами ходили на ток в шалашку, заранее сделанную, рано утром, задолго еще до рассвета. Весенняя ночь коротка. Только догорела вечерняя тихая задушевная заря, опустится не надолго на землю ночь, глядь, а уж на востоке начинает белеть, и уж по лесу пошли раздаваться птичьи голоса. Шалашка устроена из еловых веток. Перед ней полянка. Кругом полянки мелкорослый осиновый и березовый лесок. Сидим, ждем... Начинает чуть-чуть светать. Дальше, больше... Стало хотя еще и смутно, а видно всю небольшую полянку. Тихо. Вдруг сбоку шум, и черныш-тетерев, как камень, падает на полянку и начинает бормотать и ходит, распустив крылья, фуфыкать и хлопать крыльями, похожий в своем кривляньи на пьяного, загулявшего монаха.

— Бей! — шепчет нетерпеливый Захарычь.

— Погоди ты!— сердито говорю я.— Другие прилетят.

И действительно, немного погодя сваливается откуда-то еще черныш, потом еще. Начинается между ними драка.

— Бей,— опять говорит Захарыч.

Я прицеливаюсь в пару дерущихся петухов и спускаю курок. Бу-у-х!— раздается громоподобный выстрел из нашей «берданки», и один из тетеревов остается на месте.

— Здорово! — радостно восклицает Захарыч.— Заряжай скорей! Бей другова!

Вечером ходили на тягу и в вальдшнепов стреляли по череду. Я выпалю— он выпалит. Вальдшнепы тянули хорошо, но убивали мы их редко, а больше все «палили в белый свет, как в копеечку».

Убитую дичь Грушаха носила на станцию и там продавали ее лавочнику. Вырученные деньги шли на водку. Продавали только птицу, а зайцев ели сами.

Между тем все запасенные дрова в роще были перевезены к угольнице и сожжены в уголь. Выгребли последнюю «вышедную» яму, и делать больше стало нечего.

Анисим Кузьмич получил с хозяина расчет и собрался уходить на лето к себе домой в свою «Калуцкую» губернию.

Захарыча он рассчитал, и ему, Захарычу, почти что ничего не пришлось, ибо все было уже забрано вперед.

Я с хозяином ращелся,
Ничего мне не пришлось,

запел Захарыч, получив с Анисима Кузьмича гроши.

Всю дороженьку проехал
Об ращете тосковал:
Куда денежки девал...

Мне за мою «заслугу» дано было Анисимом Кузмичом пять целковых.

— Вот тебе, Павлыч, душа моя, от меня подарок. Прими. Дарю тебе за твою услугу, за приятство. Денег платить тебе я с тобой не рядился, а взял тебя из-за хлеба, поил, кормил. Что сам ел, то ты ел. Ничего не прятал, не таился. Худа ты от меня не видал, а я от тебя. Спасибо тебе. Может, господь приведет, опять сойдемся. Куда, родной, душа моя, теперь думаешь приткнуться? Домой, что ли, к родителям, а?

— Нечего мне там делать. Нельзя мне.

— А ты вот что, научу я тебя. Хозяин новую рощу купил. Сводить ее будет. Народ ему потребуется. Оставайся-ко, поработай. Зашибешь копейку, маленько акапируешься, а там, глядишь, на зиму-то местишко какое и подвернется. Ты человек грамотный и, не хвастая тебе сказываю, не плохой ты человек, а так, сшибся маленько, соскочил с зарубки, а с кем, скажем, грех да беда не бывает. Я увижу хозяина-то, скажу ему нащет тебя. Так мол и так... А ты толкнись к нему... почем знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ладно что ли?

— Ладно,— сказал я,— увижу там.

Перед тем как уйти ему совсем, он позвал нас с Захарычем в шинок угощать, но сам не пил, да и нам было как-то не по себе, и выпили неохотно.

— Ну, ребятишки,— сказал он, посидев с нами.— Прощайте. Жили мы — дай бог всякому. Прощайте. Может увидимся, а может нет...

Увидаться больше не пришлось.

(Продолжение следует)

Баканщик

Веселый баканщик, светящеюся мглою,
На плоском острове, над Вычегдой стальною,
Куда привез меня полночный карбас твой,—
С тобой над глиняной мы сели крутизной.

Уж воды с далями слились в дыханьи братском,
Смеясь, ты говорил мне о житье солдатском,
О нраве Вычегды, о том, что нелегка
Работа с мелями: изменчива река...

Нас разделяла тьма. Мы ближе сели, рядом.
Курносое лицо сияло серым взглядом,
Зубов некрупных ряд сверкал в прозрачной мгле.
Ты понял ли, скажи, откуда на земле

Мгновенной дружбы жар, зачем, страшась разлуки,
Над лодкой вздернутой так жадно наши руки
Слились ладонями, прощаясь навсегда?
Ты понял ли, о чем сказала нам вода,

Всегда бегущая, бегущая от века,
И остров брошеный, и пальцы человека
В пустынях сумрака, и тесных листьев дрожь
В тиши предутренней? Ты вспомнишь. Ты поймешь.

Конст. Липскеров

* * *

Мы забываем все, что было:
Признанья, взоры, имена,
Все, что взносила, все, что скрыла
Ночей подлунная волна.

И может статься, в час мой черный
Лишь вспомню, горестью горя,
Как погружалась в щит озерный
Залесским вечером заря.

Твой вспомню стан упрямый, гибкий,
В прохладе северной струи,
Твои ленивые улыбки,
Глаза дремучие твои.

Я вспомню, как мой рот, сгорая,
Коснулся путаных ресниц,
И как рука коснулась края
Чела, склонившегося ниц.

И как вдохнул я, загорелый,
В зверином, рыбарьском раю,
Твой пыл застенчивый и смелый
И нежность дикую твою.

В просторах серебряной ночи
Просторами псковских былин
Мы плыли, мне памятен очень
Насмешливый голос один.

Река серебристо мерцала,
Был пригород призрачно бел,
Но голос гребца разудалый
Частушки веселые пел.

Но там, над столетьями вала,
Великою отражена,
Как желтая роза, всплывала
Всегда молодая луна.

Конст. Липскеров

Где ты?

Волна на скалы
Идет войною,
В горах шакалы
Тоскливо воют...

Уныло свесясь,
Ночным покоем,
Утонет месяц,
У водопоя...

И даже ветер
Тоской окрашен...
Родная, где ты!?
— Никто не скажет.

И путь мой страшен,
И ты далеко —
Быть может, наша
Любовь поблекла...

Но и в скитаньях,
На раздорожьях,—
Еще желанней,
Еще дороже!

Родная, больно!
И что отвечу?
Морским ли волнам
Итти навстречу?..

Раздумьем скалы
Вдали маячат,
Да лишь шакалы
Тоскливо плачут...

Илья Садофьев

Дальневосточный часовой

Вот карта, на которой точно,
Как пятилетний план, длинна,
Сквозь климат Азии Восточной,
Граница стран проведена.
И надвое распорот климат,
Как ножницами, ей одной:
Вверху — полярной стужей вымыт,
Внизу — затянут в жирный зной.
Лежит она, не шевелится,
Как ножик, узкая граница,
Как ножик, острая. Она
Поет, как может петь струна:
«Вот я на половины режу
Собою Азию твою,
От ветра вредных побережий
Отгородивши желтый юг.
Тебе же, большевик, тебе ж
Не перейти за мой рубеж!»

Но я, томимый жаждой сладкой,
Границу перейдя украдкой,
Как руку, зренье протяну
Сквозь всю шафранную страну.
Откройся ж предо мной нежданно,
Откройся ж искренне, до дна,
Фальшивым флагом Гоминдана
От глаз укрытая страна.
Вот в уши грянула сухая
Разноязычница Шанхая —
И уху громко говорит
Раскосый и корявый ритм.
Сквозь азиатский гул картавый
Встают посольские кварталы,
В них, как монокли, зажжены
Висят подобия луны.
Под визг джазбандный, лязг тустепный
Здесь в барах всходит воздух склепный.
В моноклях (чтоб никто не смог в них
Породы сразу отгадать)

Здесь жеребцы (на каждом — смокинг)
Собрались пить и танцовать.
А в жирных лысинах видны
Все те же копии с луны.
И танцовщица в ржущем круге
Зажженный мукой взгляд косой
И желтые кидает руки
В затишье, полное грозой.
А там, бульдожью пасть разинув,
У входа в лаковый сетлмент
Сжимает палку из резины
Широкозадый полисмен.

А там, во мгле туземной, адской
Где мир не тот, где жизнь не та,
Трясет свой бубен азиатский
Отчаянная нищета.
Куда отчаянье я дену?
Оно летит к моим ногам,
И в стены дряхлые Мукдена
Готов ударить ураган.
Пока ж в застенках осторожных
В костлявой лапе палача
От пытки тает, как свеча,
Советский железнодорожник.
Он стонет: «Я невинен».
Но
Стон, раздробившись, как о камень,
Утихнет.

Ночь над кабаками.
Но в кабаках не спят.
Вино
Угрюмой отливает кровью.
Здесь — эмигрантское жилье,
И на брусках средневековья
Здесь точит клювы воронье.
«Да, господа! Мы в это лето...
Клянусь вам... мы возьмем Москву!..»
Рыгая, бредит на-яву
Полковник в сгнивших эполетах.

Я вижу, как из недр Харбина
К советским рубежам встает
Кровавой стаи ястребиной
Опустошительный полет,
И спит тревожная граница.

Границе многое приснится
К исходу ночи роковой.
Над ней, сверкая шлемом звездным,
Стоит в ночи столпом железным
Дальневосточный часовой.
Стоит высок, как утро светел,
За ним полярный бодрый ветер
Хрустит средь скошенных полей
Соленой свежестью своей.
За ним идут стальные нервы
Певучих рельс в страну мою,
В неисчислимые резервы
Его соратников в бою.
За ним, как флаг напряжена,
Гремит огромная страна.

Что думается часовому?
Пред ним лукавый южный омут,
Но помнит мудрый часовой
Закон науки боевой.
Над ним враждебной пули пенье,
Его протяжный стон зовет.
Он на часы завел терпенье,
И скоро кончится завод.
Он знает — скоро, на рассвете,
Как весь граненый Север, свеж,
Сорвется наш полярный ветер
С цепи и хлынет за рубеж.
И, лопнув, как струна, граница
Высокий стон издаст, как знак,
Что всю трухлявую теплицу
Проветрит яростный сквозняк,
Что, продувая села эти,
Проветривая города,
Наш свежий, наш советский ветер
Стране не сделает вреда.

Пока ж, в предчувствьи бури горькой,
В предчувствьи схватки боевой,
Он с одичалого пригорка
Взирает, зоркий часовой.
Над ним луна красна, как рана.
Он ничего не говорит,
Он ждет, и штых четырехгранный
Как полюс, синим льдом горит.

А. Миних

Утро совхоза

Еще рассвет мутней слюды
Кидал свои тупые стрелы,
Лишь воздух был свежей воды
Да по буграм едва серело,

Железо крикнуло под'ем,
Железо взвизгнуло: «Идем!»

А ранний сон на тело падок.
(Давно ль кино, любовь, гармонь!)
Но хрипло лезли из палаток,
И плавал пятнами огонь.

Минута, две, и музыкальней
Гремела смена — умывальней.

Затем, ревели трактора,
Готовые хоть в ночь ломиться,
И вот на сумерки утра
Снопами валится пшеница.

Ночь, слыша, — наступает враг —
Скорее падала в овраг.

Ее уход — не боль, не жалость,
Был час, когда скрывался зверь.
С другими красками мешалась
Рассвета прозелень теперь.

В степи — она была ряба —
Вдруг вышли желтые хлеба.

Я ожидал тебя не зря,
Тебя, благоприятный случай.
Хлеба светились, как заря,
Но только близкая и лучше.

Ты, жизнь, почаще нам дари
Все разновидности зари.

В хлебах от желтого покоя
Летели клочья, гром и пыль,
Шептались в страхе за рекою
Глухой бурьян, седой ковыль.

Машины — чуть воображенья! —
Как бронечасти, шли в сраженья.

В. Наседкин

Густав Штреземан

(Основоположник германского нео-империализма)

Н. Корнев

В юго-восточной части Берлина, вдали от шумных и блестящих улиц мирового города, лежит небольшая провинциальная улица Кепеникерштрассе. Под 66 номером на этой улице находится небольшой двух'этажный домик, почти полуразвалившийся, всем своим видом показывающий, что в нем нет и помину того современного комфорта, которым щеголяют дворцы промышленных баронов и финансовых тузов в западной части столицы. В этом доме нет ничего замечательного. Таких домов в Берлине много тысяч; в них проживают мелкие буржуи, отставные чиновники, ремесленники, рабочие находящихся вблизи мелких промышленных предприятий. Квартиры в этом доме, двор которого полон нечистот, не ремонтировались много лет. Стены черны от копоти, подвалы напоминают катакомбы древних христиан. Тяжелым отчаянием веет от самых стен этого дома, на дворе которого, как гласит соответствующая надпись, запрещены всякие игры. Этот дом — жилище людей, обездоленных войной, инфляцией и дефляцией. Обитатели этого дома добывают прибавочную стоимость для германской буржуазии и репарационную наживу для буржуазии победоносной Антанты.

В этом доме родился Густав Штреземан, основоположник германского нео-империализма. Дом, в котором жили и умерли его родители, в его нынешнем состоянии является живым свидетельством того положения, в котором очутилась германская мелкая буржуазия при схватке германского империализма с антантовским, а затем во время боев между монополистским промышленным капиталом и рабочим классом. Социальные бои, в которых родилась, а затем и окрепла германская крупная буржуазия, вскормленная кровью германского рабочего класса, были одновременно страшным бедствием для германской мелкой буржуазии. У германского мелкого буржуа был один выход из провонявшего домика на Кепеникерштрассе, если он только не хотел окончательно отказаться от своего буржуазного бытия и раствориться в пролетарских рядах: он должен был, если у него на то были способности и знания, попробовать переселиться с востока Берлина на его запад, стать одним из служителей крупной буржуазии в деле борьбы с рабочим классом, стать доверенным буржуазии, еще лучше — стать ее политическим приказчиком на передовых постах (торжественно это называется быть министром или вождем партии),— это предел мечтаний мелкого буржуа.

Когда Густав Штреземан родился полвека тому назад на Кепеникерштрассе, положение германской мелкой буржуазии, конечно, еще не было столь отчаянным, каким оно является в наши дни. За четыре года до рождения Штреземана произошла франко-прусская война 1870—71 года, роди-

лась Германская империя, а вместе с ней и блаженной памяти германский империализм. Пять миллиардов французской контрибуции золотым дождем рассыпались по всей Германии, бешеным темпом развивались промышленность и торговля, а вместе с ними культура и науки. Но когда Штреземан стал подрастать, когда стали приближаться годы выбора профессии,— в Германии начался процесс трестирования и картелирования промышленности, промышленные тузы и финансовые бароны стали все больше захватывать руководство хозяйственной жизнью страны в свои руки, лишая мелких буржуа их прежней самостоятельности. На примере своего отца молодой гимназист, а затем студент мог проследить процесс пауперизации германской мелкой буржуазии. Это было, так сказать, первое издание этой пауперизации. Штреземану впоследствии пришлось пережить, уже после мировой бойни, второе издание этого процесса, улучшенное и дополненное на этот раз на почве инфляции и дефляции. Отец Штреземана имел пивную, которая снабжала пивом и всякой снедью рабочих предприятий всего околотка. Рабочий платил бонами, выданными ему фабрикой, а владелец пивной пред'являл в конце недели эти боны фабричной конторе и получал почти всю недельную зарплату рабочего. Таким образом, Штреземан-отец был самостоятельным посредником между рабочими и промышленником, он в буквальном смысле слова был представителем среднего класса, и это сознание преисполняло его сердце гордостью.

Так было, когда Штреземан-сын был ребенком. Но по мере того как он рос, росли и фабрики и заводы, находившиеся в околотке отцовской пивной. Фабрики, имевшие некогда десятки или сотни рабочих, теперь стали насчитывать их тысячами. Уже не индивидуальные владельцы фабрик, а директора-распорядители заводов, поставленные акционерами для получения наивысших дивидендов, волею обстановки не могли подарить владельцу пивной тот барыш, который у него оставался раньше. Им стал ненужен и даже опасен посредник между ними и их рабочими: они сами стали их кормить и поить пивом в заводских кантинах. Поставщик целых заводов и фабрик превратился во владельца небольшой пивной, в которой пропивали последние гроши отдельные рабочие, да изредка забегали за излюбленным берлинским «белым пивом» жены и дочери мелких буржуа и отставных чиновников. Началось быстротечное падение величия семьи Штреземана. Для Штреземана, будущего министра, это падение стало классической иллюстрацией того процесса, которому подвергались экономика и быт германской мелкой буржуазии, попавшей под тяжелые колеса молодого промышленного империализма. Течение этого процесса до того занимало молодого Штреземана, что когда он кончил университет и ему пришлось писать докторскую диссертацию, то он взял темой «Развитие торговли пивом в бутылках». Одновременно он пишет свою первую большую работу «Развитие универсальных магазинов и их экономическое значение». В этой работе он серьезно подходит к основной теме: разорению мелкой буржуазии, в данном случае мелких торговцев, крупным капиталом в виде универсальных магазинов.

Густав Штреземан никогда не был сентиментальным Дон-Кихотом. Отличительной чертой его ума и характера, которая проявилась на заре его политической карьеры, было умение служить не столько благородному, сколько разумному принципу «довлеет дневи злоба его». Несколько забегая вперед, мы уже здесь скажем, что именно потому Штреземан и оказался основоположником германского послевоенного нео-империализма, что он умел применять этот принцип осторожного разрешения вопросов повседневной политики, которую должна была вести германская буржуазия после беспримерного поражения в мировой войне, не потому, что она того хотела,

а потому, что она иначе не могла действовать, сжатая щипцами антантовского империализма и социальной революции. Повинуясь по окончании университета внутреннему голосу и наглядному примеру судьбы своего отца, Штреземан сказал себе, что надо, если не хочешь опуститься на пролетарское дно, добиваться ответственной работы на службе крупного капитала. Штреземан верно, хотя и несколько забегая вперед (с ним это не раз будет случаться втечение его политической карьеры), определил момент, когда германская буржуазия должна была потребовать своего привлечения к непосредственному управлению государством, когда ей, стало быть, стали нужны люди, выходцы из родственно-буржуазной среды в качестве политических поверенных. Дело в том, что Германская империя была создана Бисмарком по принципу известного разделения труда: германскому промышленному и финансовому капиталу было предоставлено задание накоплять национальное достояние, а аграрному классу было поручено управление государством, вместе со всем административным аппаратом. Вся германская конституция, созданная Бисмарком, была так построена, что германская буржуазия навеки веков расписывалась в том, что национальные рамки для ее деятельности, добывающей прибавочную стоимость, созданы и сохраняются аграрно-милитаристским аппаратом. Бисмарк в свое время оценил страх германской буржуазии перед социальной революцией и правильно рассчитал, что крепкая плотина против наступления революционного пролетариата в виде юнкерской власти вознаградит как промышленную, так и финансовую буржуазию за ту разницу, которая имелась между всемогущим английским парламентом и декоративно-бессильным германским рейхстагом. Но Бисмарк не рассчитал и не мог рассчитать (марксистом он не был), что процесс накопления прибавочной стоимости со стороны германской буржуазии пойдет таким невероятным темпом, что государственные рамки, созданные им, неминуемо должны будут лопнуть, и германская бружуазия должна будет поставить на руководящие посты политическо-административного аппарата своих людей. Слишком велики становились с каждым новым рынком, завоеванным Германией, с каждым новым миллиардом национального накопления ножницы между империалистской установкой промышленно-финансовой буржуазии и устаревшей политической идеологией и еще более устаревшими политическими навыками прусского юнкерства.

Поэтому прав был молодой Штреземан, когда он уже в 1907 г. на с'езде национал-либеральной партии в Госляре выступил против тогдашнего смиреннейшего вождя партии Бассермана и потребовал, чтобы партия громко заявила о своем праве на непосредственное участие в управлении государством. Бассерман был вне себя от испуга. Между тем прав был только что оперившийся политический птенец, который кукурекал те политические выводы из развития германской экономики, которые не решались прокудахтать вожди крупнейшей тогда буржуазной партии, воспитанные в бисмарковской идеологии. Штреземан мог своим вождям указать на свою деятельность в качестве «синдика», т. е. управдела союзов обрабатывающей промышленности (сначала шоколадных фабрикантов, а затем всего союза промышленников в Дрездене). Он мог им указать на то, что эти союзы, а затем и более крупные, тогда выроставшие в Германии, как грибы после дождя, понемногу охватывавшие все германские промышленные предприятия, фактически активно вторгаются в область политики. Он мог подчеркнуть, что если эти союзы, которые являлись в то же время базой соответствующих политических партий, пока ограничиваются своей специальной областью,— областью социальной политики, то это происходит потому, что именно в этой области прежде и раньше всего анахроническая установка юнкерского правительственного аппарата оказалась опасным тормозом для

развития германской экономики. Штреземану было ясно, что пройдет несколько времени, и промышленный капитал справится со своими насущными задачами и перейдет к осуществлению своих заданий в области высокой политики. Упрекая национал-либералов в том, что они слишком долго засиделись в старых девах принципиально правительственной партии юнкерского государства, Штреземан, однако, несколько забегал вперед.

Но империалистический темперамент кипел и бурлил в молодом Штреземане. Сознание исторической роли германской буржуазии в осуществлении германского империализма и огромный ораторский талант приводили к тому, что Штреземан, которого буржуазия не посадила еще на министерскую скамью, стал одним из самых боевых ораторов германского «флоттенферейна», этого агрессивного пан-германистского союза. Быть может, подсознательно, Штреземан все-таки пытался руками юнкерских империалистов делать дело буржуазного империализма, которому нужен флот не для военной славы и лавров, которые можно приобрести в любой мелочной торговле, а для того, чтобы добиться новых рынков. Штреземану нужно было, чтобы на мировых океанских путях развевался германский национальный флаг только для того, чтобы по кильватеру, проложенному броненосцами, могли следовать пароходы с грузом дешевых немецких товаров. Любопытно, что Штреземан так преисполнен своих мыслей об исторически-национальной миссии германского империализма, что он выступает с пропагандой мощного германского флота даже в мелкобуржуазных округах Германии, где плательщики налогов трезво меряют мечтания Штреземана аршином повесток фининспектора. Штреземану непонятно, как его товарищи по социальному классу не могут понять, что от пролетаризации их может спасти лишь безумный темп политического и экономического развития германского империализма; только империализм может, по мнению Штреземана, дать германскому купцу возможность самостоятельно выступать на новых заморских рынках, после того как он же вытеснил его вследствие своего монополистического положения из германского внутреннего рынка. Лозунг Штреземана был: ищи там, где ты потерял.

Между тем, этот период деятельности Штреземана, который успел сделаться, наряду с Бассерманом, вождем национал-либеральной партии (он станет ее общепризнанным главой во второй год мировой войны, после смерти Бассермана), кончается возникновением мировой бойни. Никчемным занятием было бы гаданье, в каком направлении развилась бы политическая деятельность Штреземана, если бы не было мировой войны. Война разыгралась. Она была отвратительно подготовлена и не лучше велась в политическом смысле юнкерскими дипломатами. Но эти юнкера создали лучшую в мире прусско-германскую армию. Если старый вождь национал-либералов Бассерман громко говорил: «Мы имеем лучшую в мире армию и ведем самую никчемную в истории войну», то его молодой сотрудник Штреземан, если не говорил, то, во всяком случае, думал про себя: «Пусть создавшие лучшую в мире армию прусские юнкера выиграют войну, создадут сырьевую базу для германского империализма нового периода, а затем мы, промышленная и финансовая буржуазия, собравшая на кровавой ниве мировой бойни в виде жатвы все национальные богатства страны, будем управлять этой страной». Империалистические аппетиты Штреземана не имеют границ. Ссылаясь на Фридриха Великого, он повторяет: «Война, которая не приводит к завоеваниям, потерянная война». Он требует аннексии Курляндии для того, чтобы увеличить сельскохозяйственную площадь Германии, он требует Лонгви-Брие для того, чтобы получить руду, он хочет германского Гибралтара, т. е. он требует аннексии Бельгии для того, чтобы создать угрозу для Англии. Он цитирует своего любимого поэта Гете и бросает презрительные слова

о тех, кто мечтает о дне мира. Лозунгом является война и победа. Он торжествует — об этом свидетельствует статс-секретарь Циммерман — по поводу каждого торпедированного американского судна, потому что это делает войну с Америкой неизбежной, а лишь победа над Америкой может сделать победу Германии победой в мировом масштабе. Не беспокойтесь, он отмолит все эти свои старо-империалистические грехи и получит за свои ново-империалистические мечтания Нобелевскую премию мира.

Из этой установки Штреземана во время войны логически вытекало, что он и не думал бороться с общим направлением прусско-германского милитаризма, ибо он мечтал сделать из него сверх-империализм по последнему крику капиталистической моды. Штреземан лишь боролся с некоторыми мелочами прусско-германского механизма: так, он помог военному командованию избавиться от Бетмана-Гольвега, применявшего устарелые дипломатические методы, и пытался навязать военному командованию и кайзеру своего любимчика — князя Бюлова. Он поддерживал мероприятия военного командования там, где они целиком и полностью совпадали с интересами воинствующего промышленного империализма. Так, например, он был одним из инициаторов знаменитой депортации бельгийских рабочих в Германию, которая доставила дешевую рабочую силу Стиннесу. Политическая диалектика привела Штреземана затем к тому, что он поддерживал военное командование даже там, где он чувствовал неправильность установки Людендорфа. Осознав, что промышленно-финансовый империализм связал крепко свою судьбу с юнкерским милитаризмом, Штреземан вел, обманывая себя и других, азартную игру до того момента, когда германской делегации, под руководством Эрцбегера, пришлось пойти путем германского империализма первого издания на Голгофу, помещавшуюся в 1918 г. в ставке ген. Фоша в Компьене. Если критики Штреземана приводят, как факт его неумения ориентироваться в данной политической ситуации, и называют, как пример, его знаменитую речь о невозможности войны между Германией и Америкой, после произнесения которой ему подали правительственное сообщение об об'явлении Германии войны президентом Вильсоном, то эти критики забывают, что Штреземан был горячим поклонником девиза Гинденбурга: войну выигрывает тот, у кого более сильные нервы. Штреземан обманывал других, чувствуя, что он сам обманут судьбой, побудившей его поставить свое политическое будущее и будущее доверившей ему защиту своих политических интересов буржуазии на битую резервами Фоша карту людендорфского милитаризма.

Кабинет председателя германского рейхстага. Редактор популярной демократической газеты «Берлинер Тагеблатт» Вольф, его товарищи по редакции, несколько других политиков, стоявших в вильгельмовские времена на крайнем левом фланге буржуазной политической мысли, обсуждают план создания большой демократической партии. Ноябрь 1918 года. Вильгельмовская монархия приказала долго жить. Последний кайзер скрылся в гостеприимной Голландии, «не коронованный король Пруссии» Гейдебрандт фон-дер Лаза, вождь консервативной партии, воспитанный на бисмарковских традициях и прусском трехклассовом избирательном праве, удалился от политической жизни и тем молчаливо произнес красноречивый некролог юнкерскому строю. Революционный пролетариат пытается влить в республиканские формы свое классовое содержание. Крупная и средняя буржуазия радостно уступили все позиции, только что очищенные прусскими юнкерами, социал-соглашателям всех мастей, захлебываясь от удовлетворения, что из недр самого рабочего класса вышли люди, готовые защитить святыни частной собственности. Собравшиеся в кабинете председателя рейхстага политики

образовывают политическую партию для того, чтобы создать организационную базу для собирания всех буржуазных сил, приемлющих республиканские формы, на тот момент, когда эти силы оправятся от ужаса, внесенного в их ряды навязываемым им революционным движением. Господа-демократы осторожны. Они знают, что для того, чтобы пользоваться демократическим механизмом порабощения трудящихся, надо иметь за собой целые стада голосующей на выборах скотинки. Им нужны огромные пласты мелкой буржуазии для того, чтобы провести в учредительное собрание своих депутатов и тем, на всякий случай, избавить себя, а заодно уже и социал-шейдемановцев, от социалистического большинства в германской учредилке. Для этого нужна не только программа, напичканная до тошноты словами о народовласти и братстве народов,— нужно, чтобы в их списках не было имен, которые звучали бы как напоминание о родственной близости буржуазной республики с только что скончавшейся монархией. Поэтому они не могут принять в свои ряды таких политиков, как Штреземан, имя которого тесно связано с именем Людендорфа, хотя они знают, что имя Штреземана еще более тесно связано с именем Стиннеса, который был настоящим повелителем императорской Германии последнего периода и будет, несмотря на все народовольческие программы, настоящим повелителем германской республики. Штреземан и его друзья, явившиеся на совещание основателей демократической партии в ноябрьские дни 1918 года, остались лишь безучастными зрителями. Их никто не приглашал вступать в новую демократическую партию, как несколько времени раньше им же Макс Баденский, образовывая свой парламентский кабинет, предоставил лишь место оппозиции.

Что же, Штреземан не очень обескуражен этим отказом в предоставлении ему политической жилплощади в молодой республике. Мы знаем, что его верховным принципом является лозунг «довлеет дневи злоба его». Злобой сегодняшнего дня является отбитие революционного наступления рабочего класса. Германская буржуазия, германские промышленники и банкиры стоят между двух огней: между победоносным антантовским империализмом и социальной революцией. Столковаться с первым они могут, лишь победив вторую. Победить вторую они могут, лишь собрав под свои знамена и национальные лозунги широкие кадры мелкой буржуазии города и контрреволюционного кулачества деревни. В этом отчаянном положении германская буржуазия политически становится пассивной. Потерпев поражение на двух фронтах, национальном и социальном, она повторяет тактику точно так же разбитой в 1871 году французской буржуазии, которую в свое время Тьер определил словами: «Наша месть заключается в том, что мы ничего не предпринимаем». Германской буржуазии легко было ничего не предпринимать: время работало на нее.

Время обесценивало германскую марку, освобождало буржуазную республику от военной задолженности, наследия императорского военного режима. Обесценивая марку, время освобождало германскую промышленность, германские банки, германских крупных помещиков от задолженности. Оно, таким образом, с первого же момента существования республики, с первого же момента установления факта необходимости платить победителям контрибуцию, авансом обеспечивало германскую буржуазию, что эта контрибуция целиком ляжет на плечи трудящихся, на плечи мелкой недорезанной мировой бойней буржуазии. Германская буржуазия, таким образом, с первого же момента получила при основании республики от истории в приданое два подарка: уверенность в том, что победившей буржуазии Антанты придется отдавать лишь часть сверхприбыли, и гарантию, что наступление революционного рабочего класса будет отбито социал-предательским аппаратом, выросшим за счет этого же революционного и рабочего движения.

Иначе говоря, германская буржуазия знала, что ее внутренние и внешние политические издержки будут сравнительно невелики. Но как ни малы были, сравнительно с грандиозным поражением германской буржуазии в мировой войне, ее издержки по установлению мира на внешнем и внутреннем фронтах, была налицо огромная идеологическая издержка. Германская буржуазия должна была осознать, что дальнейшее развитие германского империализма должно быть куплено у победоносной буржуазии Антанты. Дело было не в размерах платежа за право мечтать о великодержавности, а в самом принципе платежа, который не укладывался как-то в представлении германских империалистов самым понятием возрождения империализма. В голове Густава Штреземана это понятие необходимости соглашения с победоносным империализмом Антанты именно во имя осуществления германского нео-империализма великолепно укладывалось. Но Штреземан за свою политическую карьеру довоенного и военного времени кое-чему научился. Как и все истинные политические таланты, он не выскочил на политическую арену совершенно сложившейся фигурой, вроде Минервы из головы Зевса, а все время рос и развивался. Его политическая фигура освобождалась от некоторых черт, умалявших ее размеры. Одним из недостатков Штреземана, вытекавших, впрочем, из самого естества его политического таланта, было желание перепрыгнуть через некоторые периоды развития политического самосознания того класса, интересы которого он взялся защищать.

Мы уже видели, как на с'езде национал-либералов в Госляре в 1907 году Штреземан несколько преждевременно, хотя по существу и верно, формулировал политическую платформу германской крупной буржуазии. Эта платформа не была осуществлена потому, что класс, от имени которого выступал Штреземан, сам еще не дорос до штреземановских формулировок. Она не была осуществлена еще и потому, что чисто внешние механические причины, в виде мировой войны, помешали проведению ее в жизнь. Второй раз Штреземан несколько забежал вперед уже во время мировой войны: известна составленная им от имени шести союзов аннексионистская докладная записка, менее известна его брошюра «Михель, проснись, морской ветер веет», поставившая перед германской буржуазией во весь рост программу морского могущества Германии. Победоносная армия Антанты превратила обе эти платформы Штреземана в макулатуру, которую он сам впоследствии вынужден будет скупать вместе с пожелтевшими номерами «Дейтче Штимме», содержащими его аннексионистические статьи, для того, чтобы не дать возможности своим противникам в Германии и вне ее напоминать ему его аннексионистское прошлое. Трагедия, разыгравшаяся в Компьенском лесу, поставила Штреземана в смешное положение известной всем нам с малых лет девушки, которая несла в город на продажу молоко, размечталась о своих барышах, домечталась до целой фермы и в пылу своих мечтаний опрокинула кувшин с молоком. Поэтому весь период политической деятельности Штреземана с ноября 1918 года до августа 1923 года можно определить как период страховки и перестраховки себя от несчастья, случившегося с ним, как с молочницей.

Штреземан предпочитает, чтобы в это время всякие опыты и изыскания выхода германской буржуазии из тупика, в который загнало ее поражение в мировой войне, производили другие. Пусть Эрцбергер и Ратенау платят своей жизнью за попытку добиться соглашения с Антантой. Пусть за это заплатит своей политической репутацией Вирт. Штреземан спокойно ждет, пока его хозяева и доверители, монополистский промышленный капитал Германии, поймут, что нет другого выхода для Германии на мировую арену, как через дверь соглашения с антантовской буржуазией. Пусть вдребезги разлетится политическая репутация Куно и Гельфериха, руководителей

германской буржуазии в рурской борьбе. Эта борьба была неизбежной «детской болезнью» германской буржуазии. Без нее она не могла бы спокойно войти в период борьбы за доступы к германскому нео-империализму. Рурская борьба была необходимой предохранительной прививкой: не переболев этой ветряной оспой, германская буржуазия погибла бы от настоящей оспы. Штреземан за все это не отвечал: умный циник, лишенный всяких сентиментов, обладающий прирожденным берлинским «юмором висельника», он спокойно ждал на этот раз, пока созреют его политические плоды. На внутреннем фронте положение было такое же. Штреземан еще на заре своей политической карьеры был решительным сторонником пактирования с чиновниками из профессионального и социал-демократического аппарата. Еще в первом десятилетии нашего века он бросил крылатую фразу о возможности соглашения промышленников с этими «отнюдь не худшими элементами рабочего класса». За туманом революционной фразеологии довоенной германской социал-демократии он тогда еще разгадал их соглашательскую сущность. В его старых речах, произнесенных задолго до мировой войны, можно теперь найти весьма поучительные примеры того, как ему, синдику различных промышленных союзов, удалось, путем переговоров с представителями профессиональных союзов, довести до минимума количество забастовок и других «недоразумений» между трудом и капиталом. Если Штреземан в 1907 году уговаривал свою буржуазию взять власть в свои руки, то теперь он же должен был бы уговаривать эту же самую буржуазию поступиться частицей перенятой ею власти в пользу социал-демократии в интересах лучшей организации борьбы с революционным движением рабочего класса. Штреземан понимал, что эту простую истину агрессивные элементы промышленного капитала никак не поймут: они никак не поймут, что надо на коленях благодарить всех изобретенных самим капитализмом богов, что нашлась рабочая партия, совершающая беспримерное в истории предательство дела своего класса. Из невыговоренных Штреземаном, но формулированных Эрцбергером и Виртом тезисов о необходимости соглашения с антантовской буржуазией и своим собственным рабочим классом, вернее, его соглашательской партией, германская буржуазия сделала вывод, что надо лишь воспользоваться борьбой с революционным движением для соглашения с Антантой, или же надо было поступить наоборот. Во всяком случае, уступки возможны были только на одном фронте во имя победы на другом, но никак не сразу на обоих фронтах.

Поэтому и в области внутренней политики Штреземан ждет того момента, когда гора придет к Магомету, т. е. когда воззрения промышленной буржуазии на сотрудничество с социал-соглашателями совпадут с его собственными. Он знал, что, как это ни странно, гора обязательно придет к Магомету: как все дальнозоркие буржуазные политики, он в конечном счете мысли марксистски в том смысле, что из всех социальных и политических факторов страны правильно выводил равнодействующую, веря в непреложные законы политической математики. Штреземан стоит во время борьбы из-за конституционного устроения буржуазной республики, что называется, с ружьем у ноги. Он отмежевывается от антиреспубликанской национальной партии, формулирует программу несколько фантастической «всенародной императорской власти», сознавая ее неосуществимость и давая понять, что он станет в тот момент республиканцем, когда вся республика станет политическим орудием в руках промышленного и финансового капитала. Иначе говоря, Штреземан, любивший перелистывать пожелтевшие страницы истории, делать выводы по исторической аналогии, совершенно сознательно шел путем французских «раллие». Он заставляет свою партию воздержаться при голосовании Веймарской конституции, он не принимает

участия в травле социал-демократических министров и в своих речах покровительственно похлопывает по плечу Эберта. Он дает понять, что он никак не считает его государственным гением-самородком, а расценивает его так, как старый кадровый офицер расценивает прапорщика, выслужившегося из фельдфебелей до офицерского чина. Больше всего заботится он о том, чтобы социал-демократы не забывались и помнили об отведенном им месте в буржуазном государстве.

Между тем, инкубационный период германской буржуазной республики приближался к концу. Семимильными шагами приближался осенний кризис 1923 года, после которого неминуемо должен был наступить «оздоровительный период» германской республики, т. е. период превращения ее в окончательную государственную форму угнетения рабочего класса и трудящихся деревни промышленным капиталом, смычка которого с аграрным капиталом была уже совершившимся фактом. Процесс превращения социал-соглашательской партии в без лести преданную служанку монополистского капитала был закончен. Буржуазия уже не искала спасения и не трепетала в об'ятиях социал-демократов, последние лакействовали в ее приемных. На внешнем фронте, под излюбленным предлогом необходимости столковаться ввиду разыгрывающейся социальной грозы, намечалось соглашение германской буржуазии с буржуазией победоносной Антанты. Доисторическими казались те времена, когда Стиннес, стоя, «чтобы смотреть в глаза врагу», ораторствовал перед представителями Антанты в Спа, как побежденный, решившийся любой ценой взять реванш. Некоронованный король Германии подготовлял уже в духе современности свое свидание с маркизом Люберзаком. На внешнем и внутреннем политических фронтах промышленная буржуазия пришла с боями, но зато окончательно, к той политической установке. осуществителем которой давно мечтал быть Густав Штреземан.

---

12 авуста 1923 года. Вечер. По огромной, совершенно опустевшей площади у Бранденбургских ворот идет высокого роста плотный человек, с толстой сигарой во рту, заложив руки за спину и с выражением деланного равнодушия, которое столь типично для всех деловых людей, направляющихся на совещание и не желающих показать ни другу, ни противнику своей заинтересованности в исходе совещания. Словом, перед нами типичный немецкий директор крупного предприятия, с брюшком (ясно, что пиво — его любимый напиток), но не лишенный некоторой легкости мысли, приобретенной за долгие годы борьбы с жестокими конкурентами.— Густав Штреземан направляется из рейхстага к президенту республики Эберту. Он знает, что президент предложит ему быть рейхсканцлером и составить правительство. Он заранее готов принять предложение президента, список министров кабинета «большой коалиции» у него в кармане. Он будет сидеть в том самом кресле, в котором некогда сидел Бисмарк. Он достиг предела мечтаний немецкого бюргера, ибо почетнее сесть на место, на котором сидели Бисмарк и его, Штреземана, идол Бюлов, чем на то место, на котором пока сидел только Эберт, и которое станет почетным в глазах германского бюргерства только после того как его освятит Гинденбург. Исполнился не только предел его мечтаний. Осуществилась и та политическая комбинация, руководить которой Штреземан считает себя призванным уже много лет: в его правительстве представители тяжелой промышленности будут сидеть рядом с социал-демократами.

Мысленно, по пути ко дворцу президента на Вильгельмштрассе, Штреземан кратко резюмирует для своего собственного употребления свою карьеру. Империалистические грехи молодости как будто изжиты, а вместе

с ними и его более чем прохладное отношение к республике. Он знает, что его республиканцы и сторонники политики соглашения примут с распростертыми об'ятиями. Не потому, что аннексионистский Савл превратился в пацифистски республиканского Павла, и не потому, что в республиканском небе больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за десяти праведников. Он, Штреземан, не один идет к Эберту: за ним незримо идут огромные, могучие полчища промышленного и финансового капитала. Тот факт, что вождь народной партии, которую тогда по справедливости называли «партией Стиннеса», соглашается стать во главе правительства большой коалиции, свидетельствует о том, что тяжелая промышленность милостиво признала республику и, скрепя сердце, согласилась на долгие годы делить свою прибавочную стоимость с буржуазией победоносной Антанты. Она посылает для переговоров с послами и министрами Антанты своего умнейшего и талантливейшего представителя. Этим она демонстрирует, что она добивается соглашения с антантовским империализмом всерьез и надолго. Она будет добиваться устами Штреземана лишь твердого установления репарационной дани и предоставления возможности окончательно расправиться с революционным движением рабочего класса, поражение которого он считает, впрочем, предопределенным.

Штреземан, вероятно, внутренне улыбается, представляя себе, как он в рейхстаге с высокой трибуны, больше для внешнего, чем для внутреннего употребления, будет говорить о том, что он «быть может, глава последнего конституционного правительства Германии». Этот намек на то, что после него возможна, в случае его поражения, или правая контр-революционная, или левая пролетарская диктатура (любая из них не улыбается буржуазии Антанты) придуман Штреземаном для того, чтобы заставить, наконец, буржуазию Антанты отказаться от неразумного сопротивления созданию в Пруссии и в остальных частях Германии сильной полиции. Зеверинг, социал-демократический министр внутренних дел Пруссии, создает эту полицию как армию исключительно гражданской войны, и Штреземан даст понять послам Антанты, как неостроумно мешать германской буржуазии победить свой собственный трудовой народ. С дипломатами он будет говорит дипломатическим языком. Но иностранным журналистам он скажет: «Нельзя же от меня требовать, чтобы в случае социальной революции я посылал к каждому полицейскому специального курьера с известием, что ему надо собраться и бежать защищать государственную власть». Он это скажет без особой горечи, без особого пафоса, он просто зло и остроумно пройдется насчет Пуанкаре и других непримиримых империалистов Антанты, которые из жадности никак не хотят назвать своей цены за восстановление германской великодержавности. Он быстро очарует своей находчивостью и остроумием (как типичный берлинец, он именно в несчастьи оптимист) иностранных журналистов. Они создадут ему даровую рекламу, они дадут понять общественному мнению стран Антанты, а еще больше Америки (это самое важное), что наконец-то в Германии нашелся государственный деятель, с которым можно и должно договориться.

Со Штреземаном можно договориться, ибо «Песнь песней» германской политике солашения написали Эрцбергер и Ратенау, Вирт и даже Куно с его гарантийным пактом, а Штреземан собирается лишь ее переиздавать по поручению тяжелой промышленности и брать себе гонорар в виде исторической славы. Он мысленно повторяет все ошибки, которые сделали его предшественники, пытавшиеся предвосхитить, как некогда он сам, Штреземан, историческое развитие. Он знает, от каких плевел надо очистить предложение разрешения репарационного вопроса и гарантии безопасности Франции, которое было сделано Германией Вирта — Куно. Он знает, как надо

пользоваться советским козырем в той большой игре, которую он собирается играть с Антантой. Он чувствует, что пока неправильно было бы махать Раппальским договором, как это делал Вирт. Он осторожно спрячет этот козырь в карман, но будет продолжать трезвую политику добрососедских отношений с Советским Союзом. Пусть его обвиняют в том, что он не мыслит в таких широких политических линиях, в каких мыслили Вирт и Ратенау. Он слишком вырос, чтобы бояться невыгодных для его политического тщеславия сравнений. Он сможет и указать на то, что именно он еще в 1920 году до Вирта и до Ратенау выступил в рейхстаге публично с требованием возобновления, по крайней мере, торговых сношений с советской Россией, о дружбе с которой тогда думали лишь политические авантюристы. В политическом эклектизме Штреземана есть, как вы видите, даже и этот момент, которым он мог перещеголять и рапапальских сиамских близнецов — Вирта — Ратенау. Надо ли говорить, что Германии в ее положении нужен был именно такой политический эклектизм, нечто вроде воодушевленного политического универмага, который мог бы во всякий данный момент борьбы с победоносной Антантой за подступы к германскому неоимпериализму вынуть из своего политического арсенала именно то, что требуется.

Как ни хорошо подготовил Штреземан свое появление на политической авансцене, все-таки ему пришлось до дна испить чашу огорчений и разочарований, пока он через дебри антантовско-империалистического леса добрался до опушки Дауэса и Локарно. Это разочарование Штреземана не могло быть даже компенсировано тем фактом, что ему удалось взять реванш на внутреннем фронте и, с помощью рейхсвера, подавить авангарды социальной революции в Саксонии и Тюрингии, восстание в Гамбурге, окончательно лишить всяких претензий на какую-либо самостоятельную роль германскую социал-демократию, превратившуюся в служанку германского монополистического капитала, нанимаемую, по мере надобности, на поденную черную работу. Эта внутренняя компенсация тем меньше удовлетворила Штреземана, что именно победа на внутреннем фронте побудила гегемона германской буржуазии, тяжелую промышленность, фактически освободить Штреземана от внутриполитических заданий и поручить ему исключительно осуществление внешнеполитического задания: восстановления германской великодержавности. Эта последняя должна была выразиться в выходе антантовских войск из оккупированных по Версальскому договору рейнских провинций и в создании предпосылок для нео-империалистической германской политики в виде покупки для Германии у Антанты новых рынков.

В эту решающую эпоху своей политической жизни Штреземан встречается с английским послом в Берлине, небезызвестным лордом Даберноном. Штреземан и английский посол были и раньше знакомы. Их сотрудничество было почти исторически предопределено. Из дневников лорда Дабернона мы знаем, что еще в 1921 году (после лондонского ультиматума) Штреземан запрашивал у английского посла, какую поддержку оказало бы ему английское правительство, если бы он, Штреземан, стал во главе германского правительства? Добернон утверждает, что лишь запоздалый ответ из Лондона не дал возможности Штреземану уже тогда, с благословения Англии, стать германским канцлером. Он стал им в 1923 году без английского благословения, но старое знакомство было немедленно возобновлено и быстро превратилось в дружбу. Правда, дружба представителя могущественной победоносной Великобритании с руководителем побежденной, навязывающей вторичное добровольное признание Версальского договора Германии была тем, что в политике называется «societas leonina». В продолжительных разговорах Штреземана с Даберноном (они виделись почти ежедневно у знамени-

того германского художника Ленбаха, писавшего портрет Штреземана) родилась идея активизации германской внешней политики, приведшая Германию к Локарно и вступлению в Лигу наций. Однако сомнительно, принесла ли бы эта активизация всем известные локарнские плоды, если бы за это время в руководящих странах Антанты, во Франции и Англии, определенный исторический процесс не привел бы к власти Эррио и Макдональда как представителей тех прослоек буржуазии, которые по отношению к Германии признали такую простую истину, что нельзя резать курицу, если хочешь, чтобы она несла золотые яйца. Первый климакс в карьере Штреземана составляет историческое свидание Макдональд—Эррио в Чекерсе, на котором Штреземан, естественно, даже не присутствовал. Таким образом, прекращение рурской борьбы, проведенное Штреземаном, встретилось чисто механически с контр-акцией Антанты. В этом нет никакой заслуги Штреземана. Даром предвидения он не обладал. Но ему повезло, а счастье есть одна из основных черт политического таланта. Политик должен уметь лишь использовать тот шанс, который ему дает чисто механическое иногда стечение обстоятельств.

Штреземан предоставленный ему шанс несомненно использовал. Одна из самых остроумных шуток, которые позволила себе история,— это та, которую она отпустила по адресу Штреземана. Штреземан во время мировой войны детски радовался по поводу каждого торпедированного германскими подводными лодками американского судна и предвкушал радость победы Михеля над дядей Самом. Но уже когда кабинет Куно представился германскому рейхстагу, и с коммунистических скамей прозвучала кличка: «ставленники американского капитализма»,— депутат Штреземан, вздохнув глубоко от самых сокровенных мечтаний, ответил: «Мы были бы счастливы, если бы Америка заинтересовалась нашей судьбой». И став руководителем германской внешней политики, тот же Штреземан пользуется прежде и раньше всего шансом, который дан ему планом Дауэса и соглашением в Локарно для того, чтобы привлечь сколько возможно американский капитал к восстановлению германской промышленности и германского народного хозяйства вообще. Штреземнау казалось, что 15 миллиардов германской задолженности Америке предопределяют помощь Америки в восстановлении германской политической независимости от Антанты.

Одновременно ему казалось, что с подписанием локарнского соглашения, со вступлением Германии в Лигу наций уже исполнено то первое задание, которое было поставлено ему германской тяжелой промышленностью: освобождение Рейна и восстановление германской великодержавности. Недаром он повесил над своим письменным столом телеграмму, извещавшую сидевшую в Берлине на упакованных чемоданах германскую делегацию, что Германия принята в Лигу наций. Но дело с восстановлением германской великодержавности не обстояло так легко, как это рисовал ему во время сеансов у художника его друг Дабернон. Купленная великодержавность имеет тот из'ян, что продавец в договоре о купле-продаже обязательно оставляет лазейки, с помощью которых он заставляет своего покупателя стать своим постоянным клиентом. Не сразу понятная Штреземану диалектика процесса восстановления германской великодержавности и приобретения (а никак не завоевания) подступов к германскому нео-империализму предопределяла естество этого нео-империализма как нечто служебное и подсобное по сравнению с незыблемым империализмом Антанты. Те освободительные моменты, которые по замыслу Штреземана должны были получиться почти немедленно после Локарно и вступления Германии в Лигу наций, получились с опозданием ровно на 4 года. В промежутке Германия была осуждена на размышления об естестве своего нео-империализма. Эти рассуждения не

были бесплодны: Германия, после плана Дауэса, пришла по собственной инициативе к плану Юнга, и после Лондонской конференции Штреземан торговался со своими антантовскими партнерами в Гааге.

Говорят, что в Гааге в тот вечер, когда выяснилось с ужасающей для Германии четкостью, что она опять должна покупать очередные подступы к осуществлению своего нео-империализма, в сознании, что эта покупка происходит никак не в последний раз, Штреземан целый вечер истерически плакал. Физически больной министр, за спиной которого стояла смерть, своими слезами написал в Гааге эпилог своей политической карьеры. Он понял, что он достиг на службе германской буржуазии определенной цели. Но, придя к ней, он понял, что он, собственно говоря, пришел не туда, куда он хотел притти. Он пришел к выходу Германии на большую империалистическую дорогу, он приоткрыл даже калитку и увидел, что дорога имеет совершенно определенное направление, выработанное без участия Германии Англией и Францией. Он понял еще, почему он был так популярен за последние годы своей политической карьеры в кругах тяжелой промышленности и финансового капитала, которые приспустят несколько позже, в день его смерти, флаги своих крепостей-предприятий. Если Штреземан все время шел на несколько шагов впереди своего класса, то в последние годы его класс, промышленный капитал, лучше его понимал, куда должна привести Германию внешняя политика Штреземана и заранее соглашался с настоящей, а не предполагаемой Штреземаном целью: германский нео-империализм как подсобный фактор сверхимпериализма Антанты. Он соглашался со Штреземаном потому, что политика Штреземана возвеличения германского престижа набивала продажную цену германского нео-империализма. Промышленники и банкиры боготворили Штреземана потому, что им казалось, что имей они политический и ораторский талант Штреземана, обладай они его умением вести дипломатические переговоры, они поступали бы именно так, как поступал Штреземан. Штреземан потому займет совершенно определенное место в истории германской буржуазии, что он был как бы уменьшенным изданием, экстрактом из всех тех германских промышленников и финансистов, которые стремятся добиться любой ценой соглашения с Антантой и Америкой. Штреземан был не только представителем своего класса, он был, что редко бывает, некоей воодушевленной величиной, выведенной за скобки из суммы всех тех элементов, из которых составляется определенный класс. Но он был таким представителем только для одного определенного переходного периода. Его подсознательное созидание совершенно своеобразного германского нео-империализма годилось только именно для этого переходного периода. Для нового периода нужны политики другого, не штреземановского калибра: более упрощенные, более приспособленные для откровенного, циничного торга.

Когда Бриан узнал о смерти Штреземана, он велел приспустить над зданием французского министерства иностранных дел национальный флаг Марианны. Он прервал свой отпуск для того, чтобы лично выразить свое соболезнование представителю Германии. Макдональд, находившийся на пути в Америку, послал по радио свою слезницу германскому народу. В самом Вашингтоне он повторит свои скорбные излияния перед собравшимися американскими сенаторами. Его заместитель в Англии, Сноуден, прервал заседание с'езда рабочей партии в Брайтоне и произнес надгробное слово памяти Штреземана, подчеркнув, что он говорит как представитель премьера, как руководитель рабочей партии в палате общин и как вождь английской демократии. Мало того: он заставил с'езд принять еще особую

резолюцию. Но Бриана, Макдональда и Сноудена перещеголял американский посол в Германии, Шурман, заявивший в своем послании германскому народу, что Штреземан по своему характеру и уму родственен Линкольну и мог бы быть американским государственным деятелем. Большей похвалы со стороны американца европеец не дождется до второго потопа. Штреземан побил, что называется, лежа в гробу, все рекорды. Германская буржуазная печать, как она ни плакала в своих передовицах по поводу смерти государственного деятеля, осуществившего будто бы в политике категорический императив Канта, в информационном отделе захлебывалась от радости, сообщая изо всех столиц мира о том почете, который был оказан Штреземану, и в котором отражалось недавно народившееся великодержавие Германии, восстановление ее удельного веса на мировой политической арене.

Однако Штреземан улыбается на смертном одре. Это факт, зафиксированный фотографами и увековеченный снятой с него маской. Не потому ли он улыбается, что он, основоположник германского нео-империализма, видит с другого берега, что все восхваления Бриана и Макдональда носят характер славословий бойких коммивояжеров, обхаживающих нужного им клиента?

Муравьи революции

(Биографическая повесть)

П. Никифоров

В далекой Сибири, вдоль Якутского тракта, лежит большое село Оек. Оек являлся первым этапом, первой остановкой политических партий, отправлявшихся из Александровского каторжного централа и из иркутской тюрьмы в якутскую ссылку.

Я родился и провел свое детство в Оеке.

Мой отец, сибиряк-золотоискатель, много лет путался по тайге. Мать жила в селе и кое-как вела небольшое хозяйство. Сестры и брат работали по «людям», а я, последыш, учился в приходской школе. Лет сорока отец бросил путаться по приискам голышом и вернулся из тайги домой: лет пятнадцать прожил он после этого в Иркутске по найму и потом уже окончательно вернулся к крестьянскому хозяйству и сидел на нем до самой своей смерти. Помер он 96 лет, мать померла на двенадцать лет раньше.

Я окончил школу 12-летним мальчишкой.

После школы отец отвез меня в город и сдал учеником в бакалейный магазин к богатому купцу Козыреву. От Козырева я перешел на лесопильный завод Лаптева. Рабочий день у Лаптева был часов 12, завод работал на две смены круглые сутки. Моя задача была следить за масленками пильных рам на шатунах под полом. 12 часов в сутки в древесной пыли под полом делали работу невыносимой: проработав полтора года, я оставил завод и поступил сторожем на телеграф. Работа на телеграфе, к удивлению моему, оказалась еще тяжелее, зато я получал жалованья уже не 12 рублей, как на заводе, а 17 рублей. Правда, я там топил 19 печей, заправлял 60 керосиновых ламп, бегал в кабак за водкой телеграфистам и в кондитерскую за плюшками телеграфисткам. Жил в грязной от керосина и копоти кухне, а спал в шкафу и никогда не высыпался, но и там я прожил незаметно около полутора лет. Выручил меня оттуда надсмотрщик Петров, взяв с собой в качестве рабочего в экспедицию, проводившую телеграфную линию на Якутск. Жалованье мне положили 30 рублей в месяц. Тут я выбился на твердую дорогу. Это было в 1900 году.

По возвращении из экспедиции поступил на то же жалованье на телефонную станцию в качестве штатного рабочего, а через год был приглашен в качестве электромонтера на 60 рублей в месяц.

В 1901 году я через Спиридона Милавского, рабочего телефонной сети, попал в социал-демократический кружок, собиравшийся раза три в год либо у него на квартире, либо в доме купца Милля, а в 1903 году я уже впервые руководил — и успешно — стачкой рабочих завода винной монополии.

В 1904 году меня призвали на военную службу. В тот год весь молодняк Сибири направили на пополнение Балтийского флота. Эскадры Рождествен-

ского и Небогатова сильно разредили людские резервы Балтийского флота. Шла усиленная подготовка новых кадров.

В Иркутске я получил явку в Петербург, в Технологический институт, к Владимиру. Тот передал меня курсистке «Насте Мамонтовой», которая первое время служила связью между мной и партийной организацией.

Нас назначили в 8 флотский экипаж. На следующий день по прибытии вызвали электро-монтеров из новобранцев. Вышло нас человек шесть. Унтер-офицер в темной шинели и в фуражке с георгиевской ленточкой, детина ростом около сажени, расспросил всех нас. У меня был такой разговор с ним:

— С динамо-машинами знаком?

— Знаком,— ответил я.

— Грамотный?

— Грамотный, окончил приходскую школу.

— Я этого беру,— обратился он к сидевшему за столом матросу.

До присяги нас выпускать за ворота не полагалось; присягу же мы должны были принять в конце января, после окончания строевой учебы. После присяги специалисты от строевой учебы освобождались и посвящали все свое служебное время своим специальностям.

Настя аккуратно посещала меня по воскресеньям, приносила понемногу литературы и указания, как начать работу среди матросов экипажа. Скоро у нас образовался кружок. Читали литературу, газеты; никаких особых революционных планов у нас пока не возникало.

9 января

9 января прошло мимо нас. Еще накануне 1 и 2 машинные роты получили приказ сдать оружие. Этот приказ вызвал среди команды недоумение; я тоже не понимал причины этого, хотя о митингах на заводах меня информировали, но о восстании или вообще о чем-либо серьезном разговоров не было. Я хотел вечером пойти справиться в партии, но оказалось, что отпуск матросов из экипажа прекращен, а вокруг экипажа усилены караулы. Выйти мне не удалось. Все эти меры повысили настроение среди матросов; всю ночь шло тихое митингование.

Утром 9 января меры предосторожности были усилены. Все начальство явилось в роты в дежурном снаряжении. Откуда-то принесли ворох деревянных палок. Палками вооружили человек 20—30 команды и по 2 человека поставили у окон, выходящих на улицу; был дан приказ, если начнут рабочие вламываться в окна, отбивать их палками.

Лишь на другой день мы узнали о трагедии у Зимнего дворца.

9 января произвело гнетущее впечатление даже на строевые команды и на некоторую часть офицеров, которые ходили с растерянным видом и шептались в уголках, стараясь не попадать на глаза высшего начальства.

Через два дня в экипаже все уже вошло в обычную колею. Только более усилился поток агитационной боевой партийной литературы.

«Полярная звезда»

Весной наша рота была назначена на императорскую яхту «Полярная звезда», корабль крейсерного типа, скорее похожий на пловучий дворец. Черный корпус, створчатые иллюминаторы-окна в два ряда. Идеальная чистота на верхней палубе, начищенные медные и латунные части, сияющие зеркалами. Чрезвычайная чистота во всех внутренних мастерских и машинных частях судна. Царские покои убраны с особой и весьма редкой роскошью.

Каюты командного состава обставлены также весьма роскошно. Стоимость судна с ремонтами расценивалась в 32 000 000 рублей. Одевали матросов хорошо, даже рабочие костюмы были из высокого качества тонкого брезента. Только пища была среднего качества. Командный состав судна состоял целиком из «сиятельных» и «светлейших», из более низшего ранга, кажется, был только барон Розен. Командиром был капитан первого ранга граф Толстой. Старшим офицером был лейтенант Философов, личность политически весьма подозрительная, которого боялись все остальные офицеры. Существовало подозрение, что он тесно связан с охранкой. Это подозрение было тем более вероятно, что императорская яхта не могла не находиться под непосредственным надзором охранки.

Я был назначен в минно-машинное отделение в качестве машиниста, под команду капрала Маковского.

Пока яхта стояла на Неве, мне удалось побывать в городе и нагрузиться кое-какой литературой, которую я хранил на яхте. Кружок наш немного разбился, на яхту попали только двое: я и Соколов. Соколов был на «Штандарте» (яхта Николая II), но после аварии «Штандарт» был поставлен в доки на долгое время, и Николай в 1905 году пользовался «Полярной звездой», яхтой вдовствующей императрицы.

Приготовились окончательно к кампании, и в мае месяце «Полярная звезда» вышла из Невы в сопровождении двух миноносок и стала на «бочку» на малом Кронштадтском рейде. До июля мы благополучно плавали вокруг бочки, и я за это время два раза ездил в Кронштадт. В Кронштадте виделся с земляками, среди которых уже шла усиленная революционная работа. Работали, главным образом, матросы, присланные из черноморских частей. Создались сильные кружки в 16 экипаже, в 6—4 и др., настроение наших сибиряков было в огромном большинстве боевое. Когда спрашивали меня, как у нас на яхте, я мог ответить, что такого под'ема нет.

— А что вы думаете делать? — спрашивал я у земляков.

— Что? вот погоди, офицеров громить будем; наши вожаки говорят, что скоро все подымемся.

Мне казалось, что действительно в Кронштадте идет большая работа, я чувствовал себя немного неловко за мою отстающую от кронштадтской работу на яхте.

Был я в 7 экипаже на собрании матросского кружка, выступал там черноморец,— в кружке было человек 50,— говорил о строгости дисциплины и о зверствах офицеров. Говорил много о революции такого, что мне уже было известно, матросы внимательно слушали и молчали, только изредка ругались, когда оратор касался тяжестей матросской службы. Когда дошел до сроков службы и заговорил о необходимости сокращения сроков, поднялся шум: была нащупана больная жилка. Два раза я был на заседаниях кружка, и оба раза гвоздем разговоров был вопрос о сокращении службы.

По пути говорилось о том, чтобы «прижать хвосты офицерне», о «режиме» и так далее.

Но плана, даже программы не было, как-то все эти разговоры не кристаллизовались в ясных формулировках. Чувствовалось, что у «черноморских практиков революции» еще нет «стержня». Несмотря на это, работа матросов в Кронштадте влила в меня новые силы, и мне уже казалось, что воспитательная кружковая работа недостаточна. Нужно было проявлять какую-то активность. Заряженный настроениями Кронштадта, я немного выбился из колеи и потерял свою прежнюю осторожность. Возвращаясь на яхту я, как всегда, потащил с собой литературу. А кроме литературы я еще захватил несколько газет революционного содержания. Выходя из катера на яхту, я

встретил старшего офицера Философова. Увидав у меня газеты, он подскочил ко мне и вырвал их.

— Это откуда? — закричал он на меня.

Я вытянулся в струнку и ответил, что газеты купил в Кронштадте.

— А-а, в Кронштадте, хорошо, иди!

Как он не догадался меня ощупать, я не знаю, только помню, что готов был выполнить все его требования с абсолютной точностью, лишь бы он до меня не дотрагивался. И когда он меня отпустил, я на крыльях шел к себе на нижнюю палубу и сгрузил Соколову всю свою нелегальщину.

Через некоторое время меня вызвал минный офицер, непосредственное мое начальство.

— Никифоров, ты чего наделал?

— Не могу знать, ваше благородие, как будто ничего.

— Хм, ничего, говоришь? А какие ты газеты притащил?

— Купил в Кронштадте. Все покупают и я купил. Интересная газета, ваше благородие, все матросы читают.

— Интересная, говоришь? Так вот, за эти интересные газеты ты будешь подвергнуть судовому аресту на два месяца. Втечение этого времени ты с судна отлучаться никуда не будешь. Понял?

— Понял, ваше благородие.

— И какой чорт тебя сунул с этими газетами на глаза старшему офицеру лезть? Не мог спрятать? — офицер повернулся и зашагал по каюте.— Ты вот что, поменьше попадайся на глаза Философову.

— Есть, ваше благородие.

— Ну, иди.

Мне было ясно, что минный офицер не склонен ко мне сурово относиться за мой поступок и повидимому недолюбливает Философова.

Так я, благодаря минутной распущенности, оказался на два месяца лишенным связи с внешним миром. На Соколова надеяться было трудно, потому что, как только он дорывался до берега, всегда возвращался «на градусах», поэтому мы еще ранее с ним сговорились, что он не будет брать на волю никаких поручений, хотя он был неоценимым человеком на яхте или в экипаже.

Сидеть всю кампанию на судне, да еще на «бочке» было весьма неприятно и тяжело. Один день как капля воды похож на другой.

Однажды в один из июньских дней наш кок привез вместе с кислой капустой из кронштадтских погребов известие, что:

— В Либаве матросы взбунтовались и побили своих офицеров и, говорят, Либаву захватили.

— В Кронштадте матросы ура кричат, по улицам бегают. Говорят, тоже офицеров бить будут, добра мало будет,— добавил кок,— перепьются все.

На другой день мы получили известие, что в нескольких экипажах выбросили баки с обедом, разогнали из экипажей офицеров и выбили окна, идут большие митинги.

Через два дня наступало воскресенье, решили мобилизовать весь кружок, кроме меня, с'ездить в Кронштадт и толком добиться, что и как Выехать, однако, не удалось. Выход на берег команде был воспрещен.

Мы опять остались без информации.

Сорвал нас с ненавистной «бочки» неожиданный для нас «морской поход» — «Полярная звезда» ушла в море.

Свидание Николая с Вильгельмом

В июле в один из дней был дан приказ «готовиться к походу». Куда мы идем, никто не знал. Боевая вахта заняла места, задымили трубы, задышали огромные цилиндры, заворочались винты, и дремавшая махина яхты вздрогнула.

«Полярная звезда» стала под парами.

Через два дня яхта приняла «дворцовую присягу» — повара, лакеев, ад'ютантов во главе со стариком-солдатом, дядькой Николая II.

На третий день на яхте «Александрия» приехали Николай, царица со всеми детьми и вдовствующая царица с огромной свитой.

Потом приехал военно-морской министр Бирюлев, яхта снялась с якоря и пошла в море, сопровождаемая броненосцем «Славой» и эскадрильей минных крейсеров и миноносцев.

Якорь бросила яхта в Биорках. Николай занялся охотой на островах. Стали записывать матросов, желающих принять участие в облаве на лисиц. Я тоже записался, но меня вычеркнули, и когда я спросил почему, боцман ответил язвительно:

— Неблагонадежен.

Дня через три пребывания в Биорках прибыла германская императорская яхта «Гогенцоллерн» в сопровождении двух крейсеров и, кажется, двух миноносцев. Как яхта, так и крейсера были выкрашены в «мирный» белый цвет. Германская эскадра красиво выделялась на мутно-сером фоне Балтийского моря.

На «Гогенцоллерне» находился германский император Вильгельм II.

Салютную стрельбу из орудий открыл броненосец «Слава», ее продолжали крейсера и «Полярная звезда» до 101 выстрела. Германская эскадра, также салютовав 101 орудийным выстрелом, вошла в зону «Полярной звезды» и стала на якорь.

При первом визите на «Полярную звезду» Вильгельм принял рапорт и обошел вахты (фронт), поздоровавшись по-русски: «Здорова!» Вильгельм очень высокого роста, почти на голову выше всех, кто находился в его свите, и поэтому весьма выгодно выделялся. Его появление вызвало множество разговоров среди матросов: «Здоровый, не Николаю чета», «На Петра первого похож» и т. д. Одним словом, Вильгельм своим визитом произвел впечатление. Вместе с тем слышались и другие реплики:

— Вот рвануть бы, сразу две империи потонули.

Обмен визитами происходил ежедневно в течение трех-четырех дней. Велись переговоры. Старик-дядька передал нам:

— Немец все-таки облапошил Николая: соглашение подписал.

— Да ты расскажи толком, что подписал Николай? — спрашивали его. Старик только рукой отмахивался:

— Свитские говорят, что соглашение подписал, что немец надул.

Через три дня германская яхта, в сопровождении германских и наших судов, ушла из Биорк. «Биоркское свидание Николая с Вильгельмом» закончилось. После этого свидания среди свитских начали происходить довольно откровенные разговоры. Свитские собирались кучками, слышались в досадном тоне следующие реплики: «Но как же с Францией?!», и опять начало упоминаться имя Витте: «Жаль, Витте нет, он не допустил бы до соглашения».

Наши попытки добиться сущности «соглашения» никакого результата не дали; повидимому «свитские» знали только в общих чертах о соглашении и о каком-то противоречии с русско-французским договором.

Только позднее стало несколько известно, что Вильгельм вырвал у Николая в Биорках соглашение, по которому Россия обязана помогать Гер-

мании в случае войны с другим государством [1]. Говорили, что это соглашение направлено против Франции, в то время как у России с Францией имеется такое же соглашение, направленное против Германии, и которое продолжает действовать.

В общем, «свитские» об'явил: «Биоркское свидание скандально».

Для нас, однако, вопрос оставался неясным, и в дальнейшем мы им не занимались.

Пробыв несколько суток в Биорках, яхта снялась с якоря и вернулась в Кронштадт.

Спасаемся в шхерах

Сентябрь в Питере был нервным. Волнения в высших учебных заведениях расценивались матросами как «первая задирка революции», шумы этой задирки глухо доносились до Кронштадта, и их чутко улавливало матросское ухо. Глухое ворчание в рабочих массах, на которое опиралось студенческое бунтарство, тревожило напряженное матросское чувство. Матросня распоясывалась, кипела и плескалась через край.

Гнездом студенческого брожения был Технологический институт. Студенты густо набились в нем и жужжали, как осы. Кругом института рабочие, казаки, драгуны, полиция и прочая столичная масса тоже гудела и волновалась.

Полиция пыталась действовать по-старому рьяно, но окружающие настроения охлаждали ее пыл. Казаки держали себя так, что надеяться на них было рискованно; драгуны тоже энтузиазма к расправам не проявляли. Одним словом, было много шума в институте, еще больше вокруг института. «Задирка» развертывалась во-всю, с заводов и фабрик откликались неурочные волнующие гудки.

Флотские экипажи, некоторые гвардейские полки — Преображенский, Московский, Финдляндский, армейский Александро-Невский и др.— не только не могли быть двинуты на помощь полиции, но сами требовали особого надзора за собой. Командному составу этих частей приходилось ставить перед собой задачу во что бы то ни стало удержать свои части в казармах и не дать им выйти на улицу. Полицейские посты отодвинулись с перекрестков к сторонке.

Рассекая мутные волны Балтийского моря, «Полярная звезда», делая двадцать два узла в час, поспешно уносила «царствующий дом» от беспокойного города в спокойные воды финляндских шхер.

Я стою на вахте уже двенадцать часов, моя «француженка» в неустанном беге поет свои четыре тысячи оборотов в минуту, щетки динамо, злобно брызгаясь синими искрами, жадно впивают в себя электрические токи. Соколов, опершись на закованный в чугун «Феникс», дремлет. Уже пятнадцать человек кочегаров и машинистов выбыли из строя, не выдержав жары глубоких колодцев кочегарок и раскаленной стали машин. Небовые вахты послали на их место замену. Наш капрал Маковский, жирный, белобрысый, кляузный и трусливый человек, мучился с нами; тихонько трогая за плечо Соколова, плаксиво просил:

— Соколов, голубчик, не спи: скоро придем, сменишься, уснешь!

Соколов просыпался, смотрел мутными глазами на Маковского, сонно говорил: «Шкурра, уйди», и опять засыпал. Маковский трусливо смотрел на него и шел к трапу караулить, чтобы внезапно не наскочил дежурный офи-

---

[1] Текст договора приведен в мемуарах гр. Витте в следующей формулировке: «Германия и Россия обязуются защищать друг друга в случае войны с какой-либо европейской державой» (следовательно, с Францией).

цер. Мочил себе голову холодной водой из-под крана и крепился. Капризная «француженка» не позволяла дремать.

К утру ход «Полярной звезды» стал замедляться, и через некоторое время, судорожно вздрагивая громадным корпусом, яхта остановилась.

Глухо рокотали цепи якорей, сквозь стихающий гул стали выскакивать отдельные звуки, покрываемые до этого походным гулом судовой жизни. Наконец, все успокоилось, звуки стихли, и «Полярная звезда» мягко улеглась в покойные воды финляндских шхер.

На этот раз охрана была чрезвычайной: по ночам яхта окружалась сплошным огненным кольцом прожекторов с военных судов, плотным строем окружавшим императорскую яхту с ее «драгоценным» грузом.

Днем предосторожности были не менее усилены: быстроходные миноноски целыми днями шныряли на горизонте и не пропускали к яхте ни одной подозрительной щепки.

Николай попрежнему проводил дни на охоте на островах с облавой. Матросы, ходившие на облавы, огребали за каждую охоту по трешнице на рыло и были весьма довольны временной морской прогулкой. Меня попрежнему не допускали ходить на облаву-охоту, и я продолжал пребывать на положении поднадзорного, хотя срок судового надзора надо мной давно кончился.

Работа среди матросов опять значительно ослабла: усиленный надзор комсостава за командой, вызванный пребыванием царской семьи, возможность секретного надзора заставляли нас быть более осторожными, а следовательно, и менее активными. Кроме того, и настроение матросской массы также не благоприятствовало нашей работе: новизна обстановки, поездки на охоту, парадная суета, усиленные пайки и чарки создавали обстановку праздности и довольства. Молодежь особенно сильно поддавалась парадным настроениям, и наши попытки втянуть массы в революционные интересы большого успеха не имели. Вести нашу работу было трудно еще и потому, что мы за последнее время были совершенно отрезаны от внешнего мира и плохо разбирались, чтó там делается. Вороха ярких, но неопределенных слухов держали матросню в напряженном состоянии. Парадная поездка с царем давала пищу новым настроениям и переводила их на другие рельсы. Воспитательной работой к революционным настроениям повернуть матросню было невозможно. Матросня могла слушать внимательно только острое, что могло бить ее по приподнятым чувствам.

Дядька Николая частенько приходил к нам в минное отделение и мы неизменно угощали его водочкой из соколовских запасов. Старик целыми часами рассказывал нам о жизни Николая, о его молодости, о женитьбе и о семейной жизни. Старик недолюбливал молодую царицу.

— Немка она, чужая. Не будет нам пользы от нее. Все Николу к немцам тянет.

— Скажи, старина,— спрашивали мы его,— чего Николай в шхеры забрался?

— Знамо чего. Когда у Николы под ногами горячо, он всегда на воду уходит. Чай в газетах-то читали, что в Питере делается? Николай зря в море не поедет: он море не любит.

Николай действительно моря не любил. В то время как Михаил только и делал, что бороздил море то на катерах, то под парусом, Николай ни разу не принял участия в этих поездках. Единственными его поездками на катере были прогулки на охоту, которую он, должно быть, очень любил. Ездил он почти каждый день.

Раза два яхта готовилась к отплытию, но дежурная миноноска «Посыльный» привозила, повидимому, неблагоприятные известия, и мы опять оставались.

Подготовка к восстанию

К концу сентября «Полярная звезда» опять вернулась в Кронштадт и приклепалась на «бочку». Срок моего судового ареста окончился, и я с первой же очередью поехал на берег в Кронштадт.

В Кронштадте шла усиленная подготовка к восстанию: на собрании представителей экипажей делался доклад о проекте разработанных требований, которые перед восстанием должны быть пред'явлены через морское начальство царю. После довольно беспорядочного обсуждения требования были окончательно разработаны и приняты и сводились к следующему:

1. Сокращение срока морской службы до трех лет и сухопутной — до двух.

2. Увеличение жалованья до 6 рублей нижним чинам.

3. Выдавать хорошую обмундировку и хорошую пищу, а то приходится одеваться чуть не круглый год за свои деньги. Кормят тоже они человек по десяти из одного бака, больные и здоровые, все вместе. Некоторые по этой причине не могут есть и изнуряются. Поэтому каждый должен иметь свой прибор.

4. Матросы должны по своему усмотрению располагать свободным временем. Теперь же, как крепостные: всем, всем просить разрешения приходится.

5. Беспрепятственная доставка вина, так как матросы не дети, опекаемые родителями.

6. Военные должны иметь доступ всюду, на все частные собрания, теперь же они в этом стеснены. Например, в одном сквере есть надпись: «Вход собакам запрещен» и тут же внизу: «Матросам и солдатам вход воспрещается». А между тем, они «защитники отечества», исполняют трудную службу и в то же время наряду с собаками поставлены.

И целый ряд пунктов других бытовых и экономических вопросов.

О политических требованиях говорили много, но решили их сейчас не включать, а переговорить сначала с военной организацией в Петербурге. Политические требования были включены уже накануне восстания. После окончания вопроса с требованиями приступили к подсчету, какие экипажи и сухопутные части примут участие в восстании. Выяснилось, что можно надеяться если не полностью, то на бóльшие части всех экипажей, за исключением экипажа «Королевы эллинов».

На заданный мне вопрос, присоединится ли «Полярная звезда» к восстанию, я ответил, что можно быть уверенным — «Полярная звезда» примкнет. Мое заявление вызвало среди матросов довольное оживление. Все учитывали, что присоединение «Полярной звезды» к восстанию будет иметь большое моральное значение для участников восстания всего флота. Присутствующие на собрании крепостные артиллеристы заявили, что бóльшая часть артиллеристов настроена революционно и тоже, пожалуй, не отстанет от других.

Таким образом, намечалось, что на большинство кронштадтского гарнизона можно положиться.

Из Петербурга привезли много хороших вестей: бастует много заводов; бастуют железные дороги в Польше и на юге России. Говорят, что скоро будет революция. Эти известия нас еще более подбодрили, и мы энергично начали развертывать свою работу среди команды: мобилизовали сколоченный за последнее время актив на индивидуальную обработку. Мат-

росня, наэлектризованная за последние дни горячими слухами в Кронштадте и в Питере, стала падка до бунтарских разговоров. Наша работа постепенно вылилась в ночные «лежачие» митинги (лежа в койках). Все требования, с которыми мы знакомили матросов, встречали общее одобрение: требование о сокращении срока службы, об улучшении пищи и одежды и бытовые были близки, понятны матросам.

— Вот насчет офицеров и шкур надо, чтобы повежливее с нашим братом-то...— раздавались голоса матросов.

— Да, да, надо записать: кота офицерне погонять надо, а шкурам сала за шкуру, и по шапке, довольно, чтобы на матросском пайке от'едаться. Записывай, чтобы шкур со службы долой...

Бытовые вопросы всегда вызывали среди матросов оживление, и руки на офицеров и шкур всегда чесались сильнее.

Восстание на «Полярной звезде»

25 октября наш радио-телеграфист сообщил мне, что яхта приняла телеграмму о восстании в Кронштадте.

Радио-телеграфист передал это известие старшему офицеру, и по секрету передал нам. Известие это мы сейчас же распространили по команде и ночью устроили большой митинг в матросской палубе (вторая палуба).

Боцманы и квартирмейстеры пытались было помешать, но матросы на них дружно гукнули. Квартирмейстеры притихли, а боцманы хотели удрать наверх, но их не пустили. Так все и остались невольными участниками ночного митинга.

Когда мы после весьма кратких сообщений призвали на поддержку кронштадтцев, матросня дружно зашумела:

— Поддержать! поддержать!

Неожиданно для нас энергично поддержали наш призыв «старики», окончательно определившие своим выступлением настроение матросской массы.

Во время митинга мы получили второе радио, что в Кронштадте совместно с артиллеристами матросы захватили несколько экипажей и артиллерийские казармы.

Матросы это известие встретили дружным ура!

На шум прибежал к люку дежурный мичман, спустился до половины лестницы, испуганно спросил: «Что здесь происходит?» и, не дождавшись ответа, быстро скрылся. Кто-то подсказал, что офицеры могут убежать, что надо усилить у сходен караул. Вызвали начальника караула, велели ему усилить охрану сходни и поручили ему не выпускать офицеров с яхты. Тут же было решено арестовать старшего офицера Философова и старшего боцмана Шукалова, как более опасных и свирепых из всего командного состава «Полярной звезды».

Шукалова арестовали в его каюте. Он сидел совершенно одетый на своей постели и растерянно смотрел на вошедших матросов.

— Ну, шкура, выходи: погуляй, теперь довольно; топить будем!

Шукалов взвыл и повалился на колени.

— Б-братцы... дети... пощадите...

Матросы хохотали над страхом боцмана и выволокли его из каюты.

— Ишь, шкура, братцами называет. Погоди, скоро благородиями величать будешь.

Боцмана решили запереть в его же каюте и поставили у двери часового.

Философова искали по всей яхте, но он как сквозь землю провалился. Когда спросили караульную команду, то оказалось, что он сбежал в самом начале митинга. Повидимому, получив из Кронштадта известие о восстании, он решил не ожидать событий на яхте и заблаговременно удрал.

Остальным офицерам приказали сидеть по каютам до утра, что они беспрекословно и выполнили.

Митинг окончился на рассвете. Было решено пред'явить требования командиру экипажа контр-адмиралу Нилову через командира яхты.

Матросы разошлись и началось митингование по кучкам. Кое-кто спал, но большинство, лежа в висячих койках, усиленно курило и глухо гудело. «Шкуры» сидели и не уходили, боясь, чтобы их в чем-либо не обвинили и не «помяли».

Утром команда по заведенному порядку вышла повахтенно к поднятию флага. Очередные заняли вахты. Разрешили офицерам нести свои вахты. Офицерское старшинство принял на себя минный офицер по старшинству.

Командира на яхте не было.

Офицеры вышли из своих кают и с удивлением наблюдали новую, вдруг ставшую для них чуждою, враждебную матросскую массу, своевольно хозяйничащую на «императорской яхте». Офицеры чувствовали себя на яхте чужими и не у дел и не знали, уходить ли им по каютам или оставаться на палубе.

В Кронштадт по радио сообщили, что «Полярная звезда» примкнула к восстанию и сегодня командиру экипажа пред'явит требования. Несколько раз в течение утра запрашивали Кронштадт о положении дел, но ответа не получили.

Скоро на яхту приехал командир яхты и с ним командир экипажа контр-адмирал Нилов. Засвистели дежурные боцманматы: по-вахтенно во фронт, команда по привычке побежала наверх по вахтам. Но мы вырвали у дежурных свистки, поставили у трапов надежных людей и не пускали никого наверх. Собрались опять толпой в нижней палубе, заставили старшего боцмана взять выработанные нами требования, чтобы он вручил их адмиралу.

Адмирал дал приказ выйти наверх, но его самого потребовали вниз. Бледный, он спустился на нижнюю палубу и все время повторял: «Что скажет его величество...»

Он попробовал и тут построить команду, но все загалдели: «Не надо... поговорим и так...», и тесным кольцом окружили адмирала и командира яхты. Боцманмат, бледный и дрожащий, как лист, молча протянул бумагу адмиралу. Адмирал посмотрел на бумагу: «Как? Его императорскому величеству требования... нет... нет... нельзя...» Матросы загудели: «Чево там нельзя... вези ему требование... поймет!» Адмирал стал упрашивать, чтобы мы сняли политические требования и оставили одни экономические. Матросы опять загудели: «Нечего снимать, вези все, пусть читает...»

Тогда я вышел от имени команды и заявил, что «требования изменены не будут и мы даем шесть часов срока для доставки требований кому следует,— если в указанный срок вы не дадите нам положительного ответа, яхта уйдет в Кронштадт».

Адмирал испуганно посмотрел на стоящих плотной стеной матросов, тихо проговорил: «Хорошо, хорошо», повернулся и торопливо пошел по трапу.

Часа через три мы получили от адмирала телеграмму приблизительно такого содержания: «Его императорское величество повелел сократить срок военно-морской службы до пяти лет, а также удовлетворить все экономические желания моряков. Политические вопросы будут переданы на изучение и рассмотрение правительства».

На яхте поднялся радостный галдеж. Трудно было уяснить, чему больше радовались: тому ли, что добились сокращения срока службы, или тому, что заставили уступить.

Нужно полагать, что ввиду развертывающихся событий, адмирал получил предписание ликвидировать мятеж на яхте без излишнего шума, путем некоторых бытовых и экономических послаблений и до поры до времени команды не раздражать.

В первые дни «победы» нас действительно не раздражали. Пища была значительно улучшена, отпуска давались без особого стеснения, хотя строгость в отношении опаздывающих была прежней, но матросы против этого не возражали, даже создалось такое общее мнение:

— Раз свободу завоевали, то порядок надо держать.

И порядок держали. На яхте было создано нечто вроде клуба-читальни. Натаскано было большое количество легальной и нелегальной литературы. Все это было навалено на столах в нижней матросской палубе.

Матросы с жадностью набрасывались на литературу. Офицеры также сидели вместе с матросами в клубе и с интересом просматривали непривычную для них печать.

Разрыв с Кронштадтом сильно тревожил братву. Бурное кипение и неистовая непримиримость, с которой матросы быстро неслись к мятежу, рисовали пред нами тяжелую и кровавую борьбу. Братва притихла и тревожно ждала.

Кронштадтский мятеж

Дни Октября были мучительными днями. Напитанный токами растущей революции, Кронштадт нервно вздрагивал. Вяло и болезненно преодолевая дневную службу, матросы, как больной в жару, метались в бреду ночных митингов.

23 октября во время обеда пронесся по экипажам слух, что в три часа на Соборной площади назначен большой матросский митинг.

После обеда по нарядам не пошли. Учебные классы опустели. Вереницы матросов тянулись к собору. Большая Соборная площадь гудела и тяжело волновалась; десятитысячная толпа напирала к центру.

На трибуне, заломив на затылок фуражку, расставив широко ноги, нелепо размахивала руками фигура матроса, ветер трепал коротенькую черную ленточку; полуосипшим голосом он кричал:

— Товарищи! Сегодня здесь... мы должны сказать... наше решительное слово «довольно»!!

— Товарищи!! Рабочие всей России дружным ударом оглушили царский самодержавный строй!! Создали свой Совет рабочих депутатов, который защищает их права! Что же делаем, товарищи, мы? Наши начальники смотрят на нас, хуже, чем на зверей!.. Держат нас в грязных казармах, кормят гнилым, червивым мясом... сырым, как глина хлебом!!

— Долой самодержавие!

— Долой палачей-офицеров!

Друг за другом карабкались матросы на шаткую трибуну, укреплялись на ней и, тыча в пространство загорелыми кулаками, исступленно выкрикивали:

— Палачи!.. Гады!.. Кровопийцы!.. Долой!.. Довольно, попили!..

Толпа гудела, довольная крепкими словами, и радостно подхватывала:

— Пррравильноооо!!!..

— Товарищи! Вот наши требования! — провеяло над толпой.

— Давай, давай... Требования!!!

— Согласно` дарованному... манифестууу... матросы являются российскими гражданами!! Требуем избирательных прав... Уничтожения сословий.. Чтобы каждому была особая тарелкааа!!!.. Сократить срок службы!!..

— Сократиить!!!.. — отвечали эхом.

Спускалась ночь. Толпа заколыхалась. Взметывая разноголосый шум, возбужденные матросы кучками полились в экипажи. Митинг кончился.

Улицы пустели. Офицерское собрание было закрыто. Только в штабе сновали суетливые ад'ютанты; тревожно шептались власти, и ключ телеграфного аппарата нервно взывал в пространство.

В экипажах в эту ночь не спали.

Серое утро застало Кронштадт молчаливым. Экипажи безмолвно смотрели на пустынные улицы. Рабочие порта с узелками подмышкой стояли кучками у решетки парка и полушепотом обменивались словами...

Вдруг где-то вспыхнуло мощное вызывающее — урррاааа!!!

Вторая рота второго крепостного батальона, пред'явив требования своему начальству, разрывая хмурое утро могучим ура, пошла подымать находившийся по соседству минно-учебный отряд...

Кронштадт ожил. Матросы зашевелились. Наскоро пили чай и собирались во дворах казарм. Многие повыходили на улицу и собирались толпами на перекрестках. Седьмой экипаж встал под ружье. А молва уже радостно летела по городу: «Во втором крепостном восстание»...

Телефоны тревожно несли: «... Третий и пятый крепостные батальоны вышли из повиновения... минно-учебный отряд и учебно-артиллерийский самовольно покинули работы и вернулись в казармы...»

Никонов, схватившись за голову руками, кричал оторопевшему ад'ютанту:

— Удержать... удержать... во что бы то ни стало... передайте командирам: удержать команды в казармах под страхом суда... из столицы идет помощь...

По экипажам слух: арестованы солдаты второго крепостного... везут в форт.... Офицеры со шкурами запирают ворота экипажей и замыкают в казармах матросов... третий и пятый экипажи разоружены... первый экипаж на стороне офицеров...

— Наших арестовали, гайда выручать!! Бей офицерню!! Шкур! шкур давай! Ломай ворота!

А на крепостной ветке уже орудовала матросская и солдатская толпа, наступала на конвой, требуя освободить арестованных. Из штаба спешила боевая рота. Раздалась спешная команда: «Стрелять!» — но рота взяла к ноге и приказа не исполнила. Офицеры открыли стрельбу из револьверов, убили и ранили несколько человек. Толпа бросилась на офицеров. Офицеры, отстреливаясь, скрылись в штабе.

Матросы взволновались: «На ветке наших расстреливают», и массами хлынули на место разыгравшейся стычки.

Затрещали выстрелы. Это 7 флотский экипаж в полном составе и вооружении под руководством своего вожака матроса Булаевского послал боевое предупреждение 4 экипажу прекратить колебания и присоединиться к восстанию. Трусливые сбежали, а остальная часть экипажа влилась в ряды восставших. Минно-учебный отряд, а за ним и учебно-артиллерийский в стройном порядке вышли на улицу и, залпами салютуя восстанию, направились к 10 флотскому экипажу. Буйной ватагой высыпал 10 экипаж на широкий двор и, не выстраиваясь, пошел на выручку разоруженному пятому экипажу, а минный и учебно-артиллерийский отряды пошли на помощь 7 и 4 экипажам, осаждавшим офицерское собрание и офицерские флигеля. С разрывающим треском выстилали залпы по окнам офицерских флигелей

и морского офицерского собрания. Перепуганные офицеры поспешно покидали свои гнезда и прятались, кто куда мог... Матросская ярость безудержно гуляла по пустынным залам собрания, превращая в пыль роскошь и в осколки — зеркальные стекла...

— В город!! На Павловскую! Ура!!..

...На Павловской идут митинги.

Стремительно выносится на Павловскую отряд драгунской конницы. и с гиком бросается в аттаку. Масса дрогнула и подалась по дворам. Скалой выдвинулся вперед 7 флотский экипаж во главе с минно-учебным отрядом и застыл щетиной штыков.

Драгунский отряд не выдержал, и, сорвав атаку, смылся в проулок...

Спускалась ночь. Ближайшему форту «Константин» приказано было готовиться к защите Кронштадта от нападения выступивших из Ораниенбаума правительственных войск. Была захвачена радиостанция и по радио было извещено о восстании. Был дан по радио приказ по судам присоединиться к восстанию. Форт «Константин» принял приказ и приступил к исполнению: чистились крепостные орудия, открывались люки. Баталеру был дан приказ открыть погреб и приготовиться к подаче снарядов. Баталер изменил: открыв стальную дверь снарядного погреба, баталер зашел в погреб и закрыл за собой автоматически закрывающуюся тяжелую дверь. Форт остался без снарядов. Артиллеристы покинули ставший бесполезным форт и ушли в город.

Ночью правительственные войска стали сосредоточиваться вокруг провиантских складов и у арсенала, оттестнив к центру караулы повстанцев. Некоторые части повели наступление на окраинные матросские казармы с попыткой овладеть ими. Из Ораниенбаума на подводах подоспел какой-то армейский полк с пулеметами и, об'единившись с оставшимися верными правительству частями, повел наступление на Павловские казармы, где засели главные силы повстанцев. Матросы под руководством машинного квартирмейстера Волгина несколько раз оттесняли наступающих от центра и выбили их из района провиантских складов. Залпы, трескотня, отдельные выстрелы, ура накаляли историческую мятежную ночь; матросы дрались в строю, группами, в одиночку без команды; раненые сами ползли в казармы и сами перевязывали себе раны своими рубахами. В революционном штабе тревога: мало патронов.

Приказ: пробиться к пороховым складам.

Бой вновь разгорается с большой силой. Матросы двинулись на прорыв противника, но обожженные пулеметным огнем подались назад...

На вражеской стороне загремело ликующее «ура!»... к Кронштадту подходила бригада гвардейских войск.

Повстанцы, сжимаемые железным кольцом правительственных войск, стягивались к Павловским казармам и готовились к упорному, решительному бою...

Не один раз экипажи, врезаясь стальной колонной в ряды противника, расстраивали его ряды и отбрасывали с занятых позиций, но все теснее и теснее сжималось живое кольцо, все реже и реже раздавались ружейные залпы повстанцев... иссякали патроны.

Отряд за отрядом, группа за группой отходили матросы за цепь обороны, бросая во дворах экипажей ставшие бесполезными ружья и пустые подсумки. Оставшиеся с малыми запасами патронов только отбивали наступающих и, не нападая, медленно, шаг за шагом отступали к последнему пункту защиты — к Павловским казармам.

В экипаже

Только тридцатого октября мы получили из Кронштадта сравнительно достоверные сведения о развернувшемся восстании и о его подавлении.

Братва тревожно насторожилась. Старики ворчали:

— Держись, братва. Раз Кронштадт раздавили, доберутся и до нас... Прижмут хвосты.

Наша группа приготовилась к возможным арестам и подчищалась. Было неясно, как будет держать себя наше начальство.

В одну из проводимых нами тревожных ночей меня сняли с вахты и вывели с «Полярной звезды» на берег, где меня сдали конвою строевой команды нашего экипажа. Потом привели Соколова и еще троих нашей группы и всех повели в экипаж.

Развели по ротам и отдали под расписки шкурам. Меня принял наш фельдфебель-шкура с приветствием: «Что, сволочи, набунтовали? Выбьем из вас дурь-то. Дежурный, дай ему койку! И чтоб никаких у меня революций! Понял?».

Мое появление в роте с необычной аттестацией поднадзорного вызвало со стороны матросов ко мне внимательное отношение: они с любопытством расспрашивали у меня — производился ли нам допрос перед нашим списанием с яхты, и угрожает ли нам суд? Я им рассказал, как произошло наше изгнание с яхты: никто нас не допрашивал, и неизвестно, угрожает нам суд или нет. Тут же решили связаться с экипажными писарями и прощупать, что на наш счет там предпринимают.

— Так это дело не пройдет: тебе обязательно уходить надо. Кронштадцев вон тянут,— говорили некоторые матросы. Но я решил ждать, пока что-либо не выяснится. Соображения братвы и мои я сообщил во вторую роту. Оттуда мне ответили «подождем».

В защиту кронштадтцев

Ротный надзор первые дни был очень строг. Запрещено было без разрешения выходить даже на двор экипажа. Связь с партией все же не прерывалась, матросы поочереди брали отпуска и держали связь с представителями военной организации, а также дежурили у Совета рабочих депутатов и приносили нам все новости о его работе. Литературу приносили под шинелями целые охапки, мы тут же ее распределяли, часть по ротам, а часть отправляли на яхту. Первого ноября в экипаж пришел представитель военной организации, принес постановление Сов. рабочих депутатов о политической забастовке в знак протеста против предания кронштадтцев военно-полевому суду, а также обращение к гарнизону. Представитель передал мне приказ военной организации, чтобы я организовал выступление гвардейского экипажа с письменным протестом против предания полевому суду кронштадтцев.

В этот же вечер в первой строевой роте мы устроили митинг. Собрались почти все матросы и много унтеров. Прибежал запыхавшись шкура-старик, фельдфебель первой роты, но его как-то незаметно вытеснили в коридор и указали, что ему выгоднее ничего не видеть, а то ему же попадет от начальства. На митинге я зачитал постановление Совета и воззвание к гарнизону. Оба эти документа были весьма кратки и сводились к следующему:

— Царское правительство продолжает шагать по трупам, оно предает полевому суду смелых кронштадтских солдат армии и флота, восставших на защиту своих прав и народной свободы. Оно закинуло на шею угнетенной Польши петлю военного положения.

Совет рабочих депутатов призывает революционный пролетариат Петербурга посредством общей политической забастовки... посредством общих митингов протеста

проявить свою братскую солидарность с революционными солдатами Кронштадта и революционным пролетариатом Польши. Завтра, второго ноября, в 12 часов дня рабочие Петербурга прекращают работу с лозунгами:

Долой полевые суды! Долой смертную казнь!

Солдаты петербургского гарнизона!

Мы, делегаты Совета рабочих депутатов всего Петербурга, об'являем политическую забастовку 2 ноября.

Наше требование: освободить кронштадтских матросов и солдат от смертной казни.

Солдаты и матросы! рабочие поднимаются за ваших братьев, которых хочет замучить царское правительство.

Подадим же друг другу руки и спасем наших братьев-матросов, которым грозит смерть.

Когда я окончил чтение, поднялся гул:

— Правильно Совет говорит: всем надо вместе! Рабочие будут бастовать, а мы что?! Выручать надо кронштадтцев!..

Галдели по-матросски, долго и беспорядочно: выступали с ненавистью невыразимой, выступали много. Наконец, мне удалось взять слово и зачитать состряпанную тут же, на митинге, нашим кружком резолюцию, которая с поправками превратилась в воззвание, митингом принятое. В дополнение матросы предложили прибавить к резолюции требования, которые «Полярная звезда» пред'явила царю, что тоже утвердили.

Я отправил резолюцию митинга в военную организацию ЦК. Военная организация в тот же день выпустила ее особой листовкой в таком виде:

Российская социал-демократическая рабочая партия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы, матросы гвардейского экипажа, возмущенные поведением царского правительства по отношению к нашим кронштадтским товарищам, с безжалостной жестокостью расстреливающим славных борцов за свободу, — мы присоединяемся к требованиям товарищей-матросов Кронштадта и об'являем, что будем бороться до тех пор, пока наши желания и желания всего народа не будут выполнены. Когда мы найдем нужным, когда сорганизуемся и будем готовы для решительной битвы, мы будем с оружием в руках отстаивать наши права и права народа. Теперь мы об'являем протест против расстрела наших товарищей в Кронштадте и поддерживаем этот протест нашей забастовкой. Кроме того, мы требуем предоставить матросам и солдатам право жить по-человечески, а для этого считаем необходимым следующее:

1. Созыв Учредительного собрания из представителей народа, созванных путем всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосов.
2. Уничтожение царского самодержавия и замена его самодержавием народа, т. е. демократической (народной) республикой.
3. Уничтожение сословий: все люди равны.
4. Немедленное уничтоженние смертной казни.
5. Замена военно-полевого суда судом гражданским.
6. Не употреблять солдат и матросов для полицейской службы и для подавления беспорядков.
7. Предоставление всем военным права совместно обсуждать свои нужды. Предоставление для собраний военных казенных зданий. Собрания должны быть публичны, т. е. открыты для всякого желающего на них присутствовать как военного, так и штатского.
8. Сокращения срока службы до трех лет, что вполне достаточно для полного знакомства с морской службой.
9. Предоставление матросам и солдатам каждому отдельных приборов для еды в целях предупреждения передачи заразных болезней.
10. Предоставление матросам и солдатам права по своему усмотрению распоряжаться своим свободным временем.
11. Увеличение жалованья по крайней мере до 10 руб. в месяц.

Выставляя эти требования, мы предлагаем всем нашим товарищам, петербургским матросам, присоединиться к нам.

Долой произвол!

Да здравствует свободный народ, свободный матрос и солдат!

Да здравствует демократическая республика!

Требования выработаны социал-демократической группой матросов гвардейского экипажа.

В. О. П. Г. РСДРП.

Петербург, 3 ноября

Получив нашу резолюцию в виде листовки Военной организации, мы ликовали, как дети. Мы знали, что наша резолюция пойдет теперь гулять по всем полкам и экипажам. Хотя мы и знали листовку наизусть, однако, читали ее захлебываясь. Нам казалось, что дела наши идут хорошо, и в соответствии с этим и настроение наше было хорошее. Никто из нас не ожидал, что наше начальство в это время подкладывает нам свинью.

На электрической станции

В этот же вечер нашу роту неожиданно вызвали во двор экипажа. Я, как поднадзорный, остался в роте. Немного спустя вошел шкура и приказал мне одеваться и итти на двор в строй. Я поспешно оделся и вышел.

На дворе стояли в строю первая и вторая машинные роты, уже вздвоенные рядами. Народу из обеих рот набралось человек шестьдесят; тут же прохаживался молодой мичман. Я пристроился к левому флангу.

Раздалась команда: «Налево кругом, марш!»

И мы двинулись со двора, во главе с офицером. Я спросил своего соседа:

— Куда мы идем?

— А чорт его знает; кажется, картошку грузить.

— Что ты мелешь? Какую картошку?

— Грузчики бастуют, а у кока картошки нет: ну, вот нас и гонят за картошкой.— Сосед расхохотался. Потом уже серьезнее ответил:

— Бастующих где-то хотят нами заменить. Мичман о «долге» говорил, ну, вот — и идем долг выполнять.

За воротами мы увидели человек восемь кавалеристов, которые, выстроившись, поехали следом за нами. Трудно было понять, охраняли они нас или конвоировали.

Целый час мы крутились по улицам: перешли обводный канал и подошли к огромному заводского типа зданию и усталые остановились. У ворот и у окон здания стояли часовые: у канала, опираясь на перила, стояли рабочие и смотрели на нас с любопытством. Походило на правду, что нами хотят заменить бастующих рабочих. Я поделился своими опасениями с матросами.

Матросы насторожились: некоторые заговорили, не вернуться ли в экипаж?

Открылись железные ворота. Мичман скомандовал: «смирна!», и мы, не успев обменяться мыслями, двинулись во двор. Ворота захлопнулись, и мы оказались отрезанными от улицы.

Во дворе нас выстроили. Мичман выступил перед нами с речью, в которой нам об'яснил, что мы должны на этой электрической станции заменить забастовавших рабочих и пустить станцию в ход, что нам за это заплатят по три рубля в сутки, что работать мы будем под руководством инженера электрической станции. Потом мичман передал команду квартирмейстеру, приказал нам итти в станцию, а сам повернулся и вышел за ворота.

— Хороша картошка, брат,— сказал я соседу.

— Да, выгрузили, можно сказать.

Сбившись толпой, мы ввалились в помещение электрической станции.

Огромные блестящие паровые машины непривычно поражали своей молчаливой неподвижностью: гигантские паротурбины, как черные свиньи, лежали на блестящем полу станции. За дежурным столом возле распределительной доски сидели два человека в засаленных куртках. Это были инженер и механик электрической станции.

Инженер нам об'яснил, что в нашу задачу входит пустить четыре паровые машины, осветить все центральные улицы Петербурга и дать ток на заводы, которые работают электричеством.

Зная от нашего мичмана, что рабочие станции забастовали, а нас пригнали, чтобы сорвать забастовку, мы ответили инженеру:

— Сначала мы этот вопрос обсудим, а потом дадим вам ответ, будем или нет работать.— Инженер посмотрел на нас с недоумением и сказал:

— Я думал, что вас прислали работать, а вы, видать, митинговать собираетесь?

— Нам без митинга, как вам без молитвы, никак нельзя,— ответил ему кто-то из матросов.— Мы всякое дело митингом начинаем. Гайда, открывай митинг!

Братва загудела, и митинг открылся. Как всегда, в начале митинга бестолково пошумели, потом начали говорить и слушать. Я предложил к работам не приступать; в случае, если нас захотят отсюда увести, не уходить, чтобы вместо нас не прислали кого-либо другого. Так и сделали: от работы мы отказались. Инженер куда-то позвонил. Мы разбились по группам и с большим интересом рассматривали огромную станцию.

Из экипажа приехал экипажный ад'ютант и заявил нам, что если мы не будем работать, то нам приказано вернуться в экипаж. Мы ответили, что мы останемся на станции до конца забастовки.

— А работать будете?

— Если рабочие позволят — будем.

Адьютант подумал немного, потом отмахнулся рукой:

— Чорт знает, что с вами делать. — Повернулся и вышел.

В этот же вечер прибыли на станцию и матросы 14 и 18 экипажей. И тоже в сопровождении кавалерии. Матросы ввалились на станцию с шумом:

— Эй, бабушкина гвардия! [1] Бастуете, что ли!?

— Бастуем, грачи; а вы зачем прилетели?

— А мы — вам помогать! Машины еще не попортили?

Инженер опасливо посмотрел на буйную ватагу матросов, а потом озлобленно плюнул:

— Ну, и работнички! И какого чорта вас сюда понагнали?

Но на инженера уже никто не обращал внимания, началось опять оживленное митингование. Наше решение вновь прибывшими было одобрено.

На следующий день к нам еще прибавился народ: пришла электротехническая рота, после короткого митинга тоже присоединившаяся к нам. У них уже половина роты находилась под арестом за «волынку» на каком-то заводе, где им предложили заменить бастующих рабочих.

С приходом электриков нас набралось на станции около двухсот человек. Инженер только руками разводил, зачем нас понагнали такую уйму. Мы также не понимали, зачем набивают станцию новыми людьми, когда знают, что пользы от них ни на грош.

Просидели мы без всяких происшествий дня три. Рабочие попрежнему кучками дежурили у ворот. Обед нам привозили из своих частей. Вместе с обедом на станцию проскальзывала и водка, но в таком незначительном количестве, что пьяных не наблюдалось. На третьи сутки перед вечером на станцию пришла группа рабочих. О чем-то переговорили с инженером, а потом вместе с ним подошли к одной машине и начали возиться возле. Матросов эта возня взволновала. Окликнули рабочих:

---

[1] Гвардейский экипаж считался экипажем вдовствующей императрицы, поэтому нас в шутку называли «бабушкина гвардия». Матросов, носивших черные ленточки на фуражках, называли «грачами».

— Эй, товарищи, что вы хотите делать?

— Хотим машину пустить,— ответили рабочие.

— А кто вам позволил?— Рабочие смутились. Тогда к ним пристали вплотную. — Штрейкбрехеры?!

— Нет, нет, что вы, товарищи: Совет раб. деп. решил дать ток типографии, где печатаются «Известия» и осветить одну сторону Невского проспекта, чтобы легче было двигаться демонстрациям.

Мы, однако, этим об'яснениям не поверили и выпроводили рабочих со станции. Инженер попробовал запротестовать:

— Кто же здесь хозяин, я или вы?

Ему твердо ответили: «Пока станция находится под нашим наблюдением,— хозяева здесь мы, а вы уходите или не вмешивайтесь в наши распоряжения». Инженер молча ушел к своему столу.

Рабочие прислали к нам делегацию и просили осветить одну сторону Невского проспекта. Боясь нарваться на провокацию, мы предложили, чтобы рабочие выделили группу из своей среды и с протокольным постановлением прислали ее на станцию: только в этом случае мы дадим им пустить машину.

На другой день пришла эта же группа рабочих, вручила нам постановление Совета рабочих депутатов и общего собрания рабочих станции, подписанное председателем собрания. Посовещавшись, мы допустили рабочих пустить машину и помогли развести под котлами пары. Вечером свет был пущен. Некоторых из нас начало разбирать сомнение, правильно ли мы поступили, не спровоцировали ли нас? Чорт его знает, кто подписал эти бумажки? Решили, что лучше это дело прекратить. Выставить со станции рабочих было неудобно, поэтому решили сделать в подшипники подсыпку. В главные подшипники незаметно подсыпали песку, подшипник загорелся, и машину остановили.

Рабочие быстро обнаружили причину порчи и поняли, что мы им не доверяем. Они нам открыто сказали о своих предположениях и заявили, что работу прекратят, только просили нас больше машин не портить. Привели в порядок машину и ушли.

На следующий день нам приказано было перейти на электрическую станцию Гелиас. Подозревая, что здесь какая-либо провокация, мы итти отказались. Из экипажа пришло вторичное приказание с оговоркой, что нам предлагают только охранять станцию, а не работать. Рабочие Гелиаса узнали, что мы отказываемся, прислали к нам с письмом представителя, предлагая не отказываться, занять станцию. Мы потребовали протокольного постановления, рабочие нам его принесли, и мы уже поздно ночью перешли на станцию Гелиас.

Смысл нашего перевода выяснился потом: оказалось, что после нашего ухода оставшимся предложили приступить к работам, угрожая арестом; оставшиеся матросы и солдаты электротехнической роты отказались приступить к работам. Тогда власти решили раз'единить непокорных: электриков под конвоем увели домой. Матросов же больше не трогали, и они спокойно просидели в станции до окончания забастовки.

У Гелиаса мы пробыли полтора дня. Приступать к работе нам не предлагали. По окончании забастовки на станцию пришли рабочие.

— Ну, товарищи, отстояли кронштадтцев от полевого суда; правительство передает их обычному военно-морскому суду.

Мы об этом уже знали из газет.

В экипаж возвращались мы все довольные: вышло все ладно, промахов мы не сделали. Забастовка прошла с большим под'емом, правительство не решилось игнорировать такой дружной демонстрации и пошло на уступки.

На пекарне

Дня через три после нашего возвращения в экипаж ко мне забрел мой земляк, гвардеец Преображенского полка, Знаменский. Детина огромного роста и чрезвычайной силы. Когда мы ехали из Иркутска в Петербург новобранцами, Знаменский на станции «Тайга» забрался к томичам в теплушку, выпил с ними, а потом поссорился и повыкидал их всех из теплушки.

Знаменский входил в социал-демократическую группу первого батальона. Знаменский мне рассказал, что батальон был наряжен охранять Николаевский мост во время демонстраций, но отказался итти. Отказалась также выступить часть Московского полка и заперлась в казармах. В Гренадерском полку дежурный офицер застрелил солдата, который заявил, что гренадеры выступать против рабочих откажутся, и в полку по этому поводу произошла волынка: побили офицеров и шкур. Полк заперт в казармах и, кажется, четыре человека арестовано, несколько рот обезоружено.

Говорят, что нас также будут разоружать.

А как себя держат преображенцы?

— Спокойны; пусть, говорят, разоружают.

— Арестов у вас не было?

— Арестов не было, но офицеры все время дежурят по ротам... Я зашел тебе сказать, чтобы ты пока избегал заходить, а то, неровен час, еще схватят. Волынка может выйти. А мы решили пока ограничиться отказом от выступления против рабочих.

Информация Знаменского была весьма важной. Хотя военная организация наверно была в курсе дел, я все же послал Знаменского туда с запиской, чтобы они информировались у него о положении в Преображенском полку.

Товарищи по роте также приносили много новостей:

— Народ по улицам, все кучками — митингуют. А на Офицерской, у Совета, проходу нет. Народу уйма и шпиков бьют: как подберется шпик к Совету, так хватают и бьют, только ноги над головами мелькают...

Получилось известие о втором восстании севастопольских матросов. В этот же вечер получили кучу листовок по поводу событий в Севастополе: говорилось, что севастопольцы опять восстали, однако, никаких подробностей о том, все ли матросы восстали или только какая-либо часть, не было.

Только дня через два нам удалось узнать, что восстал крейсер «Очаков» под командой лейтенанта Шмидта, что восстание остальными судами поддержано не было.

Братва опять заволновалась — что же это? Опять по одиночке начинаем? Вечером собрались представители от рот: я им прочел две выпущенные СДРП листовки. В листовках говорилось:

«..... Сделайте же требования кучки сознательных солдат требованиями всей армии, соединяйтесь же в один союз для защиты их. Копите свои силы, не губите своих лучших людей разрозненными частичными бунтами. Начальству только на руку такие бунты: они помогают ему разбить вас по частям..... Крепите свою силу, об'единяйтесь, чтобы одним ударом свергнуть тех, кто смеется над нуждой солдата, кто давит его, как и весь народ».

— Вот это правильно, надо сначала всем сговориться, а потом уже вместе и делать, а поодиночке всех подавят. Братва этой мыслью была довольна. Всем нам казалось, что дело теперь пойдет лучше. Самое главное, чего до сих пор не говорили, теперь сказано: врозь не выступать,— только вместе.

Все эти события тянули меня вон из экипажа. Я стал думать, как бы мне легализовать выход за ворота. Я обратился к нашему квартирмейстеру, чтобы он помог мне это устроить.

— Ничего, браток, не выйдет: шкура может хватиться. Знаешь, чего я тебе посоветую? Иди, браток, на пекарню, там тебе лучше будет.

— А ты думаешь пустят?

— Проситься будешь,— не пустят, а если я предложу шкуре тебя туда сплавить, он с удовольствием согласится.

Пекарня — это было место, куда сплавляли безнадежных и не поддающихся дисциплине. Работа там была тяжелой, и потому пекарня называлась каторгой. Добровольно на пекарню никто не шел.

Я с предложением квартирмейстера согласился.

Что говорил мой приятель шкуре, не знаю: через два дня получился приказ назначить меня кочегаром на пекарню.

Пекарей проверяли только вечером, ночью и днем в пекарню никто не заходил. Освоившись с новым положением, перезнакомившись с пекарями, я стал расспрашивать, каким образом они устраиваются с отпусками. Большинство пекарей было по разным причинам лишено отпусков, поэтому пекарня уже давно изобрела свои способы получения отпусков в город.

Делалось это просто: за некоторую мзду писаря представляли штемпелеванные картонки, на которых писались отпускные билеты, вписывались фамилии, и билет был готов. Таким же пропуском снабдили и меня.

Имея на руках билет, я каждый вечер имел возможность выходить за ворота. Работа моя оживилась. Я теснее связался с организацией и заражался настроениями от непосредственного источника. Литературу я забирал в неограниченном количестве. Литература аккуратно распределялась по пачкам для всех рот и для «Полярной звезды». Представители от ротных кружков приходили на пекарню: сообщали о работе в своих кружках, о настроениях в ротах; я снабжал их новостями и инструкциями, когда это было нужно. Представители получали от меня литературу и расходились.

Загнанные на каторжную работу в пекарне, пекаря с особым удовольствием принимали участие в предприятиях, направленных против ненавистного начальства, и помогали кто как мог. Так «дно», куда сваливалось все, что причиняло беспокойство в ротах, превратилось не только в склад литературы, но и сделалось центром революционной пропаганды в экипаже.

Старики, проведшие на пекарне почти всю свою семилетнюю службу, как штрафные, помогали мне усиленно и искренне: указывали, кого следует опасаться, кому можно доверять.

Кронштадтское восстание крепким заветом легло на сердца братвы: не кричали о Кронштадте, но упорно о нем твердили, когда заходил разговор о революции. Братва как будто знала, что Кронштадт еще и еще повторит свою кровавую встряску.

Работа в пекарне была тяжела, но зато партийная работа протекала прекрасно. Совет рабочих депутатов давал много пищи для взбаламученных умов матросской братвы. Начали носиться в воздухе разговоры, что матросы опять готовят восстание. Параллельно неслись и другие слухи: что правительство готовится к погромам, что собираются громить студентов и евреев...

Однажды перед вечером ко мне на пекарню пришел посланец из военной организации:

— Возьмите с собой несколько человек надежных товарищей и, если можно, вооружитесь револьверами и вот по этому адресу явитесь в распоряжение «Васильеостровской дружины» сегодня же ночью.

— А в чем дело? — спросил я.

— Ходят слухи, что сегодня будет погром: установлено, что некоторые дома, где живет много студентов, черносотенцы отмечают меловыми крестиками.

Я срочно собрал представителей кружков и сообщил им о приказе военной организации. Выяснилось, что без особого риска могут отлучиться человек восемь. Наметили людей и поручили снабдить их по возможности револьверами. После поверки мы поодиночке вышли из экипажа и отправились на Васильевский остров.

Дружинников собралось человек двадцать пять: нас восемь человек, рабочие и студенты. Все мы, не раздеваясь, легли вповалку на полу, только лишь начальники дружины дежурили у телефона... В пять часов утра нас распустили по домам. Мы вернулись в экипаж. Слухи о погромах продержались еще несколько дней, а потом заглохли.

На одном из военных совещаний в Технологическом институте меня познакомили с матросом 14 экипажа, Шеломенцевым, предварительно мне сообщив, что Шеломенцев примыкает к с.-р. и ставит вопрос об организации восстания петербургских экипажей.

— Поговорите с ним: с этой затеей надо быть осторожным.

Смугловатый, с симпатичным открытым лицом, Шеломенцев представлял собой типичную фигуру матроса-агитатора того времени. Полный огня, нетерпеливый, энергичный он рвался к бунту и тянул за собой всех, кого мог только зацепить.

Шеломенцев крепко пожал мне руку.

— О вас я давно слышал. Встретиться до сих пор все не удавалось.

О Шеломенцеве и я не раз слышал. Он за агитацию в войсках уже год в дисциплинарке просидел и из Кронштадта был переведен в 14 экипаж.

— Я, вот, толкусь тут, чтобы добиться некоторого контакта в работе, да туго что-то: все заняты работой Совета. У меня братва кипит. Кричат, что наших в Кронштадте расстреливают, а мы спим. Настроение это надо использовать.

— А что вы думаете делать?— спросил я Шеломенцева.

— Надо выступить; команда все равно выступит. 18 и 8 экипажи тоже можно поднять. «Волынка» может получиться солидная. Ваше воззвание я читал, работа у вас, должно быть, хорошо идет. Ваши бы выступили, как вы думаете?

Я ему рассказал, как обстоит дело в Гвардейском экипаже, говорил, что половина команды еще на судах, и что настроение у нас значительно слабее, чем в 14 экипаже.

Мы с Шеломенцевым простились, и я вернулся в экипаж.

Вскоре после нашей первой встречи на пекарню вошел Шеломенцев, мы разговорились и, когда я спросил, что́ он думает предпринять, он сказал:

— Думаю все по-старому: использовать надо настроение.

— Выступить надо и втянуть в это выступление, как можно широкий круг матросов, если можно, и гвардию. У тебя ведь там хорошие связи?

— Связи-то хорошие, но гвардия на под'ем тяжела. Вот если бы случилось что-нибудь вроде Кронштадта, тогда, пожалуй, и гвардия колыхнется, а так ее поднять будет трудно.

— А Гвардейский экипаж?

— Ну, наши не поднимутся на восстание, пока не вернутся команды с «Полярной».

Шеломенцев, опершись локтями о колени и подперев руками подбородок, молча смотрел в одну точку. Смуглое лицо его сделалось мрачным и усталым: чувствовалось, что человек несет большую на себе тяжесть и ответственность за себя и за всех, кто за ним идет...

— Тяжела, брат, эта штука — революция: тянешь-тянешь, а не всегда и знаешь, куда притянешь, одно только и думаешь, чтобы скорее дотянуть.

А братва бродит, тычется во все стороны, сплетается в буйном бунте и ищет обо что бы удариться, прошибить и куда-то выйти...

— Это ты верно сказал, что тяжела штука. Я вот толкусь по полкам, связи хорошие, настроение хорошее в полках, а вот как все эти хорошие настроения пустить по единому руслу и претворить в революцию — не знаю! Да и все мы пока не знаем: партия говорит — выступайте сразу, и все мы с этим согласны, а вот не выходит. Нет у нас чего-то, что бы придавало организованность и единство нашему движению: все мысли упираются в одно,— в повторение Кронштадта. Нужно повторение большого организованного штурма, чтобы поднять и организовать вокруг него огромные тяжелые массы.

— Бунт, бунт! Вся матросия бредит бунтом...— Шеломенцев поднялся со скамьи.— Ну, вот что, я пришел позвать тебя к нам на митинг, сегодня будем решать, что нам делать. Сможешь притти?

— Приду.

— Буду ждать.

Мятеж в 14 экипаже

После ухода Шеломенцева я почувствовал себя еще тревожнее, чем обычно. Было ясно, что 14 экипаж сорвется и выскочит опять в одиночку.

Закончив вахту, дождавшись окончания поверки, я отправился в 14 экипаж. У входа в казармы стояли часовые. Они спросили меня, к кому я иду, я ответил, что к Шеломенцеву, меня, не спрашивая больше ни о чем, пропустили.

В казармах было душно, пол был грязный, на нарах тесно лежали грязные соломенные тюфяки. Матросы кучками сидели и лежали на нарах и оживленно галдели. Я многих уже знал по электрической станции. Меня встретили приятельским шумом:

— Эй! Бабушкина гвардия! С нами!?

Я поздоровался со знакомыми и спросил, где Шеломенцев.

— На кухне, совещаются! Иди туда.

На кухне за столом сидело человек десять матросов, с ними Шеломенцев.

— Здравствуйте!

— А-а, Никифоров.— Шеломенцев познакомил меня с остальными.

— Вот обсуждаем, как держаться на сегодняшнем митинге. Пущен слух, что нас хотят разоружить и арестовать. Братва заявляет, что оружия не отдаст и будет отсиживаться в экипаже. Команда требует нашего решения. Садись.

Я принял участие в совещании. Обсуждался вопрос о том, как держаться, если начнут разоружать с помощью военной силы. Оказывать сопротивление или нет? Шеломенцев спросил меня:

— Как ты думаешь, кто-нибудь нас поддержит?

— По вашим разговорам и по обстановке видно, что дело уже к концу подходит, так что вам никто не успеет помочь, если бы даже и захотел.

— Об этом мы как раз перед твоим приходом и говорили: 18 экипаж живет над нами, а вот ребята говорят, что надеяться на его поддержку нельзя, ну, а на остальных, понятно, еще труднее. Вот представитель военной организации тоже предлагает большой игры не затевать и создавшееся положение ликвидировать, по возможности, без больших убытков.

После долгих разговоров решили дождаться, чего потребуют власти. Оружия пока решили не сдавать. Если же к экипажу будет применена военная сила,— сопротивления не оказывать и подчиниться.

На митинге братва шумела в этот вечер особенно сильно:

— Э-эй! нечего миндальничать... на разговорах далеко не уедешь... драться надо.

— Все равно на баржу загонят!.. Пусть лучше здесь расстреливают...

— Чего орать без толку?.. Подраться всегда успеем! Пусть лучше нам скажут, поддержит нас кто, или мы одни драться будем?!

— Поднимемся мы — поднимутся и другие... А если спать будем, никто нас не поддержит!

Непримиримые требовали дать бой. Мы энергично поддержали предложение Шеломенцева. Большинство экипажа присоединилось к нам. Предложение Шеломенцева было принято. Митинг кончился поздно ночью.

Во второй половине ноября возвратились в экипаж команда «Полярной звезды» и команды с колесной яхты «Александрия» и с других судов.

Свежего народа в экипаж влилось человек восемьсот. Началось оживление.

С приходом команды работать стало легче: прошедшая небольшую школу борьбы матросская масса старалась держать себя в экипаже непринужденно и не роняла приобретенного «престижа».

Команда еще не растеряла своей революционной энергии и охотно втягивалась в политические разговоры. В городе матросы чутким ухом ловили отзвуки крестьянских и солдатских бунтов и, переваривая их с впечатлениями бурлящей жизни столицы, несли все это в экипаж и выкладывали перед жадной на слух матросской аудиторией.

Ротные наши кружки пополнились, а партийное ядро сильно возросло.

14 экипаж продолжал отсиживаться. Для разговора с мятежными матросами приезжал начальник морского штаба фон-Нидермиллер. Матросам было предложено очистить казармы и выехать в Кронштадт. Экипаж отказался, заявив, что матросы согласятся переехать в Кронштадт только тогда, когда там будет снято военное положение.

23 ноября рабочими нескольких заводов была устроена перед 14 экипажем демонстрация поддержки. Рабочие прошли с красными флагами, с оркестром музыки мимо экипажа и прошли мимо расположившихся у Крюковского канала правительственных войск, приготовленных для штурма 14 экипажа.

Матросы высыпали на крыльцо и веселым «ура» встретили демонстрацию. В форточки окон были выкинуты красные флаги.

Демонстранты кричали матросам:

— Берегите силы! Не давайте себя разбить! Долой насильников!

Последующие попытки офицеров экипажа уговорить матросов подчиниться не привели ни к чему. В три часа ночи приготовленные для штурма части были подтянуты к экипажу. У Крюкова моста была установлена артиллерия. Однако начальство ночью штурмовать экипаж не решилось. Ночь закончилась спокойно.

Утром к осаждающим подтянулись драгуны. Проезд и проход мимо экипажа был закрыт. Войска приготовились, и матросам было сделано последнее предупреждение.

Хотя уже заранее было решено не доводить дела до кровопролития, все же матросы неохотно соглашались без боя сдаться. И только усиленная подготовка правительственных войск к штурму убедила матросов в бесполезности дальнейшего сопротивления.

Делегация заявила командиру войск, что матросы, не желая доводить до бесполезного кровопролития, сдаются.

В экипаж тотчас же были введены войска. Матросы были разоружены и под усиленным конвоем были отведены на баржу и тотчас же отправлены в Кронштадт. Шеломенцев и находящийся вместе с матросами Николай (пред-

ставитель военной организации) были арестованы и отправлены под усиленным конвоем в Петропавловскую крепость.

Экипаж опустел. Как искра в пожаре революции сверкнула мятежная вспышка и, мелькнув в темноте, погасла.

Правительство наступает

Победа над 14 экипажем подбодрила правительство. Решительнее стали действовать черные сотни. Под руководством переодетых жандармов и полиции черная сотня стала производить набеги на рабочие и студенческие общежития и делала обыски, производила аресты, в подвалах полицейских участков начали бить смертным боем арестованных «крамольников».

Внешнее положение столицы также стало изменяться.

Кавалерийские патрули, жавшиеся до этого к сторонке, также стали действовать решительнее: не отшучивались добродушно, как прежде, а стали «напирать», действовали нагайкой, а где и саблей...

Военная организация мне опять дала приказ приготовить на всякий случай отряд надежных матросов для совместных действий с дружиной.

Походило на то, что мы собираемся отступать и готовимся к самообороне, а противник переходит к активным действиям.

Получилось известие, что арестовано бюро союза почтово-телеграфных служащих. Это известие нас всколыхнуло: ждали, что этот шаг правительства так не пройдет, и заваруха неизбежно начнется. В это же время из провинции начали получаться известия о крестьянских волнениях. Некоторые товарищи получили от родных письма, где говорилось: «Говорят, вышел закон, чтобы отбирать землю у помещиков и хлеб, некоторые волости своих помещиков уже жгут, наши тоже собираются, уже на сходе решили».

Затем получилось новое ошеломляющее известие, что в Москве арестовано бюро крестьянского союза. Матросы это известие встретили как бы даже с радостью:

— Пусть арестуют, это теперь им даром не пройдет. Это не почтовики, что молча утерлись. Мужики, как узнают,— еще не так пойдут палить.

26 ноября я застал в Технологическом институте тревогу: арестовали председателя Совета рабочих депутатов Носаря. Я спросил в комитете:

— Будет что или нет? Нужно мне готовиться?

Мне ответили:

— Пока еще решения нет, сегодня выясним как дальше быть, а вы все же подготовьтесь: что нужно будет делать — скажем.

Конец ноября прошел в большом напряжении, но это было уже не то напряжение, которое было в октябре в Кронштадте. Люди хотя и возбуждались событиями,— необходимого энтузиазма не было. В октябре чувствовалось, как нарастала революционная энергия, всех несло к революции неудержимо. «Земля ноги жгеть», как неистово выражалась в то время братва.

Конец ноября представлял совершенно иную психологическую обстановку: революционная энергия выдыхалась.

Безнаказанность действий правительства — аресты таких руководящих организаций, как бюро крестьянского союза, бюро почтово-телеграфных служащих, арест председателя Совета рабочих депутатов;— свидетельствовала о сильном спаде революционного энтузиазма.

Это чувствовала и партия. Именно неуверенность в возможности поднять широкие массы в ответ на эти аресты и заставила партию промолчать.

Первое, второе и третье декабря были внешне спокойны, но лицо столицы за эти дни сильно изменилось. Усиленные пехотой полицейские посты заняли все значительные пункты столицы. Возле постов горели костры, и

густо ходившие по улицам патрули, сбиваясь кучами, грелись возле этих костров.

Было похоже, что посты заняты крепко.

Рабочие и матросы болтались по улицам пока еще свободно и безнаказанно митинговали, но чувствовали себя неуверенно.

— Что-то уж фараоны больно спокойны; неладным пахнет.

Спокойствие появившихся фараонов определяло обстановку, масса это чуяла и сжималась.

Из разных мест России приходили известия о кровавых расправах над участниками движения. Социал-демократическая партия выпустила прокламацию, говорящую о поражении революции и рисующую картину кровавых расправ правительства над участниками восстаний. Из Москвы вернулся Семеновский полк, получивший торжественную официальную встречу и награды правительства.

На конспиративном совещании военных работников было решено перестроиться на нелегальные рельсы и усилить работу в войсках, со ставкой на подготовку нового восстания. Семеновский полк, получивший почести и награды от правительства, получил весьма чувствительную пощечину со стороны не только рабочих, но и со стороны крестьянства. Семеновский полк подвергся единодушному бойкоту всей трудовой и частью даже либеральной столицы. Солдаты от родных получали письма, проклинающие их за кровавые расправы в Москве и лишающие их права возвращения в семью.

Побег с военной службы

Вскоре меня перевели из пекарни в роту. Положение мое в экипаже сильно ухудшилось: исчезла всякая возможность выходить из экипажа, держать тесную связь со всеми частями экипажа стало труднее и опаснее, в роте находились люди, которых мы имели основание опасаться. Мои попытки устроиться на экипажную электрическую станцию не увенчались успехом; шкура в ответ на мою просьбу предложил мне:

— Сиди и не рыпайся.

В начале февраля я получил записку без подписи, в которой говорилось: «Из морского штаба имеются сведения о предполагающемся аресте Никифорова и Зайцева, рекомендуем скрыться». Записка была без подписи, однако, вероятность извещения от этого не уменьшалась.

Сообщил некоторым членам нашей группы, решили проверить. О штабных делах могли знать только штабные экипажи. Проверка привела к тому, что я получил вторую записку, в которой предлагалось проверку прекратить и предупреждению верить. Собрали группу из представителей рот. Группа высказалась за то, чтобы записке верить и нам с Зайцевым немедленно скрыться. Сообщили о положении в парторганизацию и решили ждать решения оттуда. Парторганизация с мнением группы согласилась и предложила нам немедленно скрыться.

Посоветовавшись между собой, мы с Зайцевым решили с пустыми руками не уходить. Рядом с пекарней находилась артиллерийская учебная комната, в комнате на вертлюге стояла скорострельная пушка «гочкиса» последней конструкции. Вот эту пушку мы и решили с Зайцевым с собой захватить и передать партии.

В экипаж каждое утро, часов в пять, приезжал чухонец-молочник, снабжавший экипажное начальство молочными продуктами. Этого чухонца решили использовать для вывоза пушки из экипажа. Один из рабочих-партийцев завязал с ним знакомство и в день нашего побега, еще с вечера,

угостив как следует чухонца, с горшками молока, сметаны, творогу и с чухонским удостоверением в пять часов утра приехал в экипаж. Пушка ночью нами была вытащена из школы и зарыта в навоз. Мы быстро положили пушку в сани, выбросили в навоз горшки и с чужими билетами в руках и с браунингами в карманах вместе с молочником вышли из экипажа. Часовые, просмотрев пропуска, спросили:

— Куда так рано?

— На работу, на яхту,— ответили мы и благополучно вышли за ворота.

Недалеко, на другой улице, стоял рысак, приготовленный на случай, если нам пришлось бы прорваться мимо часовых силой. Однако все обошлось благополучно. «Чухонец» с пятизарядным «гочкисом» поехал, труся на своей кляче, домой, а мы, сделав рукою знак лихачу уезжать, отправились на отведенные нам квартиры.

В организации нам предложили поехать за границу, но мы оба отказались. Тогда нам предложили поехать на юг, в Крым. Это предложение нами с радостью было принято. О Крыме мы знали только по учебникам, как о «волшебном» крае, и побывать там для нас было весьма соблазнительно. Дня через три, получив деньги и явки, мы покинули Петербург.

Поезд медленно двигался, мы смотрели в окно, как постепенно таял в февральском тумане ставший таким близким нам город.

Петербург исчез, а вместе с ним исчезла и наша внешняя форма и наши имена. В почтовом поезде, в вагоне третьего класса, ехали на юг двое рабочих: Петр Малаканов и Иван Сырцов.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Повести об Алтае

(Главы из книги)

Дмитрий Стонов

Шапка Кайгородова

В кабинете заместителя заведующего земельным управлением Ойротии товарища Степаненко — обычная суета, какую нередко встретить в провинциальном исполкоме. Часто открывается скрипящая дверь,— и тогда взлетает кисейная занавеска на окне, начинает корчиться, хлопать по стене фиолетовый, плакатный землероб, с легким шелестом поднимается со стола стайка бумажек, ловко планирует и опускается на пол. «На одну минутку» забегает только что приехавший из дальней и долгой поездки по аймакам животновод и еще по пути к столу, не здороваясь, говорит о том, что, по его мнению, закупленные производители симентальской породы никак себя не оправдают — сименталы не выдержат сурового климата Алтая, заболеют туберкулезом, заразят местный скот.

— Понимаешь, какая штукенция...— говорит он.— Он говорит эти три ничего не значущих слова только для того, чтобы воспользоваться секундным перерывом и вспомнить еще один веский пункт: почему, собственно, симентальские быки себя не оправдают?— Понимаешь, какая штуковина...

Но продолжать ему не дают. Входит заработавшийся, зарапортовавшийся сотрудник с пачкой бумаг, он ступает мягко, как кот, за ним, раскачиваясь на кривых кавалерийских ногах, в комнату вливается десяток алтайцев. У каждого в крепко сжатых пальцах бумага — чаазын, бумагу сейчас же нужно подписать, приложить к ней печатку. Кроме того каждому нужно побеседовать со старым приятелем, ньокёр (товарищем) Степаненко.

Я смотрю на Степаненко, слушаю его ответы, вижу, как интересуется он всеми мелочами земельного дела Алтая. Мне трудно увязать прежний его образ героя гражданской войны с аграрным работником Алтая. Безболезненно ли ему удалось сменить седло на стул, винтовку и револьвер—на карандаш и ручку, перестроить, переключить всю систему своего мышления и работы?

Но с этими вопросами я из внутренней какой-то неловкости к нему не обращаюсь. Я пришел поговорить о гражданской войне, меня направили к нему, как к одному из активнейших участников гражданской войны на Алтае.

— Да, было дело,— говорит он, деловито потирая руки, веселые огоньки блестят в его глазах.

Наконец, мы остаемся вдвоем. Тов. Степаненко роется в бумагах на столе — не хочет ли он мне передать уцелевшие документы о героическом и славном нашем прошлом?

— Да, было дело, было дело,— повторяет он, продолжая рыться.— Случился тут у нас как-то вечер воспоминаний, пришлось мне выступать. Часа три я, может, говорил — чорт его знает, откуда у меня столько слов взялось! Ну и ругал же меня после этого один партийный товарищ. Какое ты, говорит, имеешь право хранить такой материал в голове, почему не записываешь? Ведь подохнешь ты, умрут другие участники алтайских походов, и история ничего не узнает о гражданской войне на Алтае. Прав он, конечно, да ведь времени нет, вот в чем суть! И — главная загвоздка — не письменный я человек, не умею я это записывать... Вот таблички...

Он прерывает рассказ и протягивает мне бумагу, которую только что нашел на своем столе. Лист избит ундервудными цифрами, он весь покрыт лиловыми строчками цифр, они стоят стройными, непонятными мне, утомляющими взор, сквозными столбиками.

— Вот таблички,— поспешно выговаривает он слова.— Я хочу их вам показать, так, между прочим... Видите? В 1916 г. на Алтае засевалось 20 тысяч гектар. Вот — 20 000. А в этом году — смотрите сюда — мы имеем 30 000 гектар. Есть достижение, как думаете? И ведь развитие идет за счет ойротов, которые раньше земледелием не интересовались. Он тут говорил насчет симменталов. Конечно, вопрос сложный, но если принять во внимание, что скотоводство у нас развивается...

Я вижу, т. Степаненко о симменталах готов говорить с тем же жаром, что и о гражданской войне. Но сейчас я интересуюсь гражданской войной и потому круто отвлекаю мысль Степаненко в другую сторону...

Начало гражданской войны на Алтае относят к осени девятьсот девятнадцатого года. Во многих (русских и смешанных по преимуществу) селениях стихийно возникали группы и группки людей, главным образом бывших фронтовиков, которые брались за оружие, уходили в степь, в тайгу, в горы... Неорганизованные, в большинстве случаев вооруженные пистоночными ружьями и деревянными пиками, действующие каждая на свой страх и риск, группы эти терпели удар за ударом, систематически и регулярно разбивались колчаковскими отрядами. Несмотря на это, число партизан росло. Партизаны оставляли свои деревни, нередко со стариками, женщинами и детьми уходили в лес. В брошенных деревнях тотчас же появлялись колчаковские части, жгли дома, забирали скот, убивали оставшихся.

Колчаковцы были сильны и жестоки, бороться с ними было трудно. И все же группы партизан насчитывали не одну блестящую победу. Рассеянные по всему Алтаю, великолепно знающие местность, умеющие бродить по неведомым противнику тропам, они поистине лавиной обрушивались на колчаковские отряды Кайгородова и Хмелевского и беспощадно их трепали.

Воевать, однако, с неприятелем стихийно, на свой страх и риск становилось с каждым днем все труднее и труднее. Бывшие фронтовики знали, что, действуя по единому плану, организовавшись, соединив силы партизан в мощный кулак, скорее удастся одержать победу над Колчаком. И вот от одной группы партизан к другой тянутся делегаты с предложением: об'единиться, действовать заодно, бить врага совместно.

Таким образом в глубоком тогда тылу Колчака возникает три партизанских полка. Партизанское движение на Алтае быстро растет.

Колчаковское командование к тому времени уже знало, какие страдания приносят военному организму бесчисленные партизанские занозы. К тому времени партизанщина широко и победно гуляла по сибирским равнинам. Вот почему, решив уничтожить партизанские полки на Алтае с самого начала, колчаковцы старательно взялись за дело.

Из трех полков партизан остался лишь один — в Уймонском районе... Полк был почти безоружен. Надо было во что бы то ни стало запастись патронами и снарядами. Патроны и снаряды находились только у колчаковцев, вооружение можно было забрать только у врага, другого способа пополнить свои запасы не было.

Белые не ждали наступления разбитых партизан, и потому налет «уймонского партизанского полка» был для них совершенно неожидан. Бой длился два дня, партизаны не могли проиграть это сражение: проигрыш означал бы окончательную гибель и они решили биться до конца. Белые бежали, оставив больше десяти тысяч патронов.

Победа эта стоила партизанам много крови. Дальше бороться в горах было, пока что, бессмысленно. Алтай очищался от партизан, партизаны выходили в степь на казачью линию. Это было в ноябре 1919 г.

Очистив Алтай от партизан, колчаковцы решили использовать, привлечь на свою сторону пласты алтайского населения. Колчаковцами провозглашается лозунг: «Алтай для алтайцев». Колчак «торжественно обещает» алтайцам перевести их на «казацкую жизнь». С помощью и под руководством белых офицеров организуется так называемая каракурумская управа, национальное алтайское учреждение, туда попадают верхушки алтайского населения и русские кулаки на Алтае.

Комбинация с «национальным правительством» удается белым. Алтайские массы обмануты баями, они добровольно направляются в колчаковскую армию воевать с мнимыми врагами — красными.

Как же живут и работают ушедшие в степь партизаны? До поры до времени они бродят среди белых казаков, участвуют в небольших, но отважных стычках, жгут, взрывают колчаковский тыл. Окруженные со всех сторон вражеским кольцом, алтайские партизаны не только не знают, что происходит в дебрях алтайского края, они не знают, каково общее положение неприятеля на фронте гражданской войны. Колчаковские газеты все еще врут о мнимых победах омского диктатора, листки и воззвания продолжают бредить московским малиновым звоном.

Совершенно случайно, как утверждает т. Степаненко, алтайские партизаны узнают, что регулярная Красная армия начала теснить врага. Как известно, колчаковский фронт распался, как карточный домик. Через каких-нибудь 10 дней Красная армия очутилась в Ново-Николаевске (теперь Новосибирск).

Колчаковская армия начала поспешно отступать. Приступили к эвакуации и силы, расположенные на Алтае. Партизаны узнали, что колчаковский генерал Сатунин двинул свою армию по направлению к Монголии. У красных возникло и окрепло решение: пересечь дорогу Сатунину.

В несколько часов партизаны вырабатывают план действия. В одни сутки они проходят на рысях 300 *км* — небывалый до этого случай в истории гражданской войны! — группируют свои силы недалеко от сатунинской армии. По дороге к ним присоединяется отряд хмельных от вина и победы над своим начальством новобранцев. Дух разложения колчаковской армии проник и в их среду. Они связали своего командира Кайгородова и двинули в горы. По дороге, в какой-то деревушке они раздобыли бочку спирта и перепились. Кайгородов воспользовался общим опьянением и убежал. Они же... они чем угодно готовы помочь партизанам. Вот 1 200 винтовок. Не нужны ли партизанам винтовки?

Винтовки пригодились. Довооружившись, партизаны начали широкое и горячее наступление на армию Сатунина.

Между тем, разложение в колчаковской (в частности, в сатунинской) армии шло все быстрее и шире. Наступил панический час сложного психи-

В девятьсот двадцать первом году на территории Алтая вновь появляется Кайгородов с бандой в четыреста человек. Заняв Уймонский район, «князь» Кайгородов об'являет советскую власть неизвергнутой, уничтожает советских людей и коммунистов, образует земство, выбирает старосту, назначает полицейских. Очевидно о положении на местах, Кайгородов, проживший два года в Монголии, был плохо информирован. Ему чудилось, что население других районов быстро присоединится к нему, ему грезились покоренный Алтай, белая Сибирь, триумфальный поход на Россию. Люди, знавшие в то время Кайгородова, рассказывали, как монгольский прием, пышная торжественность азиатских церемоний вскружили голову русскому прапорщику. Он завел себе свиту, раздавал титулы, бахвалился и любовался собственным величием. Он часто менял одеяние, одевал ламайскую шапку, пытался устраивать «приемы» — это в Уймоне-то, в небольшом селе!

Окрепшая к тому времени советская власть повела с бандой решительную борьбу. Отряд был разбит. Кайгородову с уцелевшими бандитами удалось бежать в Котанду.

Обычный путь в Котанду — узкие ущелья гор — зорко охранялся бандитами. Они закупорили ущелье и ждали наступления красных.

Красные отряды решили тогда пробраться в Котанду через путь, который до этого случая всем населением Алтая считался непроходимым — через Белуху, Катунские и Теректинские белки.

О трудностях этого пути говорит, например, то, что часть недоступной дороги в 7 верст красные части проходили 24 часа. Ледяные пирамиды были отполированы ветрами. Лед приходилось колоть, в ледяных стенах выбивать углубления, по которым карабкались красные.

А горное ущелье охранялось бандитами... Они до того верили в непроходимость других путей, что, встречая в предместьи Котанды красные части, не обращали на них внимания, полагая, что перед ними свои же воины. Дозоры бандитов свободно пропустили отряд тт. Долгих и Воронкова (нынешнего председателя Улалинского совета). Баба указала на дом, в котором квартировал Кайгородов.

Кайгородов в это время пьянствовал. Пьяный он стоял у окна и смотрел на улицу. На улице показался отряд.

— Какой части, господа?— спросил он у проезжавших красных.

Его ранили, раненый он успел забраться в погреб.

... Две недели голову Кайгородова перевозили из селения в селение. Тайные сподвижники монгольского «графа» распространяли слухи, что белому офицеру вновь удалось бежать, алтайцы хотели убедиться в том, что с Кайгородовым покончено.

После этого белое движение на Алтае вырождается в бандитизм. Красные успешно борятся с бандитами, разбивают последние группы и группки. Один за другим вожди бандитов сдаются. Сдались Тужлей, Орлов, Летурышкин, Пьянков, Карманкин. Отпущенный на волю Пьянков занялся живописью и на этом поприще обнаружил большие способности. Очевидцы утверждают, что его картины масляными красками из эпохи гражданской войны великолепны, самобытны, неподражаемы. Карманкин поступил на службу в Госторг, несколько лет верой и правдой работал в советском учреждении, а потом совершил растрату... Сейчас он отбывает наказание в одной из тюрем Ойротского края.

В 1923 г. с белым движением было покончено.

Сидя на лошади я срываю писны...

Городской человек часто казался мне смешным, наивным и беспомощным на лоне природы, он много раз, сам того не желая, портил лучшие мои минуты. Никогда не забуду, как тощая женщина в пенснэ, стоя около меня на берегу моря, вдруг всплеснула руками, поправила пенснэ и петушиным каким-то голосом, искренним голосом, идущим из нутра, воскликнула:

— Какое красивенькое море!

У нее искренно, непосредственно просвистела буква «и» в слове «красивенькое», она по-настоящему восхищалась. И вот — море потеряло для меня свою первоначальную силу, оно было «красивенькое», оно не возбуждало, не томило, не восхищало — через день пришлось оставить морское побережье, бежать.

Точно также бывало в горах Кавказа и Крыма: чужие люди хватали меня за руку, считали своим долгом вслух восхищаться, тут же, не сходя с места, находить слова для описаний, для сравнений, для определения своей эмоциональной насыщенности.

И только Алтай заставлял людей молчать. Я видел остановившиеся, широко раскрытые глаза, учащенно подымающуюся, опускающуюся грудь, удивление, застывшее в каждой складке лица, и крепко сжатые, немые губы.

Даже они, городские люди, ничего не могли сказáть об Алтае.

Каков он, Алтай?

Вот, расчищая путь тугим, освеженных плечом, восходит солнце. Осторожно и медленно оно поднимается из-за гор и плывет, приближается к густому, темному от зеленого цвета лесу. Тут между солнцем и лесом происходит сложная игра. Лес притворяется, что он не заметил, а если и заметил, то не обратил внимания на расплавленное, сияющее чудовище. Попрежнему густа зеленая темень, ряд кедров плотно обступил ревущую, прыгающую, неистовствующую, бешеную реку, заслоняет ее от света, от искушений и лучей. Лес продолжает дремать зеленым дрёмом, он не шелохнется, он застыл, он уверен, что никто не нарушит его покой. Змея поднимает голову, поворачивается направо, налево и опять укладывается спать на каменную подушку. «Спи, спи,— говорит ей угрюмая ель и всеми своими иглами смотрит на нее.— Рассвет не наступил еще. Спи.»

Между тем солнце все еще настроено игриво. Оно не спешит, не все свое круглое румяное тело оно вытянуло из-за гор. Оно радо притвориться, что поверило лесу, что в самом деле рассвет, быть может, еще не наступил. Оно барахтается в лучах, закрывает лицо снопами светлых паутин, но, играя, забавляясь, все же не забывает, что впереди большая и трудная работа. Ее, может быть, удастся сделать шутя?

Думая так, солнце время от времени нет-нет и швырнет горсть лучей, нет-нет и взглянет золотым глазом, присмотрится. Ну, как? Долго ли еще будет притворяться природа?

Ночной лес молчит. В этот час он угрюм, ему не до шуток. Но брошенным лучам нет дела до этой его сосредоточенности. Тонкими — тоньше паутины — стрелами они впиваются в тело леса, летят все дальше и дальше. Осветилась, загорелась верхушка дерева. Луч заиграл на медном литом стволе. Лучонок вспыхнул на глазном яблоке проснувшейся белки. Белка легонько пискнула и так, здорово живешь, впав в телячий восторг, пошла кружиться колесом, мелькать пушистым пламенем горящего на солнце хвоста. Вот, наконец, струя лучей добралась до воды. Река давно их ждала, ей скучно было пенить свои воды в зеленом мраке. На водяной поверхности появляются зеркальные пятна, осколки. В кружевах пены начинают светиться

лиловые, розовые, зеленые, золотые, синие, разные пятна. Выдавая себя, обрекая себя, быть может, на гибель, не имея сил сдержаться от внутреннего, радостного напора, ревет зверь. Утро встало. Утро пришло.

. . . . . .

Весь почти Алтай прорезает Катунь-река. С первого же метра своей длины она встречается с гранитными препятствиями, они лежат, громоздятся на ее пути, они вступают в неравный бой, преграждают течение, встают порогами, каменными чудовищами, каменным крошевом. Катуни остается одно — преодолевать все препятствия, беспрерывно бороться за существование, брать с боя каждый свой шаг. Это закаляет, укрепляет организм реки, но это и озлобляет ее, заставляет рвать и метать, гудеть, обрастать суровой пеной злобы и неистовства.

— Катунь не знает мостов,— говорит алтаец и обязательно ведет вас к Тель-дег-пеню. Тель-дег-пень удивляет причудливой игрой природы. Что здесь произошло? Широкое течение реки в этом месте невероятно сузилось. Кажется, еще одно героическое усилие каменной стихии, и бег реки будет прерван, вода задохнется в каменной ловушке.

Что здесь произошло?

Ответить на этот вопрос берется алтайская легенда. Алтаец воспевает, одушевляет каждое движение природы, каждую гору, лес, водопад,— мог ли он пройти мимо Тель-дег-пеня?

В давние, давние времена,— услышите вы,— жил на Алтае могучий богатырь Сарктайпай. До сих пор еще многие горы сохранили формы сарктайпайского сиденья: то там, то здесь богатырь присиживался отдыхать. Играя, от нечего делать, от избытка сил, Сарктайпай набирал в полы своей одежды стопудовые камни и крошил, мял их, как глину.

Незадолго до смерти Сарктайпай решил прославиться, оставить по себе память на Алтае — хоть в одном месте перекинуть мост через Катунь. На помощь ему пришел добрый дух Ульгень. Ульгень взялся помогать Сарктайпаю, выговорив одно лишь условие, чтобы во время творческого своего напряжения богатырь не знал женщин. Сарктайпай согласился, приступил к работе.

Голый, огромный, как гора, без сапог, с кожаным поясом на бедре, Сарктайпай трудился с утра до вечера, с вечера до утра. За сотни верст вздыхали, гудели, охали камни. Целыми охапками бросал их богатырь в воду. Вода отступала, жалась к противоположному берегу, но богатырь был неутомим, он швырял камни с двух сторон и все больше суживал реку.

Труд радовал, но и утомлял творца. Все чаще, все крепче богатырь спал по ночам. Пробудившись, отдохнув, он снова брался за работу. Когда работы осталось на один день, когда в последний раз заснул Сарктайпай, к нему явилась извечная соблазнительница, коварная и хитрая Ева-женщина.

Тут идет история грехопадения Сарктайпая. Богатырь и герой, строитель и почти божество, он не устоял против женского очарования. Накануне окончания работы Сарктайпай нарушил священный обет. Послушные до этого каменные глыбы перестали подчиняться богатырю. Материал испугался мастера, материал стал на каменные дыбы, материал воспротивился Сарктайпаю.

Мост так и не был достроен.

. . . .

Дорога идет лесом. Ель, сосна, лиственница, осина, тополь, кедр и дуб как карты в колоде перемешались друг с другом. На поляну выступил хоровод белых берез. Подбоченясь, как бойкие милые девицы, они собрались в кружок, вот-вот запляшут, затянут лесную песнь. Папоротники раскрыли зеленые свои зонтики. Пахнут травы, они томно поникли, легли на невидимую

землю, кадят, источают сладостные запахи. Трудолюбивая пчела поднимается на уровень вашей головы и тонким, звенящим голосом шепчет историю, ничего кроме однообразной сплетни, которую вы слышали еще в детстве.

Внезапно начинаете чувствовать под собой лошадь, вспоминаете о ней.

Это не описка. Об алтайской лошади вы можете забыть. Первые два-три дня вы еще пытаетесь управлять ею. Однако работа эта ни вам, ни ей не нужна. Алтайская лошадь сама, без посторонней помощи, выбирает путь свой, обходит ямы, гиблые места, болота. Единственное содействие, которое можно ей оказать,— это бросить уздечку и так, для очистки совести, шепнуть: «Ты видишь, я доверяю тебе больше, чем своим рукам и глазам, больше, чем своему уменью. Уж ты, пожалуйста, не подведи...».

Итак, вы начинаете чувствовать под собой лошадь. Она дышит толчками. Она часто (чаще, чем до этого) останавливается и принимается решать сложный вопрос: куда и как ей пойти? Она оборачивается к вам, чтобы кивком головы подбодрить, сообщить, что ничего, путь выбран, опасности и сейчас удается миновать.

Только сейчас вы замечаете, что с тропой что-то произошло. Попрежнему обступают вас деревья. Струят свой аромат лесные розы. Пестрые, точно нарисованные сумасшедшим, бабочки разворачивают и складывают, разворачивают и складывают крылья. Между всей этой лесной пышностью тянется тропа. С нею явно что-то произошло. Вместо того, чтобы тянуться ровно, по прямой линии, она (очевидно постепенно) начала подниматься все выше и выше, увлекая за собой весь растительный мир. Земля под ногами лошади исчезает, землю заменяют камни, они стремятся ввысь. Камень за камнем, камни за камнями, они стучат, грохочут под подковами лошади и на голову друг другу взбираются наверх. Но даже и такая стремительность их не удовлетворяет. Им некогда, они прыгают, делают каменные прыжки в метр и больше. Дорога вверх идет не шагами, не прыжками даже, а каменными, вертикально стоящими метрами. Деревья послушно сопровождают тропу. Лошадь оборачивается, смотрит на вас — чем, чем, вы можете ее утешить? «Бом» надо пройти, как надобно пройти добрые десятки впереди лежащих «бомов» — иного пути нет на Алтае.

Очевидно конь сам начинает это понимать. Он останавливается, вытягивает шею, обнюхивает и осматривает тропку, *соображает*, как лучше ему ступить. Точно и пунктуально решив вопрос, он делает движение в воздухе... На одно мгновенье вы смотрите вниз. Под вами висит Алтай, выступают верхушки деревьев, уменьшенная река блестит, как пролитое живое серебро. Острые каменные глыбы распростерли под вами смертоносные свои выступы. Лошад на каменной площадке, величиной в добрую ладонь, устраивает три копыта, четвертым «ищет» новый для себя плацдарм.

На одну десятую, быть может, секунды останавливается биение сердца. Но миг проходит, лошадь выбралась из затруднения, дальше шагает, чтобы через минуту вновь замешкаться, задуматься, остановиться, застрять.

Когда вы, наконец, достигли вершины (вы узнаете это по тому, что между деревьями возникает воздух, атмосфера, небо), вас ждет новый, не менее опасный, но и не менее красивый путь — спуск. От лошади нужны та же сноровка, ловкость, сообразительность. Камни, глыбы, нагромождения. Несколько огромных глыб, между ними узкая щель. Пройти можно только через щель — иного пути нет. Лошадь как бы подбирает, стягивает бока, с'еживается. Помогите, помогите верному вашему кули, поднимите ноги, станьте на седло, иначе глыбы отсекут нижние ваши конечности.

«Бом» кончился, за ним начинается второй, третий, десятый. Сколько бы их ни было — все они разные, всегда один от другого чем-нибудь да отличается. Вот голый, шероховатый, ноздреватый камень. Карликовые деревца

застряли в щелях, они еще больше подчеркивают пустоту, голую поверхность «бома». Цветом своим он напоминает шкуру верблюда. Вот гора покрыта травой, только травой, низкорослым лугом. Вот другой каменный «бом». Он начинается тут же у реки. Острые его части тянутся ввысь, нажимают одна на другую, заслоняют мир. Он громаден, этот «бом», он невольно вызывает беспокойные думы. Вы знаете — «бом» нужно преодолеть, но (невольно закрадывается мысль) преоделеете ли вы его? Тогда — тогда самое лучшее, самое верное — не рассуждать. Иной дороги нет, карта и компас верны, лошадь великолепна — продолжайте путь.

Тайга.

Как и «бомы», она увлекает незаметно, медленно, постепенно. Все ниже, все больше лошадь уходит, погружается в растения. Где-то внизу под копытами лошади шевелится, едва заметно колышется земля. Грудью, телом своим конь прокладывает путь себе и вам. Если впереди едет проводник — вы перестаете видеть его лошадь, ее поглотила трава. На поверхности плывет один лишь наездник. Конь то-и-дело спотыкается, одной ногой проваливается в густое, пахнущее сыростью и прелью месиво. Рядом движутся, колышатся стебли и листья. Какие травы, какая пышность, какая, я бы сказал, гиперболичность трав! А цветы! Все они в борьбе за воздух и солнце высоко к небу простерли стебли и цветут, благоухают, раскрывают свету увеличенные свои чаши. С трудом узнаете их. Что это за ярко-красные, кроваво-бархатные, сочные цветы? Они протиснулись, высоко подняли к небу, к солнцу, к воздуху свои прекрасные, свежие лица. Не делая ни одного лишнего движения, не нагибаясь, сидя на лошади, вы протягиваете руку и срываете цветок, один, другой. Букет пионов, храня на своих лепестках росу, лежит на седле. Пятна цветов алеют, голубеют, синеют, розовеют, везде и всюду, они на уровне плеч и головы сидящего на лошади человека. Струями движется трава. И только по этим струям видно, куда направились спутники.

Потом на сочной и жирной земле появляются деревья: сосна, лиственница, пихта, кедр. Они причудливы, эти деревья. Если бы их не было так много, если бы они не были так густы, я бы назвал их призраками деревьев. Их, повторяю, много, они густо натыканы, как кресты на военной могиле. Почва хорошо их кормит, но плохо держит. И вот они рушатся, деревья тайги. Падая, дерево ломает на своем пути другие деревья. Здесь нет заботливой руки, которая забрала бы труп, отделила бы мертвецов от живых. Мертвые деревья лежат, гниют, разлагаются тут же, еще больше удобряют, навозят телами своими землю. Иногда дерево рушится, но подхваченное, поддержанное здоровыми плечами других деревьев, остается в наклонном положении, так и продолжает расти. В тайге темно: сквозь всю эту чащу солнце не легко проникает. Земля дышит сырыми испарениями. С трудом, цепляясь и путаясь в лабиринте зарослей, пробирается зверь, человек, ломая ветви и молодые стволы, прокладывает свой путь...

То в тайге, то между одним и другим «бомом» возникает река. Алтай не знает мостов, горные реки нужно переходить бродом, верхом на лошади. Переходить алтайские реки очень трудно и — очень легко. Трудно, если пытаетесь осмыслить этот ваш шаг, легко — когда, как и по всей дороге, доверяетесь лошади. Малейшее колебание, сомнение, неуверенность — и человек в воде. А колебаться, сомневаться, волноваться есть основания.

Лошадь делает несколько шагов. С визгом и свистом вода бросается на нее, валом рушится на ноги, кипит, кружится, пенится. Лошадь поднимает голову и пробует сделать еще несколько шагов. Но тут вода выбивает камни

из-под ее ног. Грохот воды и камней оглушает. Самое страшное тогда — попытаться понять, что произошло, что происходит, посмотреть в воду. Она движется, вода, плывет, несет, гривастыми волнами бьет и хлещет. Проходит мгновенье, когда вода, как щепку, крутит лошадь. Волны еще не решили, в какую сторону ее увлечь, между ними происходит быстрая борьба. В следующее мгновенье волна подхватывает лошадь и несет ее вперед. Вместе с лошадью она несет камни, щепы, деревья, все, что попадается на ее пути. Подняв высоко голову, чтоб не захлебнуться, лошадь вынуждена отдать себя на милость горной реки. В секунду животное делает несколько метров, так быстро несет вода. Время от времени лошадь пробует ногой дно: нельзя ли зацепиться, остановиться? Это ей всегда почти удается — иногда раньше, иногда позже.

В минуты переправы лучше всего забыть о борьбе, происходящей между лошадью и водой. В такие минуты легче всего смотреть на берег реки. Он приближается, ждет ездока. Он спокоен, подремывает, прищурив глаза наблюдает, скоро ли вы одолеете стихию.

В детстве я знал несложную, но забавную игру. В пятилетнем, помню, возрасте она поражала меня тем, что по-настоящему понять, осмыслить ее я не был в состоянии.

Игра была примитивна. Брали листок чистой бумаги и складывали его пополам. В изгиб листка лили каплю чернил. На одну секунду бумажку прятали в книгу. Взрослый говорил: «раз, два — готово», доставал из книги бумажку, разворачивая ее. Раздавленная в бумажке капля чернил производила чудеса. То получалась бабочка с двумя головками и двумя хвостами, то перед глазами ребенка вырастали причудливые горы, странные фигуры, фантастические видения. Самое занятное заключалось в том, что фигуры, бабочки, видения обязательно состояли из двух одинаковых частей по одной и другой стороне листка. С одной стороны ажурное крылышко, значит такое же крылышко обнаружишь с другой стороны. С одной стороны сеткой обозначился фантастический силуэт — ищи, значит, такой же силуэт и с другой стороны.

Такая же игра происходит на Алтайских горах.

Поднимаетесь вверх все выше и выше. Кончился смешанный, высокий лес, его заменили низкорослые, густые, как щетки, ели. Скоро и они исчезают. На смену темно-зеленым елям идет луг. Он густ, богат, цветист. Большие водосборы делают его местами синим. На высоких и ломких стеблях тянутся ввысь анютины глазки. То здесь, то там торчит жесткий на вид, матовый, алюминевый эдельвейс.

Точно для того, чтобы доказать, что дерево не может здесь, лицом к горным ветрам, расти, по-настоящему развиваться,— на пути попадаются сосны. Какой у них жалкий вид! Неокрепшие, некоторые из них неестественно удлинены и согнуты, они похожи на скрученные тропическими ливнями пальмы. Другие разбиты молнией. Голые, обожженные быстрым пламенем, они напоминают вкопанные в землю скелеты.

Дышать становится все труднее и труднее. С трудом, медленно и тяжело шевеля в воздухе крыльями, из травы вылетает горная куропатка, делает несколько низких поворотов и садится тут же на ближайший камень. Нахохлившись, она бесстрашно, не двигаясь, смотрит на вас. Она не боится людей, она их не знает, она, как говорит охотник, «дура-птица». Проводник берет камень, становится на колено, медленно целится и камнем убивает птицу. Камень на горах может заменить охотничье ружье.

На пути попадается карликовая береза. Местами она черным бобриком покрывает большие полосы гор. Она сильно напоминает наш крыжовник, смородину. Обиженная судьбой карликовая береза сохранила от красивого северного дерева только форму листьев — форму листьев и ничего больше.

Отсутствует белизна, элегическая задумчивость, разбросанные, как гигантские лапы пауков, ветви, легкость, воздушность березы. Как урод безобразно копирует человека, так карликовая береза повторяет настоящую березу.

Становится холодно. Небо покрывается тучами. Лохматые, клубящиеся, огромными колесами вращающиеся по небу, они кажутся невероятно низкими. Ежеминутно, ежесекундно они меняют свой облик, наконец, снизившись, перестают клубиться, струями, космами плывут в воздухе. Вы замечаете, как островки туч, ватные скопления туч, гонятся друг за другом. Как огромные рыбы, как увеличенные в десятки тысяч раз медузы, они плывут над проезжими, сопровождают их, обгоняют, отстают. Делая все это, они продолжают снижаться. Яркое солнце заслонено тучами, сталкивается со стенами огромных, сквозных медуз. Оно насыщает их распыленной на мельчайшие брызги алой жидкостью. Тучи начинают розоветь, краснеть, алеть. Они воздушны, они воздушно окрашены закатом. Можно воспользоваться последней минутой и посмотреть вниз. Внизу синее безумие. Деревья, цветы, дорога, горы, долины и возвышенности — все это исчезло, оборвалось. Синий дым закрыл все, что было на вашем пути.

Лошади ощущают опасность, каждая старается мордой чувствовать хвост своей подруги. Становится холоднее. Тотчас же теряете всех присутствующих. Все покрыто туманом. Наступает царство густого, непролазного тумана.

Затем идет снег. Сверху, снизу, с боков он хлещет, сечет зло и угрюмо, засыпает колючей крупой. За несколько часов до этого вы задыхались от жары, снег поэтому кажется сейчас холоднее, угрюмее, злее зимнего. Снег крепко солит карликовые березки, последние жалкие растения, он ложится на плечи, на волнистую гриву лошади. Туман и снег, туман и снег.

Под ногами лошади хрустит, чавкает, рушится снег. Она идет снежной полосой, она на самой вершине горы, она — на перевале.

Так же быстро, как надвигался, снежный туман начинает рассеиваться. Солнце мешкает с закатом, во всю ширь растопляет завесы. Исчезает синий дым. Обновленным, освещенным, омоложенным возникает Алтай. Пахнет талым снегом. На гриве лошади тает снег. Еще одно усилие солнца — и перед вами белки.

Вдали, залитый солнцем из тумана, как из скорлупы возникает ряд гор. Снег кусками, пятнами, застывшими разливами белков лежит на этих горах. Он не только на вершинах. Порой он выбирает более укромные места, закрытые, защищенные от солнца впадины. Солнце все же добирается до него, топит, без конца топит снежные залежи. Путешествуя по белкам, вы видите, как то из одного, то из другого снежного резервуара ручьем, водопадом струится, ниспадает вода. Здесь, на белках, берут свое начало многие горные реки Алтая.

Если солнце ясно, в далеком голубом просторе вырисовываются очертания трехгорбого ледника Белухи. Горбы кажутся издали светло-прозрачно-синими, похоже — вы смотрите на них через голубое стекло.

Вниз, вниз к долине, где усталых путников ждет отдых. Подобно тому как в игре с бумажкой и каплей чернил повторяется рисунок, вы, спускаясь, вниз, повторяете виденное. Небольшое расстояние — как с противоположной стороны — покрыто снегом, за снегом идет карликовая береза. Травы удлиняются, густеют, тучнеют. Группы водосборов, сборище водосборов, тут и там синие ковры из водосборов. Темные и густые щетки елей заменяют травы. Затем лес, густой, сосновый, лиственный, кедровый, смешанный лес. На одной стороне листка чернильный силуэт выглядит так же, как и на другой.

Тяжелый, полыхающий шар колдует за лесом, точно прожектор движется по лесу, чтобы скоро исчезнуть, позволить лесу, ленивым зверям и гадам заняться любимым делом — дремой.

— Уи-и-и,— истерически вопит сова, не унимается.— Уи-и-и, уи-и-и!

В коммуне — остановка

Главу о коммунах, сельскохозяйственных артелях, товариществах по совместной обработке земли позволю себе начать с небольшого отступления.

Один старый писатель рассказывал:

«Свой роман (опускаю название) я писал мучительно и медленно. Написав первую часть, я решил отдохнуть, несколько месяцев не браться за перо, пока же что опубликовать готовые страницы. Они появились в модном альманахе и вызвали (это было давно, я могу говорить без ложной скромности) поток похвальных отзывов. Литературное движение, внимание читателей, газет, журналов на несколько месяцев остановилось, задержалось вокруг моего произведения. Успех части романа лихорадил меня, мешал приступить к его продолжению. Каждый день я решал начать работу и каждый ден откладывал продолжение рукописи. Не все еще было для меня ясно, не все еще я выстрадал, прочувствовал.

«Однажды мне позвонил друг и с первых же слов начал меня упрекать. Дело в том, что все книги, все журналы и альманахи, в которых печатались мои произведения, я дарил ему в день их выхода. Вчера на витрине магазина он видел вторую часть романа. Как могло случиться, что он не получил хотя бы оттиска?

«— Но ведь этого не может быть, вторая часть не написана!

«— Но ведь я сам видел книгу!

«Я,— рассказывает дальше писатель,— бросился к книжному магазину. Друг не ошибся. На витрине лежала вторая часть романа...

«Это было произведение небезызвестного тогда графа Амори. В несколько недель граф состряпал «окончание», продолжил мой роман. Бог мой, что это был за «конец»! Каждая фраза «романа» резала ухо, сжимала сердце, я задыхался от злобы и ужаса. Все, все было опошлено, загажено, мои герои заговорили языком столичных парикмахеров, они переродились, они закрыли свои лица уродливыми масками, они были безобразны, безграмотны, гадки, как «автор». Я тут же бросил в камин экземпляр «коллективного» труда, постарался забыть о происшедшем, но пошляки — бывшие мои герои — долго не оставляли меня. В голове все перепуталось. Год я потратил на то, чтобы забыть о случившемся, год не мог приступить к продолжению вещи...»

. .

Конечно, такое положение в наше время немыслимо. Граф Амори и подобные ему «сиятельства» не печатаются в СССР. Но в нашей мелкой прессе все еще работает ряд подхалимов, лакировщиков, холуев. Они могут опошлить, что угодно. Еще перед тем как видеть то, чем пошляк хочет восторгаться, он уже знает, заранее знает, какую форму придаст своему уразлиянию. Мысленно статеечка разбита на «подзаголовки», готов патриотический, бурный конец, по статейному пути расставлены барабанщики, фанфаристы, чудо-богатыри и чудо-герои. Пошляк готов с одинаковым усердием хвалить и ругать, и то и другое он делает, захлебываясь в собственной слюне. Он хватается за выгодную «хлебную» тему, везде поспевает первым, не опаздывает и спешит, спешит. Сегодня о заводах, завтра о фабриках, послезавтра о совхозах, еще через день о коммунах. Он забегает

вперед, выходит на широкую писательскую дорогу и от нечего делать строчит новую статейку.

— Ай-ай-ай,— огорчительно тянет он.— Ездят писатели в колхозы и совхозы, а пишут о них так мало. Вот — другие, которые...

Тут он упоминает о своем приятеле, скажем — Перепёлкине. Перепёлкин давно уже написал и о коммуне, и о колхозе, и о совхозе...

Яснее ясного, в тот же день Перепёлкин пишет о своем друге: «Смотрите, мол, какой дошлый парень! Успел, ведь! Успел!»

. .

Почему мы, писатели, так мало пишем о коммунах?

Потому, во-первых, что это свежая, гигантская, ответственнейшая тема. Страна недавно повернула по этому трудному пути, по пути не только переустройства крестьянского землепользования, но — что очень важно — перековки, переплавки живого материала, перерождения крестьянской психики. Люди с азартом — так, как только умеют в нашей стране — засучив рукава, взялись за дело — тысячи, десятки тысяч людей. Другие — миллионы — следят за работой, ждут вестей (и не только вестей: подробнейших отчетов!) с земледельческих участков социалистического фронта. В такой напряженной обстановке попрыгать воробушком перед носом трудового человека и прочирикнуть «всему свету» свое скороспелое мненьице, право же, нечистоплотно и недостойно высокого звания писателя. Писатель должен не только «увидеть», «взглянуть», но и детально, подробнейше изучить вопрос. Лишь только после такой работы (и то не всегда) он имеет право высказаться. А такая работа дается не легко.

Это — во-первых.

Во-вторых, писателя, да будет мне позволено так сказать, стошнило от стараний подхалимов и холуев. Они уже высказались, эти современные рабоче-крестьянские «графы Амори». Они установили стандарт и коммун и коммунаров. Смотришь на живого человека, а из ума не может улетучиться «образ», сделанный из жести и аляповато выкрашенный в кумачовый цвет. Стараешься задуматься над тем или другим вопросом... Но «готовое решение» маячит перед глазами, стучит в голову.

В-третьих,— это главным образом относится к коммунам окраинных республик и областей,— писателю, работающему, желающему работать в этой области, нужно потратить «впустую» неимоверное количество дней и недель, крови и нервов на то, чтобы найти свою печку, от которой он собирается танцовать. Я имею ввиду не столько точку зрения на колхозы и совхозы (ее, разумеется, надо иметь), сколько уменье добросовестно пользоваться своей пропорцией, своим масштабом.

Я бы хотел, чтобы меня правильно поняли. Прикладывая мерку наших гигантов — совхозов и колхозов — к коммунам Ойротии, едва ли можно говорить о больших достижениях. Но если вспомнить, в какой области и с каким материалом проделывается работа, если сравнить то, что (хотя бы) было в 1928 г., с тем, что уже сделано в 1929 г., если вспомнить и учесть все это, надо признать, что Алтай быстрым шагом, даже не шагами — прыжками — идет вперед по пути к обновленному быту.

Прежде чем рассказать о коммуне, которую я обследовал (а я намеренно побывал в чисто-ойротской, национальной коммуне, которая организовалась лишь весной этого года — мне важно было увидеть, посмотреть, как люди, только-что сколотившие коллектив, переехавшие на новое место со своими аилами, находящиеся еще в этих аилах, налаживают новую жизнь), мне хочется сказать несколько слов о колхозах Ойротии.

Осенью 1928 г. в Ойротии было: 3 коммуны, 8 сельскохозяйственных артелей, 20 товариществ по совместной обработке земли. Всего 31 единица.

В 1929 г. мы имеем: 11 коммун, 17 сельскохозяйственных артелей, 35 товариществ по совместной обработке земли, 19 животноводческих колхозов (цифры на июнь). Всего 82 единицы.

Тут уместно будет заметить, что по плану на 1929 г. в Ойротии предполагались 64 единицы (в том числе 4 коммуны). Как видно из этих цифр, план значительно превышен.

Теперь о населении, которое вовлечено в колхозы, опять-таки сравнительно с 1928 г. На 1 октября 1928 г. в колхозах Ойротии было 398 хозяйств — 1,76% к общему числу хозяйств области. Едоков в этих хозяйствах было 1 802 (1,69% к общему количеству едоков в области). На 1 июня 1929 г. втянуто в колхозы 5 219 едоков (4,89%).

Продолжаю пока что говорить языком цифр.

Площадь обобществленного посева в 1928 г.— 1 185 *га*. Задание — посеять в 1928 г. 2 850 *га*. Фактически выполнено 3 700 *га* — превышение на 30%.

Обобществленность прошлого года выразилась в 4,5%, в этом году — около 12%.

Посевы. В прошлом году колхозами было засеяно немного больше 600 *га*, а в тех единоличных хозяйствах, которые были в этом году вовлечены в колхозы,— 1 050 *га*. Сложив эти две цифры, мы получаем третью — 1 650. Это значит, весь человеческий материал, из которого в этом году созданы коммуны — прошлогодние коммунары и единоличные хозяева — засеяли в 1928 г. 1 650 *га*. В этом, 1929 г. колхозы посеяли около 3 300 *га*. Посевная площадь в сравнении с 1928 г. увеличилась на 1 650 *га*, ровно вдвое.

Таким образом, около 5% населения Ойротской области (точно 4,89%), которые вовлечены в колхозы, выполнили около 35% всего плана расширения посевной площади.

Еще несколько цифр:

Обеспеченность посевной площадью на одного едока в колхозах в 1928 г. выражалось в 0,34 *га*. В этом году она доведена до 0,56 *га*. В единоличных хозяйствах в настоящем году обеспеченность посевной площадью дошла только до 0,28 *га*. «Единоличники», как видно из цифр, обогнаны ровно в два раза (0,28 *га* и 0,56 *га*). Этим самым колхозники создали предпосылки для организации товарности в колхозах.

Чтобы покончить с цифрами и перейти к бытовой стороне, к рассказу о колхозах на Алтае, мне нужно сказать несколько слов о задачах на осень, на зиму — на будущий хозяйственный год. Должен все же предупредить — в бытовом материале также будут изредка попадаться арифметические знаки. Ничего не поделаешь: будущий план нашей жизни и работы покрыть густой сетью цифр.

Итак, о задачах на осень, на будущий хозяйственный год. Надо заготовить пары, произвести вспашку на зябь, поднять целину, местами развернуть раскорчовку. Из урожая нынешнего года необходимо выделить неприкосновенный семенной запас в таком количестве, чтобы его хватило на обсеменение площади, в два раза большей, чем в этом году. Дальше. Из этого урожая предполагается забронировать не менее чем по 4 центнера кормового овса на каждую рабочую лошадь для подкормки весной 1930 г. Карликовые хозяйства должны быть укрупнены: мелкие колхозы не в состоянии будут по-настоящему итти вперед, достигать, рационализировать.

Наконец главная, основная задача:

В 1930 г. необходимо довести площадь посевов в колхозах до десяти тысяч гектар.

Вот «заметки с натуры», добросовестно записанные низовыми работниками.

В Сайдынь (Майминский аймак) приехал представитель от колхозбюро, рассказал о коллективизации. Граждане решили организовать коллектив, открыли запись. Между другими в коллектив записался и кандидат в члены партии Бабаев.

Когда коллектив стали оформлять, пошел Бабаев напопятную. Стал просить:

— Вычеркните меня из списка. Я не хочу состоять в коллективе.

Абайские овцеводы (Уймонский аймак) надумали организовать овцеводное товарищество. Один общественный работник этого селения подговорил жену: «Ты, мол, говори, что не позволяешь мне участвовать в товариществе».

Другой на собрании заявил:

— Вот мы сейчас посеем на арендованной земле 10 *га* и посмотрим, что выйдет. Будет хорошо, тогда разговор другой...

Ссылки на «темную семью» весьма часты. Председатель Кайтанского колхоза через пять дней после организации коммуны подал заявление о выходе из «общества». Причина: «Семья не идет, не перевоспитана».

Число приведенных «заметок» можно было бы увеличить. Все они говорят о том, что на первых порах (особенно в 1928 г., теперь — реже) «итти в коммуну» боялись не только неграмотные, малосознательные ойроты, но зачастую и общественные работники, верхние слои аймачного населения, товарищи, состоящие членами и кандидатами коммунистической партии.

Мне довелось беседовать с некоторыми из этих общественных работников. В большинстве случаев они искренно верят в дело социалистического переустройства деревни. Больше того — они твердо знают, что «иного нет у нас пути», как поется в песне, что через несколько лет им неминуемо придется войти, включить себя и свою семью в одну из коммун,— я говорю, разумеется, о большинстве. Но — устав в борьбе, только-только осев на землю, у теплой, сытно и вкусно пахнущей печки, им бы хотелось «маленько повременить», отсрочить свое участие в коллективной работе, избегнуть ошибки, не участвовать в первоначальных ошибках, которые неминуемы в такой большой и ответственной работе [1].

Не мне, человеку со стороны, подробно говорить об ошибках в работе колхозов. Попутно замечу, что ойротские коммунары придумали очень хороший социалистический способ борьбы с ошибками и всяческими искривлениями. Он сводится к следующему.

Молодой, слабый, «начинающий» колхоз посылает своего экскурсанта (иногда двух-трех) в крупный и старый колхоз, имеющий большой опыт в работе, особенно в части организации труда. Ввиду того, что таких колхозов в Ойротии нет, экскурсантов посылают в ближайшие округи (Рубцовский, Барнаульский). Экскурсанту-коммунару колхоз дает только на проезд. Приехав в крупный колхоз на два-три месяца, экскурсант принимает участие в труде и, следовательно, получает заработную плату наравне со всеми колхозниками.

Натаскавшись таким образом, коммунары не будут делать таких ошибок, какие, например, в прошлом году делали некоторые колхозники Шабалинского аймака.

[1] Отнюдь не собираясь защищать подобного рода людей, я только об'ясняю их поведение. В этом поведении есть доля от осторожненького обывателя, который, потирая руки, говорит: «Ты, мол, попробуй, сделай, а я погляжу. Выйдет у тебя,—тогда и я сделаю. От выгодного предприятия никогда не откажусь».

В некоторых колхозах Шабалинского аймака члены коммуны с весны до осени 1928 г. работали «втемную». У плохо усвоивших принципы коллективизма колхозников осенью, по окончании работы, возникло и окрепло настроение — делить все, что получено за год. Придушенный инстинкт собственника вновь поднял голову. Начали делить, переругались, перессорились и, конечно, чуть не развалили с трудом начатое дело. А ругаться было из-за чего. Прежде всего — как делить? Сколько должен получить тракторист, сколько — пастушонок? Как будто — поровну: на то и коммуна. Но, с другой стороны, один работал с полной нагрузкой, он делал большое и ответственное дело, он в городе учился (и научился) управлять стальным конем, другой же — пастушок — посиживал у дерева и свистел кнутиком... Дальше — как быть с приплодом скота? Делить ли приплод на количество работников или на количество едоков? Затем, поделив, каждый как будто должен забрать свою часть, свою лошадь и корову? Значит, коммуна должна распасться на ряд мелких хозяйств, т. е., яснее говоря, развалиться?..

Конечно, во-время подоспевшим работникам округа удалось рассеять сомнения шабалинских колхозников. Но ведь могут возникнуть (и возникают), сомнения иного порядка, могут вспыхнуть и развиться иные внутренние неурядицы, а центр где-то за горами, а коммуны одна от другой отстоят на десятки, а иногда и на сотни верст, а горные пути мало удобны для сообщений...

Вот почему для Ойротии так важен, так полезен обмен практикой. Я говорил с экскурсантами — они впитали большой опыт, они заразились энтузиазмом, они на время удалились от своей коммуны и приобрели столь необходимый в работе «пафос дистанции», большой размах. Коммунары, в прошлом году делившие «поровну» прибыль, разбили все хозяйственные работы на четыре группы (колхоз «Ойротский путь»). Работники первой группы получают в день 30 коп., работники второй группы — 65 коп., третьей—90 коп., четвертой— 1 руб. 5 коп. Нужные продукты работник той или иной группы получает в счет этой четырехразрядной оценки. Если будет организована общественная столовая (в некоторых колхозах такие столовые уже организованы), то все колхозники получат одинаковый обед, завтрак и ужин, а сумму стоимости еды вычтут из заработка. Таким образом, получаемая колхозником плата за работу, дающая в своей минимальной расценке (30 коп.) возможность питаться одинаковой (по качеству и количеству) с другими пищей, является как бы определителем его (колхозника) уменья, трудоспособности и, зачастую, желания работать. «Прибыль» же (сумма, полученная колхозниками сверх заработка) идет на улучшение и расширение хозяйства.

Не знаю, останется и будет ли введено во всех колхозах подобного рода распределение заработной платы, но если эту систему сравнить с «системой шабалинских колхозов, то нужно признать, что четырехразрядная сетка — большой шаг вперед. А дальше... Жизнь, возможно, укажет иные, более верные пути к социализму. Важен первый шаг, а он — сделан.

Большую пользу принесут коммунарам договоры на соревнование, подписанные многими колхозами. В Улалинском колхозбюро хранятся эти контракты современности. Они заключены на снижение себестоимости продукции и повышение товарности, на повышение производительности труда, на переход на сдельную оплату и укрепление трудовой дисциплины, на быстрое окончание посева. Колхозники обязались пахать с нагрузкой в 0,6 *га* на плуг в день, своевременно и быстро заготовить сено, повысить удойность на 40%, своевременно убрать и обмолотить урожай, учесть продуктивность стада, провести массовую подкормку скота сильными кормами, правильно выращивать телят. Многие обязались и тем самым обязали других

улучшить культурно-бытовые условия колхозов (организовать общественные столовые, ясли, красные уголки, выписать газеты и журналы, полностью ликвидировать неграмотность)...

Выше уже сказано, какими соображениями я руководствовался, избрав для специального обследования чисто-ойротский, организованный этой весной колхоз. Таким колхозом (коммуной) оказался «Ленин-маатыр» (Ленин-богатырь).

Итак, я еду в «Ленин-маатыр».

Из Кара-кола дорога по-алтайски обычна: горы, лес, луга, реки, которые нужно переходить вброд. Кара-кол — последний пункт, где имеются настоящие дома с трубами, дверми, окнами. Там ночевали мы в школе, расположились на полу, и заведывающая школой — алтайка — комсомолка Готя, улыбаясь, говорила мне:

— Отсыпайтесь, отсыпайтесь, товарищ, под крышей. Там дальше придется лежать под открытым небом — домов не будет.

Я спросил, знает ли она что-нибудь о коммуне «Ленин-маатыр»? Мне трудно сказать, в скольких *км* коммуна лежит от Кара-кола. Одно мне точно известно — коммуна находится в том же аймаке, что и Кара-кол — в Онгудайском.

— «Ленин-маатырь»? — переспрашивает она,— «маатырь»? Не слышала.

— Ничего тут удивительного нет,— говорю я и стараюсь ее ободрить.— Тут ровно ничего удивительного. Коммуна организована весной. Не полагает ли она, что колхозники успели выстроить...

— Двух'этажный дворец,— смеется Готя.

— О, зачем! Не дворец, конечно, а нечто вроде помещения, которое скромный человек нашел бы удобным для жилья. Нечто среднее между аилом и двух'этажным дворцом.

В этом Готя сильно сомневается.

Тормозя каждый свой шаг, осторожно перебирая передними ногами, с горы спускается лошадь. То здесь, то там, то в одной долине, то в другой расположены группы аилов. Группы эти не велики, они состоят из пятидесяти-двадцати юрт. Стада коров и лошадей пасутся тут же. Кое-где виднеются копны сена. Некоторые алтайцы уже приступили к заготовке зимнего корма для скота. Мелькают остро-зеленые заплаты — полоски ячменя. Каждый вид злаков имеет свой цвет. На старых просторах Алтая вы встретите только одноцветные полосы — грядки ячменя. Алтаец не ест хлеба, он питается одним лишь толканом, толкан готовит из ячменя. Что же касается лошади, то она не знает овса. Местами видны жертвенники буханистов, на жертвенниках — остатки вереска. Лоскутья материй рвутся-не отрываются от белых «невинных» берез, хлопают на ветру.

Последний спуск — и вот, на луговых равнинах, я вижу широкие полотна засевов. Начались поля «Ленин-маатыр».

Коммуна организована весной этого года. Коммунары «Ленин-маатыр» успели обработать 40 *га* земли и засеять 27 *га*. Засеяли хлеб, овес, ячмень. Этой весной коммунары впервые за всю свою жизнь начнут есть хлеб, лошади получат овес.

Идет уборка сена. Издали слышен шум косилки. Председатель коммуны товарищ Куилюк сидит на выгнутом, в дырочках, жестяном сиденьи косилки. Он сидит, чуть откинув назад корпус, как сидят алтайцы у очага, погоняет лошадь, трава густым валом с'езжает с наклонной площадки машины.

Заходит солнце, пора кончать работу. Через переводчика (товарищ Куилюк — алтаец, он не говорит и плохо понимает по-русски) я договари-

ваюсь с товарищем Куилюком. Через несколько минут он передает своему заместителю косилку с лошадью, вместе мы пешком идем в коммуну.

Косилка — единственная пока машина в коммуне. В разобранном виде ее привезли из Онгудая на вьючных лошадях. Из лежащих по дороге аилов выбегали люди, смотрели на ящики с зеленым машинным железом и качали головой. Когда им говорили, что машина эта лучше и быстрее людей косит сено, находились любители, которые уверяли, что из этой затеи ничего не выйдет, тут же шли на пари, ставили пять голов скота против одной. Любители седлали лошадей и сопровождали машину до коммуны. По дороге, узнав в чем дело, присоединялись новые любители. В коммуну машина в'ехала со свитой в несколько десятков наездников, тут ей был дан первый бой.

Два дня машинист складывал машину, и два дня не отходили от него любопытные жители гор. Они были так уверены в никчемности машины, что — нечего греха таить — и многие члены коммуны начали сомневаться. По ночам они тихонечко вылезали из аилов, усаживались возле черного крыла косилки, пробовали пальцами холодные, свеже-выкрашенные части, думали. Машина — бездушна, машина — не человек, да ведь и человек, бывает, подведет!

Этому не приходится удивляться. До сих пор еще проезжающие мимо коммуны алтайцы останавливаются и с любопытством рассматривают лежащие у аилов перевернутые плуги. Узкую свою полосу алтаец пашет алдазыном — деревяшкой с железным наконечником. Что же говорить о стучащей, шумящей машине, со многими колесиками, зубами и ножницами, творящей чудеса!

Мы идем лугом. «Ленин-маатыр» все еще не виден. Трава густа и высока. После первых двух-трех вопросов наступает неловкое молчание — мы молча присматриваемся, изучаем друг друга. Товарищ Куилюк молод — ему не больше тридцати лет. Время от времени он потягивает длинные свои усы, косится на переводчика, продолжает молчать.

Вдруг из тишины вырываются звуки. Печальный и спокойный голос поет любимую сибиряками песню:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали...

Последние слова замирают, как дым плывут в воздухе. И тотчас же несколько голосов подхватывают исчезающее, падающее эхо:

Бес-пре-рыв-но гром гремел,
И ве-етры в дебрях бушевали...

И опять одинокий голос стонет под темнеющим небом:

Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой...

И вновь его поддерживают, подхватывают другие:

На диком бреге Иртыша-а
Сидел Ермак, об'ятый думой.

Песня прекрасна, несколько минут мы слушаем ее молча. И только после того как проникаешься печальной ее прелестью,—только через несколько минут возникает недоумение: каким образом русские попали сюда, что делают они в «Ленин-маатыр»?

Не дожидаясь вопроса, товарищ Куилюк рассказывает:

— Аймак отпустил нам средства на устройство школы и яслей... Русские плотники заканчивают работу. Вот увидите...

Но видеть коммуну нам пока-что не удается, ее все еще нет. За полкилометра до коммуны, по ходатайству коммунаров из «Ленин-маатыр», Ойротский молочный союз построил маслозавод. Коммуна пока-что доставляет на завод 200 килограмм молока в сутки. Строить маслозавод в самой коммуне не было расчета. Вот почему, правильно решив, что молоко будут сдавать не только коммунары, молочный союз построил завод не в самой коммнуе, а по пути к ней.

Нас, граждан советской страны, трудно удивить контрастом. Уже в самом расположении Союза мы находим контраст: насыщенная солнечным зноем Абхазия и холодная, суровая, вечно-мерзлая земля Якутии. И все же — новые, просторные, светлые, высокие ясли и школа в окружении нескольких десятков аилов поражают. Здесь не столкновение, не поединок, не борьба между старым и новым. Здесь старое с поклоном приползло к новому, с поклоном и просьбой: раз навсегда покончить с варварским бытом.

Мы прогуливаемся по темнеющим комнатам. Должно быть, и солнцу в этих краях странно и непривычно заглядывать в широкие, застекленные окна. На прочно сколоченном полу — стружки, глина, куски кирпича,— все то, что остается на полу после постройки. Иногда из-под ног со звоном вылетает, выскакивает забытый мастерами гвоздь. Одна комната тесно набита плотно стоящими друг к другу, еще только вчера законченными детскими кроватками. Сейчас, когда я пишу эти строки, дети, тогда еще жившие в аилах, у костров, ребятишки с ожогами на руках и ногах, с разопревшими от мочи и кала спинами, резвятся, возможно, в своих кроватках, попрыгивают на мягких и чистых подушках. У дверей, столпившись, стоят их родители. Они пришли с работы и, перед тем как отправиться на ночлег в аилы, заглянули сюда — на одну минуту. Пора спать, комсомолка-воспитательница в последний раз обходит сквозные ряды детских кроватей, в последний раз она выпростала детские ручки из-под одеяла. Она прикручивает лампу и смотрит на открытую дверь. Она недолго смотрит на дверь, потом с лампой в руках подходит к порогу. За порогом все еще стоят родители, слабый свет лампы освещает их усталые лица. Им пора спать, они пришли на минуту, на одну минуту, но почему-то не могут уйти из просторного дома к себе — в аилы, к очагам... Темно. Как быстро темнеет!

Как быстро темнеет!

Из последней комнаты мы выходим, едва видя друг друга. Товарищ Куилюк собирается уйти. Он устал, завтра на рассвете он должен встать — погода благоприятствует, надо запасаться сеном. Я задерживаю его только на несколько минут с тем условием, что за все время пребывания в коммуне не оторву его больше от работы и отдыха ни на секунду. Мне нужен, цифровой материал «Ленин-маатыр».

Коммуна «Ленин-маатыр» организована в апреле. Беда и несчастье Ойротии — отсутствие достаточного количества агрономов и колхозных техников — задела при возникновении и «Ленин-маатыр»: технический персонал, который взялся бы сразу направить создающийся колхоз по правильному пути, смог приехать к будущим коммунарам только после долгих и настойчивых просьб, уговоров и напоминаний. В этом — оговариваюсь — никто не повинен.

Итак, задуманная еще осенью коммуна открыта в апреле. В коммуну вошли 23 семейства, 80 едоков. Все они привели с собой и передали коллективу 115 лошадей, 200 голов рогатого скота, 50 голов мелкого скота — овец и телят.

Прочтя эти цифры, русский читатель подумает: о каких это коммунарах я собрался говорить? У восьмидесяти человек свыше 800 голов скота, т. е., в среднем, по десять голов у человека? Да ведь это кулаки, богатеи решили надуть советскую власть!

Ничего подобного здесь, конечно, нет. В состав коммуны «Ленин-маатыр» входят три середняка, остальные — бедняки и батраки. Ойротия — скотоводческий край. Все состояние алтайца, его питание, связано со скотом, который, кстати сказать, здесь очень дешев. Вот почему норма скота на Алтае несколько иная, чем у нас.

Из восьмидесяти человек, способных по-настоящему работать — 44 человека (мужчин 23, женщин 21). Число 36 (80—44) составляется из стариков и старух, из подростков и детей. Для последних 20 человек и выстроены ясли.

В распоряжение коммуны отведено 60 *га* лугов и 40 *га* земли, годной для вспашки. Коммуна, как видно из этих цифр, имеет животноводческий уклон.

Коммуне предоставлен десятитысячный кредит. Деньги идут только на строительство и оборудование.

Пожалуй, последней цифрой можно закончить арифметику «Ленин-маатыр». Миссия товарища Куилюк закончена.

Хотите знать, как современность, советская наша действительность выбивает из колеи, поражает средневековье?

Люди добровольно вошли в коммуну. Знающие, просвещенные до возникновения коммуны об'ясняли непросвещенным сущность нового содружества. Глава семьи и трудоспособные члены семьи должны вносить свой труд в коммуну. Каждый делает то, что может, свою работу (всю, целиком) отдает товариществу.

Жители аилов начали записываться в коммуну. Пришел записаться в коммуну и ярлыкча...

Об этом, сидя у очага, рассказывала мне старуха-алтайка, инвалидка. Она потряхивала проворными руками железное блюдо с ячменем, держала блюдо над огнем, ворочала зерна тонкой палочкой. В аиле было полутемно, вкусно, заглушая все иные запахи, пахло жареным зерном.

— Да,— говорила она переводчику, вспоминая всю эту историю,— пришел записаться в коммуну ярлычка. Ньокёр Куилюк спрашивает у него: что ты умеешь делать?

— Вы понимаете,— поясняет старуха переводчику,— каждый член коммуны должен уметь что-нибудь делать для всех. Мой сын пашет землю, внучка пасет скот, я, вот, дою коров, делаю толкан — для этого я еще гожусь. Но что будет делать бедный ярлыкча? Он умеет только молиться, но для коммуны нужно уметь что-нибудь делать руками — вы понимаете меня? Конечно, нам он нужен, ярлыкча, а коммуне... нет, коммуне он как будто не нужен. Постой, постой, вот перечислим. Он умеет пахать? Нет. Он умеет доить коров? Нет. Умеет ли он хоть делать толкан? Нет, он и этого не умеет. Как же он может войти в коммуну?

— Ну, и что же? — спрашивает переводчик.

— Ничего не вышло,—озабоченно продолжает старуха.— Ничего не вышло. Мы все разобрали наши аилы и переехали сюда, а он — он, наш

ярлыкча, остался. Понимаете? Мы, храни меня добрый дух, не желаем ему зла, он нам нужен, ярлыкча, но — что он умеет делать для коммуны?

Конечно, я далек от мысли, что язычество навсегда изгнано из «Ленин-маатыр». В некоторых аилах «Ленин-маатыр» я видел березы, увешанные ленточками и тарелочки с золой — остатки курений вереска. Я знаю — камы и ярлыкчи бродят по Алтаю, не скоро ойроты избавятся от них. Но вот, в новом обществе уже не нашлось места для священнослужителя. Это — в коммуне, в которой живут бурханисты. Не думаю, чтобы в коммуне с шаманистами находились лошади для жертвоприношений. Сильно в этом сомневаюсь.

Выше рассказывалось о людях, ничего не умеющих делать в коммуне. А вот несколько слов о людях, которые умеют, хотят уметь...

Весной, через несколько недель после организации коммуны, в «Ленин-маатыр» прибыли гости: 8 алтайских парнишек из школы крестьянской молодежи.

Алтайцы гостипримны. Алтаец никогда не спросит у вас — зачем пожаловали? Он всегда рад гостю, рад поделить с ним тепло очага, сыр, молоко, арачку и трубку.

Но парнишки приехали в трудный час, когда люди только что взялись за новое и горячее дело, только что закончили с кочевьем и осели на постоянное место. Кроме того, коммунары постановили брать из общего количества молока только то, что им нужно на прокормление. Одним словом, парнишки выбрали чрезвычайно неподходящий момент для гощения.

Ученики школы крестьянской молодежи сразу это почувствовали и предложили за прокормление молодые и крепкие свои мускулы. Предложение было принято. Ребята начали работать, а в ненастные дни, в дни, когда коммунары не выходили в поле, в промежутки между посевом и сенокосом шакаэмовцы широко развернули ликвидацию неграмотности. По секрету они кое-кому сообщили, что за этим они, собственно, и приехали в коммуну.

Сейчас трудно говорить о результатах. К концу своих каникул, ко времени от'езда парни полагают, что 70% неграмотных будет ликвидировано.

Мои заметки о «Ленин-маатыр» подходят к концу. Говорить об экономических успехах или неуспехах коммуны преждевременно. Коллектив существует всего лишь несколько месяцев. Поехав в новую, только-только организованную коммуну, я хотел видеть — повлияла ли жизнь в коммуне на изменение старого быта, на много ли за этот короткий срок изменилась в аилах жизнь. Только то, что отвечает на поставленные выше вопросы, я вношу в эту главу.

Бич Ойротии — арачка. Декретом, постановлением она еще не выведена. В каждом аиле имеется несложный, сделанный из дерева аппарат для переработки молока на вино, этим занимаются все. Арачка не действует, подобно русской водке, на голову, ее можно пить в любом количестве, она греет тело и веселит душу.

В ущельях, на лугах, в тайге вы часто встречаете алтайца, едущего за пятьдесят-шестьдесят верст в гости. В чем дело? Едущий узнал, что «сосед» его, живущий за горами и долами, приготовил большое количество арачки. Вот он и едет угощаться, пробовать арачку соседа.

Несколько дней он пьет в гостях арачку. Когда же вся арачка выпита, он приглашает хозяина поехать пить вино к нему или к другому соседу. Так, лучшие дни и недели ойрот проводит в раз'ездах и пьянстве. С домашней работой справляется жена. Кто же заготовит сено? Этого женщина не умеет делать. И вот мы часто видим — к осени алтайцы немилосердно истребляют скот. Сеном из-за арачки не удалось запастись.

Во всех почти аилах «Ленин-маатыр» я видел аппараты для гонки арачки. Однако деревянный чан не торчал над очагом, из чана не тянулись деревянные трубы — в корыта с водой. Нет. И чан, и трубы и корыта лежали в стороне, старая закваска цвела на почерневших от времени и копоти «инструментах».

С апреля коммунары не варили арачки.

Почему?

Тут, как и в «изгнании» ярлыкча, жизнь быстрее и энергичнее людей расчищает дорогу для нового быта.

Трудно поверить, что все коммунары сразу поняли вред безделья и арачковарения. Так бывает только в очень плохих книгах и никогда — в жизни. Среди коммунаров «Ленин-маатыр» вы найдете большой процент людей, которые с удовольствием посидят с вами за четвертью арачки. Но вот люди затеяли общее дело, дали друг другу слово: дело это и дальше повести совместно. Для развития коммуны нужны деньги, деньги можно получить за молоко. Излишек молока сдается маслозаводу. А ведь арачку делают из излишков.

Мешает курить арачку и «общий» скот. Для своих коров, лошадей и овец ойрот, скажем, может не заготовлять на зиму сена. Обречь, однако, на гибель скот своих товарищей по работе ни один алтаец не согласится. С другой стороны, никто твою работу не будет делать, когда ты пьяный сидишь в аиле или раз'езжаешь по гостям. Значит, надо самому работать, не пить, не курить арачку.

Проходит месяц, два, член коммуны не пьет, отвыкает от арачки. Тем временем более сознательный товарищ толкует с ним о вреде пьянства. Шакаэмовец подбивает заключить договор на трезвость. Ойрот не сразу согласится подписать бумажку, но зато подписав, крепко держит слово, стоит на своем.

Стриженая девушка пасет скот. Шуба и сапоги, меховая шапка и косы, густо увешанные белыми раковинами и перламутровыми пуговицами — все это забыто, раз навсегда оставлено. На ней — легкое платье, она разута. Часто, забравшись в густую траву, я наблюдаю за нею. В свободные минуты она тихо, без слов, напевает и, одну руку положив на бедро, другой помахивая, танцует:

— Ду-ду,— поет она и танцует.— Ду-ду.

Ее отвлекают от танца игривые телята, она стреляет бичом, мелькая пятками, гонится за ними. Порядок, наконец, восстановлен. Стриженая девушка забывает о танцах, она возвращается на свое место и поет песню. О чем она поет? Девушка поет о телятах, за которыми только что гналась.

— А-а,— поет она,— глупые телята резвились, мне пришлось за ними гнаться и обжечь их кнутом. Глупые телята должны есть траву, а не гнаться по полю. Глупые телята могут заблудиться в горах, а там медведи, а там волки, а там злые орлы, а-а, а-а...

Каждый день я выхожу ей навстречу, она привыкает к моим появлениям. Мне хочется поговорить с нею, но я не понимаю по-алтайски, она — по-русски. Мои мысли и фразы я должен разбивать на отдельные слова,

каждое слово долго отыскивать в русско-алтайском словаре. Это всегда плохо выходит.

Кто она, эта стриженая девушка? Она смотрит и смеется, смотрит и смеется. Кто знает? Может быть она тоже хочет мне что-либо сказать?

— Слэр комсомолка?— спрашиваю я в первый день нашего знакомства.

Стриженая девушка смеется и качает головой.

Я ухожу, в школе коммуны ждут меня мои записи. Между делом я вспоминаю о стриженой девушке. Надо бы узнать — кто она? На следующий день я опять отправляюсь гулять и опять встречаюсь с нею. Она смеется и смотрит на меня. Я хлопаю себя по карману и не нахожу словаря.

«Экая досада,— думаю я.— Опять не смогу поговорить, узнать, кто она».

На третий день при встрече с нею, я быстро, чтобы не забыть, произношу заученный вопрос:

— Кем слэр? (Кто вы?)

Она еще больше смеется, должно быть, слова произнесены не так, как они должны быть произнесены. Все же, вдоволь посмеявшись, девушка отвечает:

— Кудай дэбэс.

Из другого кармана вытаскиваю алтайско-русский словарь и знаком прошу повторить слова. Теперь я слышу ясно:

— Кудай дэбэс.

— Кудай, кудай, кудай, кудай,— бормочу я и быстро двигаю пальцем по строчкам.— Вот. Кудай-дэбэс. Безбожный.

— Что-о?? Безбожница? Она — безбожница?

О наших беседах я никому не говорю — приятно хранить маленькие, невинные тайны. Знал бы я алтайский язык!

Но накануне от'езда «кудай дэбэс'ство» стриженой девушки выясняется и без алтайского языка.

Накануне от'езда я ночую в аиле.

На рассвете вбегает знакомая стриженая девушка и быстро спрашивает что-то у хозяина и хозяйки аила. Ей отвечают и она уходит. Через десять минут пастушка опять вбегает и задает те же вопросы. Ей отвечают и почему-то показывают руки. Она щупает руки хозяина и хозяйки, пробует руки пальцами и, довольная, убегает.

Переводчик об'ясняет мне, в чем дело. Тайна стриженой девушки, наконец, разоблачена.

В «Ленин-маатыр», оказывается, организована ячейка безбожников. На первых порах все члены ячейки постановили каждый день мыться и вытираться полотенцем. Следить за выполнением постановления поручили стриженой девушке — члену ячейки. Вот почему она — «кудай дэбэс», вот почему она забегала в аил, щупала руки хозяина и хозяйки — сохранили ли пальцы безбожников влагу?

Дождь идет

Дождь на Алтае так же заунывен, безнадежен, как и алтайская пыль. Он накопляется днями, неделями — знойные часы, холодные ночи, испарения тайги, росистые вечера зря не проходят. Однако до поры до времени накопление совершается далеко за горами, пока что они вас не тревожат. Только-только вы начали забывать о «пыльном насилии». Пыльные тучи доставили вас до самых высоких гор — дальше не могли пойти, так темной занавесью они и повисли в горах. В лесу, в тайге, на высоких «бомах» нет пыли...

Проходит неделя, другая, путешественник забывает о всех историях, которыми пугали его алтайские старожилы. «Пожалуй,— думает путешественник,— напрасно я бегал по Новосибирску, искал непромокаемое пальто, напрасно запасался в Улале клеенками для вещей. Здесь имеют место явные преувеличения».

Так думает путешественник несколько недель, лишние вещи тяготят его.

Наконец наступает перелом. Погода меняется.

Если вы в эти часы едете по лесу, то перемену не сразу замечаете. Пожалуй — стало чуть-чуть холоднее. Пожалуй — труднее стало дышать, явно ощущается насыщенность воздуха. Пожалуй — тише стало в лесу. Сторонний, новый человек особенно замечает эту лесную тишину. Она длится всего лишь несколько минут.

После этого лес начинает шуметь. Все деревья, все травы, ветви, цветы, иглы, листья приходят в движение. Низко пролетает птица, она истерично настроена, она кричит громче, чем всегда. Ядовитый, жадный запах цветов кружит голову. Вдали едва слышно громыхает. Все еще нет оснований полагать, что наступает дождь. В темнозеленом оформлении видно синее небо, оно не изменилось.

Но вот вы выехали из лесу. Встречный ветер расчесывает травы, кладет их к ногам лошади. Справа, перед мутной, насыщенной селнцем тучей стоит радуга. Она широка, как лента на генеральской груди, она кажется очень близкой, она на невидимых крыльях, отделяясь от тучи, летит, приближается к вам. Из-за гор, осторожно, со всех сторон набегают тучи. Так, нагнувшись, уже сознавая, что идут в атаку, но еще не чувствуя атаки с места на место перебегают солдаты.

Волнение природы передается людям. Я слышу, как один из моих спутников, нервничая, спрашивает у проводника:

— Что нужно делать во время дождя?

— Ничего,— кратко отвечает проводник.

— Может быть, можно где-либо скрыться?— продолжает спрашивать спутник.

— Где там скроешься! Разве от дождя скроешься?

В самом деле — где там скрыться! На сто верст кругом нет человечьего жилья, негде остановиться, спрятаться.

Стараюсь вникнуть, понять спокойствие проводников. Они чуть хмуры, но спокойны — как всегда. Ни при каких случаях они не теряются в пути.

Мощными массивами сходятся тучи. Солнце изо всех сил старается светить. Золотые мазки лежат на вершинах гор. Лучам приходится быстрым, военным темпом сворачиваться. В последний раз видна полоска голубого неба.

Заунывно поет, старается перекричать шум ветра молодой алтаец-проводник. Он сидит на лошади, простирает к чернеющему небу ладони и заунывно кричит. Может быть он молится черным тучам? Может быть в последний раз он их заклинает — остановиться, раздумать, повернуть обратно?

Поздно. Я еще вижу, как низко плывут тучи, как дружно и быстро они смыкаются. Наконец, сомкнулись.

Тогда-то начинает лить дождь.

Наше, европейское, определение — «льет, как из ведра» — совершенно неприменимо к алтайскому дождю. Когда говорят — «льет, как из ведра», вы ясно себе представляете временный поток воды. Ведро воды говорит не только о широкой струе, но и о том, что количество воды ограничено. Должна же пройти секунда, пока зачерпнут второе, десятое, сотое ведро!

Этих-то промежутков Алтай не знает, как не знает он и того, что тучи где-либо рассеиваются. Нет, алтайские тучи не таковы. Они никогда не

рассеются, никуда не уйдут, они должны вылить всю влагу, которую хранят в бездонных своих резервуарах. И главное — они спокойны. «Вот мы пришли — кажется, говорят тучи.— Рады-не рады, а уж пока не кончим свое дело — не уйдем».

И в самом деле — не уходят. Уже через час алтайский дождь начинает опровергать старые истины. Скажем — непромокаемое пальто. На то оно и непромокаемое, чтобы не промокать. Так было до сих пор, но так не бывает на Алтае. Ровно через час промокает непромокаемое пальто. Истина опровергнута.

За пальто — клеенки. Казалось бы — вещи, со всех сторон тщательно завернутые в клеенку, не должны мокнуть. Так было и бывает везде, но так никогда не было и не бывает на Алтае. Промокший до последней нитки, вы останавливаетесь на ночлег в чистом поле (лес не предохраняет вас от ливня), разворачиваете и устанавливаете мокрую (непромокаемую) палатку. Вы утешаете себя: вот я погреюсь, посушусь у костра и надену сухое белье — в рукзаке (рукзак завернут в клеенку) хранится теплое сухое белье. Но за долгие часы белье успело промокнуть. Даже клеенка — клеенка!— не могла защитить вещи от дождя.

Дальше вы убеждаетесь в том, что и непромокаемые сапоги — фикция, выдумка, которой живут европейцы. Алтайский дождь проникает везде и всюду, он — всесилен, он — всемогущ.

. . .

Вода, дождь, вода. Тело раскисает, преет от мокрой никогда не высыхающей одежды. Преет, скользит седло, кожа стала холодной, мягкой, неприятной на ощупь. Земля залита водой. Вы рады, если на ночь вам удается отыскать горку, разложить костер. День за днем, ночь за ночью, неделя за неделей льет дождь. Иногда, правда, дождь прекращается на несколько десятков минут. За тучами, видно, включают новый океан. Тучи не двигаясь лежат над землей. Вы видите, как, прорвав свое тело, дождевая туча лежит на горах. На траве видны капли, травы унизаны дождевыми каплями. Вспоминаете о дождях Москвы, России, наконец,— о тропических дождях Закавказья — и совершенно напрасно расстраиваетесь. Сравнения тут неуместны. Все равно, все равно тучи не рассеются, не уйдут. Включение произошло — с тем же напором дождь продолжается.

.

Спастись можно только через несколько дней — приехав в селение. Селение стоит в воде. Все безнадежно, все покорено, угнетено дождем. Чтобы перебежать от дома к дому, человек натягивает пальто на голову и несколько минут хлюпает голыми ногами по лужам. Выспавшись на теплой печке, высушив одежду, подходите к окну. Из окна ничего не видно. Окно занавешано дождевой кисеей. Тучи еще не «вылились» и нескоро истощатся. Дождь продолжает итти.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

О судьбах попутничества

С. Канатчиков

Советская литература переживает кризис роста. Происходит ожесточенная борьба между правыми и левыми группировками. Распадаются одни группировки и на их место возрождаются другие. Идет борьба и размежевание внутри отдельных групп. Все находится в состоянии брожения и расслоения.

Однако особенно бурно протекает борьба, как показало дело Пильняка, в рядах правого крыла так называемого попутничества. Условный термин попутничества был привнесен в характеристики литературных группировок из области политики. Слово это имеет большую давность и очень дурную репутацию. Впервые оно появилось в германской социал-демократической партии в девяностых годах, когда вместе с бурным ростом промышленности росла и крепла, тогда еще революционная, германская социал-демократическая партия.

Не находившие применения своим силам молодые, радикальные адвокаты, доценты и даже попы (пастер Гёре), а также всякого рода мелкобуржуазные и просто буржуазные карьеристы потянулись в ряды с.-д. партии. Их называли Mitleufer'ы — «попутчики», но тем не менее многих из них принимали в ряды партии, где они вскоре же заняли высокие руководящие посты и, сомкнувшись с оппортунистической частью партии, образовали ее правое крыло. Какое из этого получилось последствие — всем известно. Германская с.-д. партия — ныне самая реакционная, социал-фашистская партия. Разумеется это только одна из причин перерождения германской социал-демократической партии.

До революции 1905 года и во время ее, вплоть до реакции, «попутчик» и в нашей партии играл весьма выдающуюся роль. Однако, дойдя до ближайшей дистанции, попутчик, получив некоторое послабление со стороны самодержавия, быстро отхлынул. Наступившая затем реакция произвела весьма основательную чистку от попутчиков в рядах нашей партии. В ней остались лишь те, которые целиком перешли на точку зрения революционного крыла с.-д. большевиков.

Как и чем мы лечили нашу партию от засорения ее нестойкими «попутчиками»? Приведем на этот счет свидетельство весьма компетентного в этой области большевика — т. Ленина.

«Надо особенно стараться, чтобы как можно более рабочих становилось вполне сознательными и профессиональными революционерами и попадали в комитет»,— писал он в начале девяностых годов и далее: «В комитете должны быть поэтому, по возможности, все главные вожди рабочего движения из *самих рабочих*»...

Это писалось более двух с половиной десятилетий тому назад. С тех пор опыт и практика революционной борьбы сотни и тысячи раз подтверждали истину, высказанных т. Лениным вышеприведенных положений.

В настоящее время это стало одним из непререкаемых канонов нашей партии. Идет ли речь о формировании советских или партийных руководящих или нижестоящих учреждений — мы всюду и везде стремимся их орабочить в той или иной мере: выдвинуть «вожаков из самих рабочих». Это стало единственным средством обезопасить от перерождения и вырождения.

Такова краткая история «попутничества» в области политической. Этот политический термин в наше время был перенесен с некоторыми оговорками в литературу.

Попутчики-писатели об'единены в особые организации — левые и правые. Но немалое число попутчиков вошло и в пролетарские организации, восприняв, якобы, точку зрения пролетариата. Насколько действительно воспринята ими пролетарская точка зрения об этом мы скажем после, в другом месте.

До поры до времени подавляющее большинство попутчиков в различной дистанции тянулось за пролетариатом. Следует отметить, что занимаемые ими, сочувственные пролетарскому творчеству позиции были весьма неустойчивы. Но, в общем, попутничество в той или иной степени вдохновлялось революцией, гражданской войной и даже некоторые из попутчиков были охвачены неподдельным пафосом социалистического строительства. Это все происходило в первоначальную эпоху нэпа и так называемого восстановительного периода. Советская власть начала с бешеной энергией восстанавливать и пускать в ход построенные старыми капиталистами фабрики, заводы, рудники, кустарную промышленность, привлекать на концессии иностранные капиталы, давать жить частнику, нэпману. Естественно, что восстановительный период еще слабо обнаруживал направление развития. Многим, в том числе и попутчикам, казалось, что мы восстановляем то, что было построено и создано до нас старыми хозяевами-капиталистами, и что логика хозяйственного развития неизбежно приведет нас на старые позиции. Бурный рост кулачества на селе, казалось, подтвердил эту тенденцию хозяйственного развития. Вот почему разросшееся пышным цветом попутничество полагало, что мы восстанавливаем старое и лишь это старое облекаем в новую социалистическую оболочку. Ну, конечно, из-за словесной оболочки они особенно спорить не хотели, решив предоставить ее нам. Так на дело смотрели в свое время сменовеховцы, а Устрялов и его единомышленники еще и доныне смотрят. Таким образом в различных областях попутничество могло принимать участие в нашем строительстве и могло думать, что оно восстановляет старое.

Но вот старое капиталистическое наследство было использовано до конца: фабрики и заводы восстановлены, по мере возможности приспособлены к новым задачам хозяйства. Начался новый период строительства, так называемый реконструктивный. Фабрики, заводы, железные дороги, электростанции и т. п. начали строиться не для обогащения одного или группы предпринимателей, а прежде всего для удовлетворения общественных нужд государства трудящихся.

В буржуазном государстве крупный капиталист строит завод или фабрику ни с кем не считаясь, исключительно руководствуясь интересами собственной наживы, выгоды, доходности данного предприятия. В нашем советском государстве, вот уже в течение нескольких лет, настойчиво и упорно проводится единое плановое начало. По заранее намеченному на несколько лет вперед (пятилетка) плану строятся новые заводы, электростанции, проводятся железные дороги, эксплоатируются, разрабатываются нефтяные, угольные, металлические копи, организуются гигантские хлебные фабрики-совхозы, при помощи тракторостроения проводится коллективизация раздробленных мелких крестьянских хозяйств. По плану организуется вся

финансовая система. Через кооперацию по плану производится снабжение населения и т. п.

Естественно, что все эти мероприятия вызывают бешеное сопротивление со стороны обломков старого капиталистического общества. Кипит ожесточенная классовая борьба. Правда, в нашем плановом социалистическом строительстве в области производства и распределения много ошибок, недостатков, грубых промахов, головотяпства и т. д. Но все же, с каждым годом мы научаемся быть более точными, рассчетливыми и решительно берем с боя позицию за позицией у частника, нэпмана, мелкого хозяйчика, кулака.

При диктатуре пролетариата мы изучаем законы хозяйственного развития, мало-по-малу овладеваем ими и начинаем разумно строить свою жизнь. Из царства необходимости мы вступаем в царство свободы. С каждым годом растут и крепнут наши общественные, культурные и хозяйственные организации — профсоюзы, кооперативы, добровольные общества, всевозможные клубы, спортивные организации и т. п. Но что отраднее всего — наша молодежь, начиная со школьной скамьи, охвачена гигантской цепью всевозможных организаций. Стоит только вспомнить неслыханные, почти астрономические цифры наших организаций юных пионеров, насчитывающих в своих рядах около 3 миллионов членов. Или «Коммунистический союз молодежи», обнимающий свыше 2 миллионов членов. При желании эти организации выросли бы еще больше если бы мы сознательно не огранчивали прием новых членов строжайшим классовым подбором.

Могут ли все эти явления оставить в неприкосновенности старый быт, психику, всякого рода рабские пережитки, предрассудки старого строя? Только намеренно слепые могут этого не заметить. Даже наши открытые классовые враги признают происшедшие в нашей стране огромные бытовые и психологические сдвиги.

Прекрасную оценку того, что у нас совершается, дает недавно напечатанная в «Комсомольской правде» в № 234 за текущий год статья «Враг о комсомоле». Не могу удержаться, чтобы не привести нескольких выдержек.

Автор т. Левин приводит отзывы одного очень консервативного английского журнала о нашей молодежи. Вот что пишет «Очевидец» (так подписана статья) о нашей молодежи:

«Главная цель революционной молодежи — это подготовить себя для жизни в коммунистическом обществе. Для этого молодежь прежде всего старается пропитать себя новой коммунистической верой. Ни в какой другой стране, кроме России, молодежь не утопает в таком море политических идей и политического энтузиазма. Я сомневаюсь, существовало ли когда-нибудь религиозное движение, которое с такой энергией прививало бы молодежи свои принципы веры, как это делает коммунистическая партия в России. Молодежь приучают не только исповедывать новую политическую веру, но гореть этой верой и быть готовыми бороться и умереть за нее».

В другом месте тот же «Очевидец» пишет:

«Нигде, как в России, молодежь не свыклась так с идеей равенства и свободы полов, с отрицанием религии, с представлением о служении обществу, как мотивом и целью жизни, с чувством отвращения к личному обогащению, с коллективными действиями, с возведением труда на пьедестал. Труд для нее не только средство к жизни, но составная цель жизни. Труд не только средство к цели, но сама по себе цель».

Само собой разумеется, что все это пишется вовсе не для того, чтобы распространить о нас правильные представления среди трудящихся масс, а для того, чтобы дать правильное представление господствующим классам, о том, какого врага они имеют в нашем лице перед собой втайне, быть может,

мечтая привить своим рабочим такое же представление о труде и такой же энтузиазм к работе.

Однако самое замечательное место статьи, с нашей точки зрения, заключается в следующих строках:

...«Для нее (т. е. для молодежи.— *С. К.*) добродетель не в самопожертвовании, а в безразличии к материальным благам».

Не сомневаемся, что здесь «Очевидец», скажем в скобках, не раз с прискорбием вздохнул об отсутствии этих добродетелей у английского рабочего.

«Она не жалуется, когда ей приходится жить втроем, вчетвером или вшестером в какой-нибудь мансарде. Она не ворчит, когда ей приходится чинить свои изодранные сапоги. Она готова сидет на щах и черном хлебе изо дня в день, из недели в неделю. Она живет, платя лойяльностью не домашнему очагу, не родителям, не старшим, не религии, не прошлому, а только революции и ее будущему».

Вот какой наблюдательности нужно научиться многим и многим нашим писателям попутчикам. Что великолепно подметил наш враг — иностранец-буржуа, мимо того проходят не замечая наши писатели друзья.

Ныне уже и слепому становится ясным направление нашего общественного развития. В нем с каждым новым годом все больше и больше сторон жизни охватывает плановость, организованность, дальновидный расчет, предвидение. В общественной жизни все меньше остается места для стихийного, непонятного, иррационального. Все эти явления подобно эпикуровским богам оттесняются в «расщелины мира» [1].

Естественно, что в настоящее время перед нашим писательством, которое до сего времени не задумывалось над этими вопросами или задумывалось, но предпочитало отмалчиваться, снова настойчиво поставлен самой жизнью вопрос — куда и с кем итти.

Со значительным числом попутничества, особенно правого, мы окончательно дошли до дистанции, после которой наши дороги расходятся. Укрываться в неорганизованных «расщелинах» социалистического «мира», подобно эпикуровским богам, становится невозможным. Писатели неотложно должны решить этот вопрос. Все возможные сроки уже давно прошли. С каждым годом, по мере ликвидации неграмотности, растут и множатся трудовые читательские массы. Они пред'являют все больший спрос на близкую им художественную литературу и терпеливо ждут ответа: вы с нами или против нас?

Некоторые попутнические и просто буржуазные группы, особенно правые, склонны думать, что вопрос о выборе писателем пути искусственно кем-то форсируется, навязывается сверху.

Подождите, повремените — говорят они — дайте одуматься, оглядеться, ибо творчество такая деликатная вещь, оно не терпит вмешательства с чьей-либо стороны. Вдохновение художника свободно, оно не терпит принуждения. Художник может рисовать талантливо, искренно только то, что отошло в прошлое, что отстоялось, утряслось. Затем следуют ссылки на творчество Л. Толстого, забывая о том, что «свободное» вдохновение Толстого было насквозь проникнуто идеалами прошлого. Л. Толстой искал разрешения социальных противоречий капиталистического строя не в будущем

---

[1] Эпикур – греческий философ-материалист, живший за 150 лет до нашего летоисчисления, подобно его предшественнику Демокриту считал, что мир состоит из движущихся атомов. Но он в то же время допускал существование богов. Когда его спрашивали — где же живут его боги, если весь мир детерминирован? — он отвечал, что существуют пустые пространства, «расщелины мира» без атомов, и в этих расщелинах живут боги.

социалистическом обществе, а позади, в патриархальных условиях нашего крепостнического варварского прошлого, подкрашивая и идеализируя его.

Защитникам «пафоса дистанции» почему-то не приходят в голову другие примеры не менее гениальных мастеров. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Тургенев, Гете, Шиллер, Диккенс и др. в лучших своих творениях не только шествовали в ногу со своим веком, но и пытались приподнять завесу будущего. Евгений Онегин, Печорин, Чацкий, Базаров и др. герои — это прообразы, типы передовых людей того времени. Да и сами реакционеры-мракобесы никогда не придерживались «пафоса дистанции», когда для устрашения обывателя искажали революционную действительность, изображая ее в своих романах самыми мрачными, отталкивающими чертами: Достоевский в «Бесах», Лесков в романе «Некуда», Писемский в «Взбаламученном море» и другие.

В связи с этим нам невольно приходят на память слова одного из основоположников германского коммунизма Фр. Меринга, который в одной из своих литературных статей — «Социалистическая лирика», рассматривая тот же вопрос, заявляет словами одного старого немецкого поэта:

«Это ложь, если литературные болтуны заявляют, что злоба дня не может иметь никакой вечной поэтической ценности».

Характеризуя германского поэта Генриха Гейне, Фр. Меринг считает его большим достоинством то, что он умел предвидеть и предсказать события.

«В том смысле, пишет он, в каком еще древние называли поэтов провидцами, он (Гейне) был предсказателем грядущих событий. Уже через несколько лет после июльской революции, в 1833 и 1834 годах, он доказывал, что немецкие мастеровые и рабочие являются наследниками наших великих философов, поскольку идет речь не о «внешности революции», но об ее «самых глубоких вопросах». «Вопросы эти не касаются ни форм, ни личностей, ни провозглашения республики, ни ограничения монархии, — они касаются материального благосостояния народа. Прежняя спиритуалистическая религия была спасительна и необходима до тех пор, пока большая часть человечества жила в нужде и должна была утешаться верой в потустороннее. С тех пор, однако, как вследствие успехов промышленности и сельского хозяйства, стало возможно избавить людей от этой нужды и осчастливить их здесь на земле,— с тех пор вы меня понимаете. И люди уж сейчас нас поймут, ежели мы им скажем, что мы впоследствии будем каждый день есть мясо вместо картофеля, меньше работать и больше танцовать. Поверьте, пожалуйста,— люди не дураки!»

Ах, как это звучит по-современному! Вот у кого бы нужно учиться нашим попутчикам!

Впрочем, зачем так далеко итти за примерами. М. Горький именно тем знаменит и силен, что «злоба дня» у него претворена в художественные образы. Его творчество звало и двигало на борьбу не одно поколение революционных борцов.

А ныне, на двенадцатом году революции, при диктатуре пролетариата, о чем прежде мы едва мечтать лишь смели, находятся писатели, именующие себя советскими и даже передовыми, которые всерьез доказывают, что ныне для писателя наипервейшая задача — ждать и созерцать заднюю событий.

Естественно, что подобного рода писателям, даже без чьего-либо давления со стороны, угрожает неотвратимое охлаждение со стороны читателя. Нужно помнить, что читатель ныне уж не тот, что был прежде, который потреблял художественное произведение в качестве дессерта после сытного обеда. Нынешний массовый трудовой читатель пред'являет к художественному произведению не только формальные требования, но чтобы оно

и по содержанию к нему подходило: он хочет учиться и знать. Вот почему писателя не удовлетворяющего требованиям современности и издатели перестают печатать.

Само собой разумется, что мы не собираемся всех попутчиков зачислить в одну категорию. Многие из них вполне искренне и серьезно хотят работать по-новому и стать полезными строителями социалистического общества, но не знают, как это сделать.

Возможно ли перерождение для сложившегося и установившегося писателя?

Мы думаем, что не только возможно, но и необходимо. К коммунизму в современном капиталистическом обществе люди приходят двумя путями: рабочие — через горнило безмерной эксплоатации, гнета, насилия со стороны капиталистов; интеллигенты, люди умственного труда, правда редко, приходят к тому же иным путем — путем усиленной мыслительной работы над собой.

Путь писателя-попутчика к коммунизму лежит через усиленную мыслительную работу над собой и через сближение с рабочими массами.

Говорят, что писателю-интеллигенту со стороны невозможно отобразить быт, идеалы и жизнь трудящихся. Неверно,— Глеб Успенский не был крестьянином, но ни один писатель не заглянул так глубоко в жизнь, быт и даже самую психику крестьянина, как это сделал Глеб Успенский. Гауптман не был ткачем, но его гениальная драма «Ткачи» до сих пор осталась непревзойденной. Золя — типичный буржуа — почти полстолетья назад написал роман «Углекопы», который еще и до сих пор является украшением рабочих библиотек. Значит, писатель-интеллигент, выходец из враждебных нам классов, может изображать жизнь, быт, борьбу и идеалы трудящихся.

Но для этого писателю нужно стоять интеллектуально выше окружающей его обывательской среды, он должен знать не только политграмоту, но историю революций, философию и теоретические основы того класса, который ныне является творцом истории...

Словом, писатель должен подняться над обывательским болотом, а главное, проникнуться любовью и симпатиями к идеалам трудящихся, итти в рабочие массы, учиться у них, творить и работать для них. Именно на этом пути лежит выход из того тупика, в котором очутился наш попутчик.

В самом деле, неужели в нашей революции, в нашей героической борьбе, в нашем социалистическом строительстве так-таки уж и нет никакого просвета для писателя-попутчика? Нет ничего достойного, что могло бы вызвать у него восторг, восхищение или даже удивление? Неужели в нашей стране в течение двенадцати лет царит одна беспросветная тьма, варварство, тупость, жестокость, всеобщее одичание, бестолочь, головотяпство, всеобщий хозяйственный хаос?

Именно в таком свете представляется наша советская действительность, если о ней судить по художественным произведениям многих наших попутчиков и просто буржуазных писателей. Но в таком случае, чем же об'яснить наш несомненный хозяйственный и культурный рост, наши успехи в области реконструктивного строительства?

Да не только это, чем в таком случае вообще можно об'яснить существование советской власти в продолжение 12 лет. Неужели эти противоречивые и простые вопросы не возникают в головах советских писателей? Нужно быть или очень ограниченным, малокультурным, пассивным, апатичным обывателем, или же неисправимым внутренним эмигрантом, по недоразумению или недосмотру живущим в Советской России, чтобы не задумываться над окружающей действительностью или намеренно не замечать всего происходящего.

Одно время мы очень усиленно звали наших пролетарских писателей учиться у классиков. И это было вполне понятно — у классиков есть чему поучиться. Но учиться не значит механически переписывать или запоминать их методы. Это значит усвоить их огромную культуру, широту и возвышенность взглядов, умение проникать в существо вещей, отличать в историческом процессе важное от неважного. Разумеется, усвоение буржуазного наследства должно происходить критически, под углом зрелого диалектического материализма.

Здесь мы позволим себе привести пример того, как истинный художник-писатель умел подниматься выше своих узкоклассовых интересов и находить возвышенные черты у враждебного ему класса.

Во время революции 1848 года И. С. Тургенев был в Париже и был свидетелем знаменитого июньского восстания рабочих и расстрелов их генералом Кавеньяком. В этой неравной борьбе, как известно, буржуазия победила. Все «порядочное» буржуазное общество, разумеется, ненавидело и презирало еще так недавно дравшихся за интересы буржуазии, на баррикадах, рабочих.

Тургенев был связан тысячами невидимых нитей с этой самой буржуазией. И, несмотря на это, он описал следующий, ныне давно забытый, эпизод из героической борьбы парижских рабочих с буржуазией.

В том доме, где жил Тургенев, жил также известный немецкий поэт Гервег, к которому он часто заходил.

«Вот я сижу у него 26 июня, утром,— рассказывает Тургенев,— он только что позавтракал...

Вдруг входит гарсон с встревоженным лицом.

— Что такое?

— Вас, мсье Гервег, какая-то блуза спрашивает.

— Блуза, какая блуза?

— Человек в блузе, работник, старик, спрашивает гражданина (citoyen) Гервега. Прикажите его принять?

Гервег переглянулся со мной.

— Примите,— сказал он наконец.

Гарсон удалился, повторяя как бы про себя: «человек... в блузе!!» Он ужасался; а давно ли, вскоре после февральских дней, блуза считалась самым модным, приличным и безопасным костюмом. Давно ли я на одном даровом представлении в Comèdie française, предназначенном для народа, видел своими глазами множество самых изысканных щеголей так называемого бомонда, облегшихся в белые и синие блузы, из-под которых странно выглядывали их накрахмаленные воротнички и жабо. Но другие времена — другие нравы: в эпоху июньской битвы блуза в Париже сделалась знаком отверженния, печатью Каина, вызывала чувство ужаса и злобы.

Гарсон возвратился и с недоумевающим содроганием пропустил вперед себя человека, шедшего по его следам, действительно одетого в блузу: истрепанную, замаранную блузу. Панталоны этого человека башмаки его тоже были запачканы и в заплатах, шею обвертывала красная тряпка, а голову покрывала шапка, шапка черно-седых, спутанных, нависших на самые брови, волос. Из-под этой шапки выделялся длинный нос с горбиной, выглядывали маленькие, старчески-воспаленные и тусклые глаза. Впалые щеки, морщины по всему лицу, глубокие, как рубцы, широкий, скривленный рот, небритая борода, красные, грязные руки и та особая сутулина спинного хребта, в которой сказывается гнет продолжительной, сверхсильной работы... Не было сомнения: перед нами стоял один из многочисленных тружеников, голодных и темных, которыми так изобилуют низменные слои цивилизованных обществ...»

Далее Тургенев передает, что этот рабочий пришел предупредить Гервега, который ожидал к себе из Берлина сына с бонной, что его сын помещен к одной из женщин в районе Сен-Дени, т. к. этот район захвачен восставшими рабочими и выбраться оттуда не безопасно для жизни. Его послали предупредить об этом Гервега и передать адрес, где находится его сын. Гервег был изумлен, что совершенно незнакомый ему человек взялся исполнить с опасностью для жизни своей подобное поручение. Рабочий ему об'яснил что таково было приказание данное ему «своими». Он отказался от платы за эту услугу и согласился только позавтракать, ибо около двух дней он ничего не ел.

Перед уходом Гервег попытался узнать имя этого рабочего, но последний ему ответил:

— Мое имя вам совсем не нужно знать. Правду сказать, то, что я сделал, я сделал не для вас, а наши приказали. Прощайте!..

«Участь старика,— пишет далее Тургенев,— посетившего Гервега, осталась неизвестной. Нельзя было не подивиться его поступку, той бессознательной, почти величавой простоте, с которой он совершил его. Ему очевидно, и в голову не приходило, что он сделал нечто необыкновенное, собою пожертвовал. Но нельзя также не дивиться и тем людям, которые его послали, которые в самом пылу отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревоге незнакомого им «буржуа» и позаботились о том, чтобы его успокоить...»

Так писал либеральный помещик о ярковыраженном классовом восстании парижского пролетариата в июне 1848 года, в то время, когда вся французская буржуазия кипела ненавистью и возмущением против пролетариата, осмелившегося поднять руку на ее господство.

Разумеется, как и во всякой революции, во время июньского восстания французских рабочих с точки зрения Тургенева, вероятно, много было проявлено жестокости, не мало было бессмысленных, ненужных убийств и т. п. И все-таки помещик Тургенев в этом героическом восстании сумел найти и подметить необычайно благородные, возвышенные черты у побежденных героев этого восстания.

А как обстоит дело не у помещиков, не у капиталистов разумеется, а у наших друзей, попутчиков нашего времени? Не говоря уже о правых или буржуазных писателях, а даже у попутчиков вы найдете в лучшем случае пустую бессодержательную словесную трескотню о долге, верности, преданности революции, о «фукцировании кожаных курток», пошлое казарменное изображение будущего коммунистического строя, и в виде ограниченного, американской складки, дельца,— творца этого будущего строя. И лишь очень немногие из них, почти единицы, с неимоверными колебаниями, шатаниями пытаются итти в ногу с окружающей их действительностью.

Огромное большинство попутчиков занимается исследованием темных извилин человеческой души, описанием в ней непонятного, неисследованного и особенно того, что сохранилось у человека от животного. Немалое место в их творчестве занимает попрежнему половая любовь во всех ее видах. Многие уходят в изображение прошлого или переносят центр тяжести на формальные достижения. Достоевский, Леонид Андреев, Федор Соллогуб, символисты, мистики являются для них прообразами и учителями в искусстве, а философы-мракобесы Влад. Соловьев, Конст. Леонтьев и др. являются их духовными вождями. Философия Маркса и Энгельса и их учеников — Плеханова, Ленина и др. для них — книга за семью печатями. Невежество в современной политике ими возводится в добродетель.

Такова действительная картина умонастроений наших попутчиков и писателей просто буржуазных. Неудивительно поэтому, что за последние три,

четыре года с вовлечением в русло культурной революции и с обострением классовой борьбы попутническая литература все больше и больше начала вытесняться литературой пролетарской. Читающая масса рабочих, крестьян, служащих, учащихся, как правило, читает преимущественно пролетарских писателей или классиков. В рабочих и сельских библиотеках наши современные попутчики читаются весьма неохотно. В «дешевой библиотеке» Госиздата, Зифа, в «Роман-газете», выпускающих книги в стотысячных тиражах, за малыми исключениями, попутчики авторы почти не встречаются. И это вовсе не по злой воле издателей или под давлением сверху. Как правило, автор-попутчик труден, неудобочитаем по форме и чужд, далек от трудящихся по содержанию.

Если дело роста пролетарской и крестьянской литературы будет и в дальнейшем итти таким же темпом, а мы в этом не сомневаемся, то пожалуй писателю-попутчику угрожает весьма незавидная участь забвения.

Многие из попутчиков писателей, очевидно, предвидят эту незавидную перспективу, а потому пытаются перестроить свое творчество на другой лад: хотят петь иные более современные песни. Мы, разумеется, будем этому только радоваться и с своей стороны на этом новом пути творчества готовы оказать всяческое содействие и нашу товарищескую поддержку.

О творческих путях пролетарской литературы[1]

М. Храпченко

Переживаемый нами период в области литературной отмечается огромным вниманием к вопросам теории искусства. Теоретические проблемы начинают занимать одно из первых мест, между прочим, и в работе литературных организаций.

Это имеет свои существенные основания.

В период социалистической реконструкции нашего хозяйства, в период обострения классовой борьбы, которая не может не находить своего отражения и в литературе, со всей остротой выдвигается необходимость теоретического охвата литературного развития, постановка вопросов литературы на глубоко теоретической основе. Правильно ориентироваться в той сложной обстановке, которую мы сейчас имеем, правильно установить пути развития пролетарской литературы можно отнюдь не при узко-эмпирическом подходе к литературным явлениям. Решение всех тех проблем, которые ставит перед нами рост пролетарской литературы, возможно лишь в свете марксистской теории искусства.

Авторы сборника сосредоточивают свое внимание, прежде всего, на вопросах, касающихся отношения искусства к действительности, соотношения сознательного и бессознательного в творчестве и т. п. Постановка этих теоретических проблем в сборнике, находясь в определенной связи с рассмотрением вопросов творческого метода пролетарской литературы, является базой для об'яснения этих вопросов.

Все это заставляет с особой внимательностью отнестись к сборнику, делает необходимым его рассмотрение. Проблемы, поставленные сборником, нуждаются в широком и *теоретически углубленном* обсуждении.

В настоящей статье я намерен остановиться на наиболее основных вопросах из той совокупности проблем теории искусства, которые ставятся в «Творческих путях пролетарской литературы», намерен рассмотреть наиболее спорные положения, выдвинутые авторами сборника.

Одним из самых важных пунктов в сборнике, пунктом, вызывающим наибольшие сомнения, является *выдвигаемая Либединским теория «непосредственных впечатлений»*. Теория «непосред-

---

От Редакции. Закономерно, что Российская Ассоциация Пролетарских Писателей уделяет в последнее время теоретическим вопросам литературного развития исключительное внимание. Сделать эту ответственнейшую часть работы РАПП'а предметом широкого общественного интереса совершенно необходимо. Статья тов. Храпченко, первая из ряда намеченных редакций, открывает обсуждение вопроса и печатается в дискуссионном порядке.

ственных впечатлений» должна по замыслу ее создателя разрешить ряд проблем, которые весьма слабо разработаны в марксистском литературоведении и искусствоведении. «Как происходит процесс организации психики в интересах класса», «какие свойства, заключенные в произведении искусства, делают его оружием классовой борьбы» — вот что до сих пор оставалось невыясненным. Отвечая на этот вопрос, необходимо более углубленно, чем это делалось до сих пор, рассмотреть соотношение искусства и действительности. Искусство — познание жизни — такова марксистская формула — рассуждает Либединский. Но как это познание жизни через искусство происходит? Все эти проблемы Либединский и пытается решить, выставляя теорию «непосредственных впечатлений». Понятно, что эта теория не может не вызвать самого пристального к ней внимания. Ее фундаментальное значение очевидно. Основное положение Либединского сводится к тому, что внутренний мир человека заключает в себе «противоречие непосредственных впечатлений действительности — богатого знания о мире, но находящегося в несобранном хаотическом виде, и обывательских представлений, суждений житейского рассудка, пошлых, поверхностных суждений».

Обычные житейские представления о мире, представления, которые можно назвать обывательскими, касаются лишь поверхности явлений действительности; с помощью их человек схватывает лишь, так сказать, видимость вещей, а не их действительную сущность.

Эти представления соответствуют «действительной сути окружающего общества, примерно, в такой степени, в какой представления дикаря, наблюдающего восход и закат солнца, соответствуют сущности этого явления». Но, наряду с такого рода общежитейскими суждениями, в сознании человека имеются и другие элементы — «непосредственные впечатления».

«Непосредственные впечатления», свойственные всякому мыслящему человеку (Либединский не отказывает в них даже и тем, кто «специализируется на критике художественных произведений»), дают более глубокое и более верное знание действительности, чем обывательские представления, пошлые суждения.

Искусство отображает именно эти «непосредственные впечатления» и отталкивается от прошлых суждений и представлений. Читатель видит уже теперь, какие большие горизонты открывает теория Либединского.

Пытаясь уяснить себе весь ход доказательств Либединского, его толкование всех тех «категорий», которыми он пользуется, их конкретное содержание, приходишь к выводу, что это дело нелегкое.

Единственно, с чем можно сравнить впечатление, создающееся при анализе различных положений Либединского, так это с переживаниями чеховских героев, ловивших налима. Вот кажется «ухватил» суть того, что Либединский хочет сказать, но чуть-чуть дальше он уже дает иную, противоречащую предыдущей, формулировку.

О с н о в н а я «к а т е г о р и я», к о т о р о й о п е р и р у е т Л и б е д и н с к и й — э т о н е п о с р е д с т в е н н ы е в п е ч а т л е н и я. Казалось бы, читатель вправе требовать более или менее основательных и прямых раз'яснений по вопросу о том, что же такое эти непосредственные впечатления. Либединский пытается раз'яснить. Но в результате мы имеем ряд неопределенных противоречивых формулировок.

Искусство, говорит Либединский, «мобилизует... еще не осознанные отношения к действительности». «Человек знает о мире гораздо больше, чем он думает, что он знает. Искусство как раз и берет за строительный материал именно это знание». Когда читаешь эти места в статье Либединского, представляется совершенно очевидным, что здесь идет речь о сфере бессознательного.

«Непосредственные впечатления», в отображении которых и состоит, по Либединскому, сущность искусства, являются, следовательно, элементами психики, остающимися в подсознании.

Искусство, таким образом, как будто передает лишь бессознательное. Выводы не столь уж новые (фрейдисты по этому поводу не мало написали), но для нашего времени несколько рискованные. Они должны были бы следовать из тех положений, которые выставляет Либединский. Но одно дело должное, а другое — сущее. И у Либединского можно найти места, где он как будто не склонен «непосредственные впечатления» сводить к бессознательному.

Колебания (почти ритмические) пронизывают чуть ли не всю статью Либединского. Логика того построения, которое создает Либединский, заставляет его делать определенные выводы, он же «рассудку вопреки, наперекор стихиям» пытается остановиться на полпути.

Если мы отложим в сторону толкование «непосредственных впечатлений», как бессознательных элементов психики, по существу затруднительно до чрезвычайности сказать, что это за штука.

Однако, рано было бы отчаиваться. Мы еще имеем возможность послушать Либединского по вопросу о том, что такое «непосредственные впечатления» и не следует терять этого случая. «Непосредственность (речь идет о непосредственных впечатлениях.—*М. Х.)*—терпеливо раз'ясняет Либединский—есть только определение особого качества психических проявлений, качества непротивопоставленного в абсолютной форме всем остальным» и «ограниченным областям человеческой психики, а повинующегося общей зависимости от общественного бытия и сочлененного с этими областями».

Читатель может сказать, что эти цитаты вряд ли что-либо раз'ясняют. Я меньше всего склонен против этого возражать. Формула, данная Либединским, представляется мне во всех отношениях замечательной.

Это о с о б о е к а ч е с т в о, наряду с остальными о б л а с т я м и (очевидно в психике человека есть ряд каких-то отдельных качеств психики), качество — непротивопоставленное (как это качество может противопоставлять и не противопоставлять?) — представляет явление совершенно загадочное.

Известно только то, что «непосредственные впечатления», являясь особым качеством, «в большей степени передают об'ективное положение человека по отношению к действительности», чем пошлые суждения.

Внимательно присматриваясь к формуле «об'ективное положение человека» по отношению к действительности, нужно притти к выводу, что формула эта представляет обозначение в форме псевдонима определенного положения класса в производственном процессе. Занимая то или иное место в процессе производства, данный класс этим самым становится в определенное отношение к действительности.

Именно этим положением в производстве, классовым бытием, и определяется восприятие представителями данного класса всего окружающего.

Таким образом непосредственные впечатления, если логически развертывать концепцию Либединского, лучше отражают бытие класса («об'ективное положение по отношению к действительности»); «обывательские представления» в этом смысле являются менее доброкачественным материалом.

Утверждать, что различные элементы сознания не в одинаковой мере отражают бытие класса можно лишь в том случае, если общественное бытие и сознание мы будем представлять отдельными самостоятельными сущностями, которые приходят лишь в определенное взаимодействие. «В л и я н и е» бытия захватывает сначала сферу «непосредственных впечатлений», а затем

ереходит и дальше. Если же исходить из того, что сознание возрастает на очве бытия, если признать то положение, что сознание детерминировано бытием — нет места для выводов, которые делаются или должны быть сделаны з положений т. Либединского.

Неужели т. Либединский полагает, что, положим, «непосредственные печатления» мелкого буржуа от наших хозяйственных затруднений могут ыть чем-то качественно иным по сравнению с его обычными предрассудками? Развез можно сказать, что в этих своих «впечатлениях» мелкий буржуа выступает в каком-то ином виде, что он как-то по-иному постигает ления действительности, лучше чем обычно? Мелкий буржуа остается таовым и тогда, когда высказывает «суждения» и тогда, когда он, так сказать, ечатлеется. Действительность для него и в том и в другом случае остается понятной.

Нужно указать на определенное, и с нашей точки зрения, серьезное отиворечие в построениях Либединского. Он пишет о том, что искусство крывает истинную природу вещей, что, так сказать, не ограничивается израчной видимостью действительности, и в этом отношении решающую ль играет классовое миросозерцание художника. Именно классовое мирозерцание определяет то, на сколько может художник постигнуть об'екивный ход действительности. Это совершенно правильная постановка вооса. Но отсюда, как будто, следует, что «непосредственные впечатления» нюдь не такая данность, на которую можно опираться тогда, когда мы стигаем явления действительности, что «непосредственные впечатления» же ненадежный источник знаний о мире.

Подчеркивая роль классового миросозерцания, Либединский должен ять под сомнение «непосредственные впечатления», если уже вообще ввоть в употребление эту несколько загадочную категорию, если иметь ввиду отиворечие двух моментов сознания. Положение о том, что скусство отображает «непосредственные впечатлея» должно быть в таком случае пересмотрено.

Мысли Либединского о взаимоотношении классового миросозерцая и непосредственных впечатлений вообще представляют значительный инрес. Он рисует картину, когда психика представителей уходящего класса реисполняется колоссальным количеством житейских суждений, страшно шлых и, по существу говоря, не соответствующих действительности. Художник такого общества подчас не в силах вскрыть несредственные впечатления действительности, так к миросозерцание его противоречит об'ективному звитию действительности».

Что сей сон значит? Что это за «непосредственные впечатления», котое нужно как-то вскрывать, где-то отыскивать? Это что-то не очень похона непосредственные впечатления. Лишь в некоторых слуях («подчас») художник не в состоянии «вскрыть». Вообще же говоря, эти посредственные впечатления он каким-то образом все-таки «вскрывает». гогда оказывается такое положение, о котором пишет Либединский в слещих, весьма знаменательных словах: «Бывает так, что непосредственные чатления действительности не соответствуют классовому мировоззрению». ласно теории Либединского, нужно предположить, что в человеческом сонии есть какой-то особый приемник, свободный от всего классового. енно в этот приемник, минуя другие «классовые» приемники, поступают посредственные впечатления» действительности. Ибо как в противном слуоб'яснить эти несколько странные отношения непосредственных впечаний и классового мировоззрения? До сих пор марксисты полагали, что

выразить радости, встречаясь с рядом его ошибок. Цель этих кратких заметок заключается в одном: наряду с другими товарищами, критиковавшими Либединского, указать на то, что Либединский должен пересмотреть свои положения, должен от них отказаться.

Нам пришлось уделить относительно значительное место для рассмотрения теории «непосредственных впечатлений». Это было продиктовано тем обстоятельством, что теория «непосредственных впечатлений» затрагивает ряд основных проблем теории искусства. Ошибки, сделанные здесь, не могут не сказаться на многих других проблемах, на ряде вопросов, связанных с творческими путями пролетарской литературы.

Распростившись с теорией «непосредственных впечатлений», обратимся к другим проблемам. Существенный интерес имеет проблема специфики искусства, затрагиваемая в сборнике. Несомненно, что выяснение вопроса о специфичности литературы и искусства вообще имеет немалое значение для правильной постановки проблем творческого метода пролетарской литературы.

Для того, чтобы говорить о творческом методе пролетарской литературы вообще, в чем своеобразие тех «методов», которыми пользуется литература. После наши построения будут лишены опорного пункта, основы.

Рассмотрение проблемы специфики после того, как мы проанализировали положения, выставленные в сборнике относительно отношения искусства и действительности, представляется логически неизбежным.

Мы имели возможность довольно долго вести беседу с т. Либединским и, нужно думать, порядочно наскучили друг другу. Однако, обстоятельства дела заставляют нас еще некоторое время не разлучаться с ним. Да не посетует на нас т. Либединский!

Обстоятельства дела таковы: Либединский, указав на то, что вопрос о специфике не разработан в платформе Рапп'а, пытается поставить его в своей статье-докладе.

Читатель вряд ли откажется от удовольствия узнать, что́ Либединский говорит по этому поводу. Либединский находит, что «специфический материал, в котором находит свое отражение тот вид искусства, в котором мы работаем» — это слово. Как можно понять из контекста, это определение должно было установить специфику литературы. Если что и дает это определение, так только то, что отграничивает литературу от других искусств. Вообще говоря, большой наблюдательности для того, чтобы заметить, что писатель оперирует словом, живописец — имеет дело с красками, музыкант — со звуками — не требуется. Это наблюдение было сделано, между прочим, задолго до Белинского, формулировки которого открывает и Либединский и на которого он опирается, как на некий первоисточник.

Сводить всю «специфику» литературы к слову — просто наивно. Наука также, как нам известно, оперирует словом. Словом оперирует и публицистика. Ставить, однако, знак равенства между всеми этими явлениями вряд ли согласится и т. Либединский. Он, однако, может сказать, что речь идет о поэтическом слове. Но это была бы пустая оговорка, ибо поэтическое слово представляет величину искомую. О поэтическом слове ничего нельзя сказать, не выяснив сущность поэзии. Задача заключается в том, чтобы установить, в чем особенность, своеобразие литературы как искусства, в отличие от других явлений общественной жизни, явлений в известном смысле смежных — науки, публицистики и т. д. Она-то и не решена тов. Либединским и даже просто не поставлена. Либединский, собираясь говорить о специфике, попросту об этом забыл.

Важно отметить, что своему определению «специфики» литературы Ли- динский склонен придавать большое значение и в смысле уяснения не лько сущности искусства, но и законов его развития. «Благодаря обще- венно организующим свойствам слова, литература в обществе, разделен- м на классы... получает такое движение вперед, такую степень развития, о опережает все прочие виды искусства». В немногих словах Либединский лает сразу несколько поразительных открытий. Оказывается прежде всего, о в классовом обществе литература идет впереди всех остальных видов кусства. Это, очевидно, нужно понимать таким образом, что литература иеет больший удельный вес, чем другие виды искусства.

Общеизвестные факты, если Либединский о них вспомнил, заставили бы о отказаться от этого. Общество античной Греции было классовым обще- вом. Однако, как известно, литература среди других искусств не имела рвенствующего значения, она отнюдь не стояла впереди всех искусств. ожно было бы привести и ряд других примеров. Нужно подчеркнуть то стоятельство, что Либединский отыскивает в самой литературе какие-то утренние силы, которые дают ей ряд преимуществ, льгот по сравнению другими искусствами в отношении роли ее в общественной жизни. Слово ляется одним из важнейших факторов развития литературы. Литература, мимо того, что ее «движет» общественное бытие, и сама еще собственными илиями продвигается вперед.

Наряду с литературой должны двигаться, по законам, открытым Либе- нским, и философия и наука надстроек. Но, может быть, слово здесь пере- ает играть организующую роль, может быть, перестает выполнять обще- венную роль? Как будто это не так, как будто и в науке слово выполняет ганизующую роль. Поэтому равномерное развитие науки, философии и тературы обязательно,— стоит ли доказывать, что дело обстоит не так осто?

Формула Либединского обнаруживает несомненное родство с положе- ем о внутреннем развитии литературы, выдвинутым П. И. Сакулиным, ложением, покоящимся на дуалистической основе.

Мы несколько отклонились в сторону от вопросов о специфике литера- ры, устанавливая те выводы, которые следуют из понимания специфики Либединским.

Эти выводы, как видел читатель, нуждаются в том, чтобы о них гово- ть подробнее.

К вопросу о специфике искусства подходит и т. Авербах в своей статье отив Горбова.

По существу многие спорные моменты доклада Горбова сосредоточива- ся вокруг вопроса о специфике. Т. Авербах должен был бы поставить всей широте все эти вопросы. Когда идет речь об «особом эстетическом ое», «публицистике в образах», невозможно сколько-нибудь серьезно и одотворно спорить, не выяснив вопросы, связанные с проблемой специфики тературы. Но, что мы имеем у Авербаха? Он пишет о том, что искус- о — это «специфическая идеология», «специфическая форма по- ния действительности», «вид познания общественной жизни, обладающий цифическими методами, отличающимися от тех методов, которыми рабо- т наука».

Но в чем эти методы, в чем специфичность искусства — эти вопросы аются без ответов.

Первая часть формулы Авербаха: искусство — «специфическая ома познания действительности», остается нераскрытой. Вторая часть мерно подчеркивается как в статье Авербаха, так и в ряде других статей.

Нужно сказать, что этот момент представляется в значительной мере новым явлением. До сих пор ни Авербах, ни другие не были склонны особенно упирать на то, что искусство, так же, как и наука, познает действительность, но только специфическими методами. В спорах с Воронским вопрос об искусстве как познании жизни стоял на одном из первых мест. В какой мере можно говорить об об'ективных истинах в искусстве — один из центральных пунктов разногласия. И тогда указывалось, что «как раз в преувеличении об'ективности искусства заключается крупнейшая теоретическая ошибка тов. Воронского» [1].

Сейчас приходится констатировать определенный отход, по крайней мере некоторых напостовцев, от прежних позиций, отход в сторону Воронского.

Грани между наукой и искусством в теперешних высказываниях некоторых напостовцев становятся мало ощутимыми. На первый план выступает тот самый об'ективный момент, из-за которого поломано столько копий, выступает об'ективная истина.

Само по себе понимание искусства как познания действительности вызывало и не может не вызывать серьезные возражения.

Раз искусство познание действительности — по произведениям искусства можно и должно изучать действительность.

Некоторые остроумные теоретики (я имею ввиду, в частности, Лежнева, см. его статью «Критика критиков», «Новый Мир», № 4 за 1929 г.) считают возможным даже физиологию пола изучать по поэтическим произведениям и рекомендуют в качестве пособия по этому вопросу Толстого и Мопассана. Бедный Толстой! Он, очевидно, и не подозревал, какое употребление сделают из его произведений. Функцию денег, оказывается, можно исследовать по Шекспиру.

Трудно притти к более нелепым выводам, но они являются в известной мере логическим следствием из понимания искусства, как познания действительности. В свое время Овсянико-Куликовский пытался рассмотреть историю русской интеллигенции по произведениям классической литературы. Получилось нечто совершенно неудобоваримое. Знание истории науки о литературе должно было бы кое-чему научить некоторых теоретиков.

Пора уже пересмотреть тот взгляд, что художник, о чем бы он ни писал, дает просто обобщения действительности. Пишет о крестьянах — дает обобщения действительности крестьянских черт, изображает буржуазию — дает типические временные бытовые и психологические особенности буржуа и т. п. Признание социальной функцией искусства — познание действительности неизбежно приводит к разделению искусства — на истинное и ложное. Искусство «реалистическое», когда художник рисует прозой «как мы есть», искусство истинное; искусство же романтическое — ложное искусство. Если взять, положим, произведения таких писателей, как По, Метерлинк, то вряд ли сторонники теории искусства как познания действительности, со своим пониманием отношений искусства и действительности, осмелятся сказать, что мы имеем дело с познанием действительности, с обобщением этой действительности.

Те, кто говорят об искусстве как познании действительности, не различают действительность и классовое бытие.

Искусство отражает классовое бытие, является его порождением. Но отсюда еще не следует, что те образы, которые создает художник, представляют верное отображение, обобщение действительности вообще; отсюда

---

[1] Л. Авербах. За пролетарскую литературу, 1925. „Прибой", Ленинград., стр. 52

еще не следует, что по образам, в которых художник стремился отобразить жизнь других классов, можно изучать эту жизнь.

Если что и можно изучать по художественным произведениям, так это классовое бытие (речь идет об искусстве классового общества).

Но классовое бытие в такой же мере можно изучать и по другим идеологиям. Ибо и другие идеологии (политическая идеология, религия и пр.) так же, как и искусство, отражают классовое бытие. Можно говорить об искусстве, как познании классового бытия, но в этом случае устанавливается тот факт, что искусство вырастает на почве определенного классового бытия. Весь вопрос сводится к тому, чтобы установить особенность искусства, отличие его от других идеологий. И здесь мы должны притти к выводу, что искусство — это отражение социального бытия в форме образов.

Тезис, который выдвигает Плеханов — искусство есть своего рода игра,— должен быть положен в основу нашего понимания специфики литературы, ее социальной роли. Это положение имеет громадное теоретическое значение. Оно решает вопрос как о происхождении искусства и его содержании, так и о специальной функции искусства. Признание образа тем, что отличает искусство от других, идеология является логическим следствием из этого положения.

В образе выражается та особенность искусства, что оно является своего рода игрой.

Социальная функция искусства состоит в организации эмоций людей, а через них и всей психики людей, всего их поведения. Именно в этом направлении должна решаться проблема специфики.

В нашу задачу не входит развивать всю систему положений о специфике литературы. Мне представлялось необходимым указать на совершенную недостаточность той постановки вопроса о специфике, которая дана в сборнике, указать в то же время на основное в этом вопросе.

Теория искусства, как познания жизни, послужила основанием для некоторых теоретических выводов о характере пролетарского стиля. Ермилов, выясняя творческое лицо пролетарской литературы, устанавливает определенные положения о том, что представляет собой стиль пролетариата в сравнении его со стилями классов прошлого. Эти положения настолько любопытны, что на них следует остановиться особо.

Ермилов указывает, что основной стилевой тенденцией пролетарской литературы является реализм. Развивая затем этот тезис, Ермилов пишет: «В истории мировой литературы мы еще не имеем п о л н о г о (разрядка автора), осуществленного реализма в применении к писателям дворянства и буржуазии, термин реализм надо понимать условно, а в сущности гораздо правильнее было бы говорить о реалистической тенденции».

Сильно, очень сильно сказано. Всякие «реализмы», которые были одна фикция, не настоящие, не всамделишные реализмы. Все это, в лучшем случае, некоторого рода репетиция к какому-то грандиозному спектаклю, название которого — полный реализм. В этих репетициях обнаруживается недоработанность отдельных частей постановки. «Реализм дворянских и буржуазных писателей никогда не был п о д л и н н ы м р е а л и з м о м (разрядка автора), оставляя место и д л я н а т у р а л и з м а, романтизма, с и м в о л и з м а и пр. (разрядка моя,— *М. Х.*). И здесь пролетарским идеологам, в данном случае художникам, п р и д е т с я д е л о д о в о д и т ь д о к о н ц а» (разрядка автора). Теперь все становится более или менее ясно. Полный, подлинный реализм осуществляется в пролетарской литературе. Она доканчивает то, что робко начато дворянством и буржуазией. «Отдельные художники буржуазии н а ч а л и (разрядка автора) срывание масок (с действительности.— *М. Х.*), и докончат это дело пролетарская наука и пролетарское

художество». Если вникнуть в смысл всех этих построений, в них нетрудно увидеть большую путанность и механичность; в самом деле, разве может диалектик разделять реализм на подлинный и неподлинный, на истинный и ложный, разве он может говорить о полном реализме?

Откуда эти категории? В какой философской системе они находят свое оправдание?

Для диалектика истинное и ложное не представляют две непримиримые противоположности. Истина и заблуждение представляют собой единство.

Только метафизик может думать, что наступит когда-нибудь царство абсолютной, полной истины. С точки зрения Ермилова, искусство, так же как и наука, постигает действительность, истина покрывает не только науку, но и искусство. И полный, подлинный реализм означает не что иное, как утверждение того, что через искусство может быть достигнута абсолютная истина. Говоря о полном реализме, Ермилов провозглашает этим самым возможность окончательного познания действительности.

«Маски, наклеенные на действительность», срываются тогда полностью. Совершенно очевидно, что момент наступления «полного», «подлинного» реализма, когда познание действительности доведено до конца, означает прекращение всякого развития. Только такой смысл (и никакой другой), и могут иметь построения, касающиеся «полного и подлинного реализма». Для диалектика не представляет никаких сомнений то положение, что ни пролетарская наука, ни тем более пролетарское искусство не могут докончить срывание масок с действительности. Говорить о доведении до конца этого срывания, раскрытия действительности совершенно нелепо. Всякому диалектику-материалисту известно, является для него азбучной истиной, что мы никогда не можем достигнуть полного, абсолютного познания мира. Отсюда становится понятным, что все эти тезисы о полном, подлинном реализме являются сплошной путаницей.

Построения Ермилова о развитии литературы, о взаимоотношении стилей прошлого со стилем пролетарской литературы, увенчиваются следующими размышлениями: «Пролетарский реализм вовсе не означает абсолютного отрицания противоположных стилевых тенденций — натурализма и романтизма... Пролетарский реализм диалектически снимает предшествующие стили — таким образом, включая их в себя, как преодоленные этапы, как «моменты». Именно поэтому реалистический стиль является высшим стилем, высшим обобщением — именно поэтому соответствует их психологии авангарда рабочего класса».

В этой цитате прежде всего мы наталкиваемся на резкое противоречие с тем, что писал Ермилов ранее. Ведь реализм буржуазных и дворянских писателей не был, согласно Ермилову, подлинным реализмом именно потому, что оставлено место для натурализма, романтизма и т. д. Но вдруг оказывается, что пролетарские художники, на плечи которых Ермилов возложил трудное дело доведения реализма до конца, не должны гнушаться романтизма, натурализма.

Крупнейший порок допролетарского искусства оказывается добродетелью искусства пролетариата. Пролетарские художники должны быть не только реалистами, но и романтиками, не только романтиками, но и натуралистами. Все это они обязаны вмещать в себя. Спрашивается: так как же они будут «срывать маски с действительности!?» Будем надеяться, что т. Ермилов когда-нибудь раз'яснит нам это. Нас интересует сейчас больше сама формула о том, что стиль пролетариата — пролетарский реализм — является синтезом

(обобщением) предыдущих стилей, что он включает в себя эти предшествующие стили как «моменты».

Чтобы смысл формулы, даваемой Ермиловым, стал понятен, вспомним, что стиль — это класс. В художественных произведениях, образующих единый стиль, определенный класс выражает свое мироощущение, свою психоидеологию. Если это так, то очевидно, что для того, чтобы стиль пролетариата был синтезом предыдущих стилей, необходимо, чтобы и психоидеология пролетариата включала в себя в качестве «моментов», «в качестве преодоленных этапов» психоидеологию классов прошлого. Психоидеология пролетариата должна быть синтезом психоидеологии буржуазии, помещиков, феодального дворянства, греческих рабовладельцев и т. д. и т. п.

Поставив вопрос таким образом (иначе ставить его и невозможно), мы видим, что формула т. Ермилова расползается по всем швам.

Психология пролетариата не может не быть резко отличной от психоидеологии предшествующих классов — буржуазии, дворянства и т. д. Отправляясь от формулы Ермилова, нужно было бы искать прежде всего преемственную связь психологии пролетариата и этих «предшествующих» классов, нужно было бы усмотреть в психологии пролетариата — класса-могильщика — обобщение психологии тех классов, которым он идет на смену. Нелепость разбираемой постановки очевидна. Было бы очень любопытно посмотреть на такие литературные явления, которые включили в себя, как моменты и, примерно говоря, такие стили, как стиль Гомера, Шекспира, Достоевского, Толстого (беру этих гениальных художников, как лучших выразителей определенных классовых стилей). Ермилов, давая определение пролетарского стиля, как синтеза предшествующих стилей, имел в виду положение, гласящее, что диалектический материализм «примиряет и об'единяет в высшем философском синтезе все течение философской мысли и представляет собой результат развития всей новой философии»[1]. Это совершенно правильное положение Ермилов пытается механически отнести к литературе.

Когда Деборин говорит о том, что диалектический материализм примиряет и об'единяет все течения философской мысли, он имеет в виду прежде всего то, что диалектический материализм снимает все **логические противоречия**, которые раз'едали философские школы, предшествовавшие диалектическому материализму. Диалектический материализм лишен внутреннего противоречия. Деборин меньше всего склонен думать, что диалектический материализм заключает в себе все философские школы, как таковые. Он говорит об отдельных моментах старых школ, которых не отрицает диалектический материализм, моментах, играющих подчиненную роль. Но все эти моменты имеют место «в высшем философском синтезе». По отношению к литературе можно было бы говорить об отдельных приемах, взятых из старых стилей, которые входят в состав стиля пролетариата. И это было бы верно. Но эти отдельные приемы входят в целое — в художественное произведение, и здесь играют свою особую роль, не похожую на ту роль, которую они выполняли в старых стилях.

Мы остановились на основных теоретических ошибках сборника «Творческие пути пролетарской литературы», не коснувшись того положительного, что в нем имеется (в особенности в докладе А. Фадеева).

---

[1] Деборин — Введение в философию диалектического материализма. Гиз, 1925 г. стр. 229.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Мастер очерка. Собр. соч. А. И. Свирского, тт. I—IX, изд. «Зиф».

Свирский — представитель и наследник старого обличительного жанра литературы, столь пышно распустившегося в эпоху «Губернских очерков».

Но видеть в Свирском только реалиста, социального бытописателя, было бы односторонне. В неменьшей мере характерна его романтика. Его не удовлетворяет внешний облик жизни, реализм обыденности. Он ищет его в исключительном выражении.

Свирский, если не всегда, то весьма часто старается рассказать что-нибудь особенное, редкое, исключительное.

Романтизм Свирского дан в самой жизни. Автор *выбирает* из нее необычайные сюжеты. Он их ищет всюду: в больнице для душевно-больных (Герострат), в шахте под землей («Катастрофа в шахте»), в лице какого-нибудь «Силача». Вольно или невольно, автор часть жизни провел в их поисках, подобно одному из своих героев, Полфунту, такому же неугомонному искателю неведомого. Эта романтика нужна была Свирскому, чтобы осязательнее показать самый реализм жизни. В этих исключительных фактах крик жизни мог быть слышнее.

Сказанное ставит вопрос о социальной природе творчества Свирского. Чем об'яснить эту нечеткость литературной физиономии Свирского? Ведь в ней даже не двойственность, а скорее литературный перелом, тезис, порождающий антитезис. Все это происходит потому, что автор носит в себе *отпечаток переходной эпохи*.

Свирский вышел на писательскую работу в момент общественного перелома — от мещанской реакции к революционному протесту. Первые его книги «Ростовские трущобы» и «По тюрьмам и вертепам» — вышли в 1893—1896 годах. В марксистском журнале «Жизнь» в 1899 г. — первый о нем критический очерк. Кругом еще царит обывательская тина хмурых чеховских людей. Сам Свирский отдал достаточную дань этому миру. Но уже обрисовываются иные факты, формируются иные чувства. Одни еврейские погромы и черта оседлости возбуждают остро политическое сознание. Свирский посвящает еврейскому вопросу целый сборник рассказов «Вечные странники». Страна полна смутных, инстинктивных брожений. Достоинство литературы в том, что она, как светочувствительная пластинка, улавливает самые тонкие движения жизни. Странные и непонятные в быстротекущем потоке, в своеобразном, подчас искривленном выражении, они получают смысл в исторической перспективе. В этом изломе жизни становится понятным интерес Свирского к миру отверженных. Как всегда, в подобных случаях ярче обрисовывается изнанка жизни. Это был инстинктивный протест против зла в духе старого юродства. Как писатель переходного времени Свирский не возвышается в этом протесте до широкого общественного сознания. Он не создал богатых образов растущего и всепоглощающего капитализма, как Куприн в «Молохе», хотя краем подошел к этой теме («Миллионеры»). Он не стал также бытописателем пролетариата. Некоторые считают Свирского первым писателем из рабочих. Действительно, у него есть ряд рассказов о рабочих, но собственно рабочему движению, проблеме труда и капитала, у Свирского посвящен один полупрозаический очерк «Записки рабочего». Хотя это сочинение несколько раз запрещалось царской цензурой, но не оно определило писателя. Рабочий вопрос затронут им мимоходом.

Свирский в полном смысле—писатель переходного времени. Над ним еще тяготеют литературные традиции прошлого. Он больше их ученик, чем продолжатель. Можно отметить глубокое влияние на него Достоевского. Еще подростком, сидя в тюрьме, он прочел «Записки из мертвого дома». Свирский стал их подражателем. Показателен рассказ «Зверь». Смысл его в том, что представленный здесь каторжник, внушающий страх, отвращение автору, которому пришлось быть с ним в одной камере, подлинный зверь, палач Кандыба, оказался человеком нежной души в обращении с ребенком, попавшим в камеру.

В таком же роде рассказ «Кровь», изображающий сцену пробуждения нравственного сознания в каторжнике при виде убийства другого. Так Свирский повторял Достоевского. В это время уже шли новые широкие волны протестующего революционного романтизма, в лице М. Горького. С Горьким Свирский имеет много общего и в содержании, и в форме. Но однако какая разница! Горький ярче, выразительнее; романтический порыв его сильнее; в образах больше литературности и искусства. В Горьком литература делает шаг вперед, в то время как Свирский стоит на переломе, знаменуя переходную стадию. Впрочем, здесь сказалось и особое свойство его таланта.

Жанр Свирского — о ч е р к. Мы не имеем точного разностороннего исследования этого вида творчества, но оно имеет у нас многих видных представителей, от Щедрина, Гл. Успенского до Подьячева, Свирского. И. Н. Кубиков в заключение своей статьи о Свирском делает такой вывод:

«При учете качества литературной продукции каждой эпохи необходимо иметь ввиду, что у самых больших писателей есть произведения незначительные и неудачные, которые совсем не перейдут в так называемый вечный капитал литературы (выражение Белинского). Но, с другой стороны, у многих беллетристов, остающихся в тени, есть произведения, заслуживающие внимания не только читателя, но и литературной критики. Эту истину и надо иметь ввиду, когда мы подходим к таким писателям, как Алексей Иванович Свирский».

Мне думается, не с этой точки зрения нужно подходить к оценке Свирского, не к о с т а ю щ и м с я в т е н и б е л л е т р и с т а м, нужно его относить. Его следует рассматривать как представителя особого рода литературного изложения. Манера письма Свирского — о ч е р к. Очерк — особый жанр. У него есть свои признаки. Главным из признаков жанра очерка является п р е о б л а д а н и е в х у д о ж е с т в е н н о й с и с т е м е к о н к р е т н о г о ф а к т а.

Автор очерка тяготеет к факту. Он с ним и им связан. Конкретность — не только его опора, но и поэтическая цель. Так, Свирский идет всегда и повествует о каких-либо «случаях». То это картинка-описание быта шахт («Под землей»), то быт пограничников (т. IV), катастрофа в шахте («Во тьме»), буря в пустыне (т. IV), то это какие-нибудь встречи. Все это не поэтические рассказы, а как бы сообщения из трудолюбивых наблюдений, из записной книжки. Это делает рассказы Свирского несколько фотографичными, единичными явлениями. Он только эти эпизоды и намерен сообщить. Рисунок вследствие того лишен типологичности и обобщения. Словом, очерк связан материалом. От него шаг к иллюстративной этнографии, к научному описанию. Вторая особенность очерка — г о с п о д с т в о т е м а т и ч е с к о г о м о м е н т а н а д с ю ж е т н ы м. Связанный конкретным содержанием автор естественно увлечен по преимуществу тематическими задачами. Он преследует общественные цели. На первом плане у него идеология, а не форма выражения, не «звуки сладкие». Характерно у Свирского это выступает в отношениях заглавия к сюжету произведения. Последний — лишь иллюстрация к идее, данной в заглавии.

Это придает рассказам Свирского публицистический характер. Скрытые агитационные мотивы проглядывают то больше, то меньше. Особенно это очевидно в сборниках, посвященных ев-

рейской жизни или жизни рабочих. «Записки рабочего» — это история развития классового сознания рабочего в виде последовательного изложения фактов. Сюжет Свирского зависит от самого факта или, точнее, дан в самом факте. Быть может, он потому и имеет романтический уклон, что благодаря ему факты в большей мере оказываются сюжетными. Поэтому и само развитие, и развязка рассказа у Свирского нередко бывают неожиданными — ведь все зависит от случая! Герой рассказа «Из мрака к свету» неожиданно для самого себя убивает возлюбленную. Книжки, присланные в тюрьму губернаторшей, вызывают бунт («Бунт»). Или просто искусственно строится сюжет для иллюстрации темы, что в картине талантливого глухонемого художника «нет звуков» («Степан»). Или такой же тенденциозно-романтический рассказ «Новые люди». После пятилетнего отсутствия с войны возвращается муж, а жена тем временем вышла за другого. Она любит обоих. Как же она поступает? Она покидает обоих. Как? Почему? Что дальше?— Все это остается нераскрытым. Явно — тематическая задача повела к ущербу сюжетное построение.

Третья характерная черта литературной манеры Свирского: у него внешность положения героев заслоняет психологизм драмы. Это стоит в связи со всем предыдущим. Автор, как мы видели, во власти внешних впечатлений. И тематические задачи, преследуемые им, и фотографичность материала, с которым он имеет дело, заставляют его держаться ближе внешнего выражения факта. В каждом рассказе у Свирского идет быстрая смена событий. Он как бы скользит по фактам, не вскрывая лежащих в основе их внутренних движений и страстей. Психология героев дана во внешних положениях, а не раскрыта во всех тонкостях психических переживаний, как это мы встречаем в классической литературе. Мы ее предпологаем, как в какой-нибудь судебной драме, но не видим. Поэтому многие моменты у Свирского кажутся немотивированными, неожиданными.

И как писатель переходной эпохи, и как представитель литературы очерка Свирский отличается «прозаическим» складом стиля. Его творчество не вошло в русло яркого нового течения. Он, как было сказано, ученик старых образцов, и его стиль — литературное наследство, добрые проценты старой литературной школы. Литература классического периода дала в Свирском замечательный образец литературности языка: ясного, простого, педантически правильного и чистого, с какою-то изысканной легкостью и, так сказать, особой «литературностью». Словно процедили через тонкое сито старую литературу и, отбросив все индивидуальное, оставили эту легкую литературную манеру, простой язык и ясный ритм.

«Молчит завод. Затихла каменная громада тяжелых корпусов. Не слышно повседневного лязга железа, стального перезвона сотен молотков и вопля живого пара. Просторный двор, огороженный кирпично-красным забором, лежит на весеннем солнце и тихо зарастает бледно-зеленой порослью» («Стальное сердце»).

«Ранней весной, когда с белых вершин самаркандских гор скатывались водопады, когда в Чиназской степи золотые зори будили черепах и когда верблюды, упоенные любовью, потеряли покорность,— из далекой Индии прибыла холера.

Злая и быстрая, она мчалась по Средней Азии, источала яд и гасила жизнь» («Лагерь смерти»).

«В тюрьме большое событие. Ссыльно-каторжные из первого корпуса в обеденное время напали на палача, ранили его самодельным ножом в бок и избили до полусмерти.

Произошла свалка. Надзиратели, защищая палача, стреляли, одного арестанта убили наповал, а двух тяжело ранили...» («Зверь»).

Три отрывка трех разных произведений; они типичны для большинства сочинений Свирского. Стоит немного вчитаться в них, чтобы видеть всю нарочитую, избыточную литературность его стиля.

Но вот что странно. По всем девяти томам всюду встречаем эту однообразную, однотонную, с ходячими типичными оборотами манеру речи. Всюду этот чистый, без зазубринки язык, с педантической правильностью грамматики, с умеренной образностью. Автор имел тысячи встреч, прошел окающие, акающие, цокающие, зекающие и всякие другие говоры, слышал всевозможные оттенки языка. Но никаких следов живой человеческой речи мы не найдем в его сочинениях. Взрослые и дети, мужчины и женщины, арестанты и «приличные» люди, интеллигенты и простые — все говорят одинаково с незначительными оттенками. В языке Свирского мало красок, и обрисовка дается положением героя, а не изобразительными средствами слова. Все это книжная, немножко отвлеченная, очищенная, даже выхолощенная речь. Вот эта-то литературная бесцветность, бескрасочность, безукоризненная грамматическая правильность и составляют прозаизм речи Свирского.

И это свойство самого жанра — литературного очерка.

Стиль очерка близок публицистическому произведению, журнально-фельетонному, даже научному. Это не образный индивидуальный стиль, свойственный природе данного произведения. Но это и не отвлеченный склад научной речи. Таким полухудожественным, полукнижным языком в XVIII веке писал Радищев, в XIX веке — Щедрин, в наши дни — Свирский.

Однако в этой стилистической манере Свирского есть одно исключение. В его стилистическом инвентаре оказался материал, который он широко использовал,— это жанр еврейско-русской речи. Свирский дал замечательно целостные, законченные, в полном смысле художественные образы из еврейского быта.

А. Смирнов-Кутачеcкий

Художник деревни, Ив. Касаткин, собр. соч., тт. I—III, изд. «Зиф».

Уже первый рассказ «На барках», вышедший в 1905 г., показал, что Ив. Касаткин — изобразитель крестьянской бедноты, находящейся на грани полной пауперизации, на том этапе ее социально-экономического бытия, когда ее мелкособственнические устремления теряют под собой реальную основу, и бывший собственник сбрасывается в пролетариат. Этот момент в диалектическом движении крестьянства как социально-экономической категории любопытен во многих отношениях. Если экономическая природа пролетаризации маломощных групп крестьянства в наше время выяснена с исчерпывающей полнотой, то живой образ, синтез этого явления в его конкретно-целостной картине, отражающей не только экономическое обнищание, но и сопровождающие его процессы ломки старого быта, воззрений, верований и упований,— могли быть показаны только в художественном творчестве.

Русская художественная литература, как и западно-европейская, имеет немало произведений, рисующих образы крестьян-пауперов. Но в большинстве этих произведений отсутствует диалектическое движение образов. Они обычно преподносятся читателю как устойчивые социальные характеры. Преимущество Касаткина перед этим писателями состоит в том, что он дает диалектику социального характера своих образов. Горьковский Гаврила («Челкаш»), выброшенный экономическим оскудением на заработки в приморский город, — весь во власти крестьянской мелкобуржуазной стихии. Его лицо обращено к деревне, к собственности. Вне деревни Гаврила немыслим, а если и мыслим, то в роли Челкаша. Крестьянские образы Чехова («Мужики») даны в плане их стихийной неудержимой гибели. Крестный путь мужика — от мелкого собственника к пролетарию — виден Чехову только в его тупиковых ответвлениях. Символически этот путь дан в образах старухи Чикильдеевой, жены и дочери Николая Чикильдеева.

В крестьянских образах Горького и Чехова есть несомненная правда, но это правда однобокая, ограниченная классовым миросозерцанием обоих писателей. Горький и Чехов изображали чуж

дую им социальную среду и потому видели ее только в форме отношения к своему социальному бытию. Касаткину как выразителю социально-экономического бытия пролетаризирующихся слоев крестьянства видно нечто большее. Он отлично чувствует, что пауперизация крестьянства выталкивает это последнее прежде всего в город, в промышленную рабочую армию, выталкивает не для того, чтобы крестьянин неизбежно возвратился вновь к своей мелкой собственности. Оторваться от своего хозяйства нелегко. Этот разрыв показан автором в драматическом плане.

В известном рассказе «Петрунькина жизнь» писатель рисует драматическую картину. На одобряющие голоса крестьян Петрунькин отец отвечает: «Такто оно так. Ну, только, братцы, и тяжко же расставаться с пепелищем насиженным. Уж так тяжко, так тяжко, что и обсказать не могу. Похоже, как бы голову с плеч режут, вот до чего больно!» И все же, как ни тяжко расстаться с родным пепелищем, крестьянин сознает абсолютную неизбежность этого разрыва. Десятки голосов, провожающих Петрунькина отца, говорят об одном: «Да што, в самом деле! Околеть тут, что ли?», и это не потому, что мужик нуждается в дополнительном заработке на стороне, чтобы удержать свое хозяйство.

В рассказе «На барках», о котором уже упоминалось выше, автор отчетливо показывает, что побуждает мужика порывать навсегда связь со своим хозяйством. «Всякое время года, вертись не вертись, оказывается уже все продано купцу-лесопромышленнику и с'едено, а потому — какое уж тут поле: ни путного скота, ни сорных семян, хоть ветром засевай поле».

Всеобщее разорение ведет за собой одичание, моральный распад. На фоне гибнущей крестьянской мелкоты растет кулак. Его отвратительно жадное лицо показано в самых разнообразных моментах. Мирской захребетник не только выколачивает прибавочный труд, используя все «дозволенные законом» пути обогащения, но и открыто пользуется «недозволенными» путями. Каменный фундамент под «крепкой пятиоконкой изворотливой Марьи» создан на циничной торговле честью колоколихинских девушек из бедноты. Никакие религиозные моральные скрепы не в состоянии удержать патриархальный быт семьи, ибо под этим бытом нет экономического базиса. С его разрушением лопаются все духовные связи. Одна всепоглощающая забота царит безраздельно над всеми другими стремлениями — харчи! Харчи гонят мужиков в город, но вовсе не желание заработать деньжонок на поправку, на округление своего жалкого хозяйства. Вся беда мужика, в конце концов, не в том, что он порывает с своим крестьянским бытием, а в том, что и город не в состоянии дать ему материальной базы. Бурное развитие промышленного капитализма в 90-х и 900-х годах все же было настолько недостаточным, что рынок наемного труда не в состоянии был поглощать быстро растущую резервную армию рабочих.

Трагедия пауперизирующегося крестьянства в большой степени определялась именно недостаточным темпом роста промышленного капитализма. И это отчетливо показано в творчестве Касаткина.

В рассказе «Вольны песни» трагедия показана автором необыкновенной художественной полнотой. «Вот она жизнь. Встать бы, подбоченситься, шапку на ухо, выйти да жарить молотком, до поту, до мозолей! А вот нельзя! Хитро устроено на свете! Драться бы, да с кем? Все так гладко прилажено: комар носу не подточит. Человек, можно сказать, в бутылку попадает — ни взад, ни вперед. Именно вся беда в том, что человек «в бутылку попадает»: «поле хоть ветром засевай» а город отвечает, что ныне «много шляющих — для всех харчей не напасешься».

Невольно вспыхивают в сознании образы крестьян у Г. Успенского. Процесс экономического расслоения крестьянства впервые в художественных образах с отчетливой ясностью и полнотой дан [illegible] творчестве. Однако

этот процесс не был им охвачен во всем его диалектическом движении. Писатель изобразил лишь процесс распада сплошного крестьянского быта. Выход в пролетариат автор изображает как измену крестьянскому быту, как заблуждение, противоестественное природе мужика, этого истинного сына матери-земли.

Образы Касаткина отражают иной момент в динамике социально-экономического бытия крестьянства. Крестьянин-паупер, крестьянин у последней черты, отделяющей его от продавца рабочей силы, этой его единственно реальной и последней собственности. Крестьянин у Л. Толстого прикован тяжкими цепями к земле и прежде всего к земле крепостника; крестьянин Успенского ищет разрешения всех противоречий своего существования в условиях мелкособственнической стихии. Находясь «в бутылке», он скорее двинется назад, чем попытается итти вперед. Пауперизированный крестьянин Касаткина склонен итти вперед, но беда его в том, что и этот путь не всегда обещает «харчи».

Любопытную сценку в этом отношении дает рассказ «Тюли-люли». Жаль Силашке своего тятьку, жаль его спину под большим мешком и ноги в узких портках, и эти завитушки волос из-под рыжего картуза — всего жаль! Петухом завертелся сбоку и поднял на тятьку робкие глаза.

— Тять, у тебя ноги устали? Сыми лапти, а я их понесу. И мешок сыми, я понесу...

Эти бесконечно-нежные и ласковые слова Силашки и «голубость» его глаз оторвали тятьку от горькой думы,— он улыбнулся, схватил Силашку и прижал — «дыхнуть некуда». Повеселевший тятька в полном единодушии с Силашкой решает: «Избу и какую всякую мурью—продадим. Денежки, значит, за голенище, да айда в белый свет!.. Вынырнем, нас не утопишь...» Силашка глядел в отцову бороду и живо соглашался. В сущности разрыв с пепелищем не так уж страшен: собственности ведь нет, кроме развалившейся лачуги и «какой всякой мурьи». Все светлые надежды там впереди, в городе, несмотря на то, что Петрунькин отец («Петрунькина жизнь») попадает «в бутылку», теряет сына, хотя герой «Волчьей песни» гибнет жертвой страшного самосуда.

Борьба за существование в одиночку, связанная с борьбой против эксплоататоров, приводит к неизбежной гибели, где бы эта борьба ни происходила. Гибнет герой «Волчьей песни», выступая в роли обезумевшего мстителя капиталистическому миру, гибнет Тимофей Жвака в рассказе того же названия, покушаясь на воровство, гибнет Варухин («Село Микульское»). На путях этой борьбы в одиночку возможна лишь одна не особенно опасная форма, которой придерживается почтарь Белка, когда, «нагрузившись» «до невозможности», он льнет к богатею Беспалому и надоедливо твердит: «— Милый... друг мой. Што мы с тобой делаем, а? Согрешили!.. Ты — богачок, я беднячок, а жаль мне тебя! Жжаль... во-о!.. Знаю, друг, хоть ты и ворище, а тоже как лучше метишь». Но никто не обращает внимания на это выражение общественного порицания богатею. Оно лишь доставляет несколько привычных забавных минут наблюдателям. Это равнодушие к проповедническому паясничанью Белки, самая форма паясничанья еще раз подтверждает, что пуаперизирующаяся крестьянская масса осознает какую-то стихийную неизбежность своего полного разорения и принимает его как неотвратимое явление.

В рассказе «Докука» писатель рисует и еще один возможный путь в развитии крестьянского сознания под влиянием деревенского разорения. Герой рассказа, обуреваемый различными вопросами, едет к бывалому и знающему человеку, кузнецу Петровичу. Он выкладывает Петровичу свои грузные и тяжелые мысли-глыбы, а Петрович «дробит их на мелкие части, и они становятся легки и удобны». Мужик понемногу приходит к мысли о том, что надо бы сделать так: «которого сословия больше — тому и правеж в руки».

Образ ищущего «правды» мужика встречается и в рассказе «Торг».

Все образы крестьян Касаткина варьируют один тот же социальный ха-

рактер. Герой рассказов: «Веселый батя», «Тюли-люли», «Петрунькина жизнь», «Нянька», «Мужик» — в сущности даже не вариации одного и того же социального характера, а один и тот же образ. Степка, как две капли воды, напоминает Петруньку, веселый батя — Силашкина и Петрунькина тятек. Но и образы других рассказов не представляют собой что-либо выходящее за пределы основного образа. Это те же социальные характеры, только взятые в другом временном отрезке их существования, при несколько других обстоятельствах. Таковы образы рассказов: «Волчья песня», «Смертельная», Вор», «Кузькина мать». Герой «Волчьей песни», разорившийся крестьянин, столь же надеется на городской заработок, как и Петрунькин отец, но он уже попал «в бутылку», тогда как Петрунькин отец накануне этого. Вор тоже попал «в бутылку». Герой рассказа «Смертельная» — это Петрунькин отец на империалистической войне — «боком, боком, как петух недорезанный», бежит и падает на землю.

Дети бедноты показаны автором в незабываемых прекрасных образах. Петрунька, Силашка, Степка, Анка и др.—все они типичные отражения своих родителей, необходимые, дополняющие образы крестьян-пауперов. Они придают рассказам Касаткина тот особенный трагизм, который растет в социальном бытии разоряющегося крестьянства. Любопытно отметить, что упования и мечты детей о лучшей жизни связаны с городом.

Петруньке не стукнуло еще и шести лет, «а уж не раз доводилося слышать про белый хлеб с изюмом. Такой хлеб умеют делать только в городе»,— так начинает автор свой знаменитый рассказ. И когда Петрунька умирает в городской больнице от дифтерита, он видит все те же обманчивые мечты о городе. Городская больница сливается в его горячечном мозгу с красивым райским дворцом, где много ярких звезд, тепла и ласковые ангелы в белых одеждах.

Я уже указывал, что характерной чертой в творчестве Касаткина является его диалектическое восприятие и изображение жизни. Это диалектическое изображение выражается не только в том, что он показывает пауперизирующееся крестьянство на грани его разрыва с мелкособственнической стихией, но он пытается и дать образ бывшего крестьянина, по другую сторону черты, отделяющей его от когда-то родной социальной группы. В рассказе «На барках» отчасти и даны такие образы. Но если бы мы попытались отличить среди них разорившихся крестьян, пришедших в город на заработки, и тех, что уже окрепли как городские жители — пролетарии и ремесленники,— то наша попытка не увенчалась бы надлежащим успехом. Разница между этими образами в сущности сводится к внешним признакам, но не к собенностям социальных характеров. Это понятно. Дело в том, что *автор является выразителем определенной социальной группы, которая настолько связана с бытием крестьянства, насколько и порывает с ним, переходя в новую социальную группу общества*. С другой стороны, Касаткин дает движение своих образов в условиях *советской действительности*—новый момент в диалектике крестьянского бытия. К числу рассказов этого типа относятся рассказы: «Райпросвет и Гришка», «Галчата», «Чудо», «Вражья сила». В первых трех рассказах уже нет неудержимой тяги в город за «харчами». Город встает перед сознанием крестьянства как носитель культуры и революции. Выражаясь фигурально, крестьянин хочет привести город в деревню. Это вполне соответствует об'ективной логике развития полупролетарских (и середняцких) слоев деревни.

В настоящей критической заметке о творчестве Касаткина нет возможности остановиться на характеристике художественного метода писателя. Бегло все же считаю необходимым указать, что автор обладает первоклассным художественным мастерством.

И. Кубиков отмечает в своем предисловии к собранию сочинений Касаткина, что его рассказы «лишены внешней занимательности», временами они ли-

шены даже фабулы и распадаются на ряд отдельных эпизодов». Что разумеет критик под внешней занимательностью, сказать трудно. Но нетрудно видеть, что внутренняя занимательность присуща решительно всем рассказам И. Касаткина. Обычно, внешнюю занимательность представляют как сложное сплетение событий и приключений действующих лиц. Но мотивы рассказов Касаткина об'ективно исключают такую внешнюю занимательность. То общественное бытие, которое нашло свое эстетическое воплощение в творчестве Касаткина, исключает эту занимательность как несвойственное ей явление жизни. Но острый драматизм жизненных ситуаций присущ этому социальному бытию, и он дан автором с предельной насыщенностью. Достаточно прочитать такие рассказы, как: «Мужик», «Тюли-люли», «Петрунькина жизнь», «Смертельная» и ряд других, чтобы убедиться в справедливости сказанного.

Верно то, что такие рассказы, как «На барках», «Село Микульское», легко распадаются на ряд эпизодов, но это об'ясняется не тем, что автор не овладел еще художественным мастерством. Дело в том, что в этих рассказах даны не столько отдельные образы, сколько синтетический лик разоряющейся деревни. И в этом смысле эпизоды, как части единого, дают целостную картину распада деревни. Впоследствии автор отойдет от этих картин на некоторое время, чтобы на ряде развитых образов дать отдельные художественно полнокровные зарисовки деталей. Общая синтетическая картина — это основная ткань, эскизный набросок огромной картины, без ясно выраженных деталей, но производящий сильное впечатление внутренним единством, ярко выраженным общим колоритом.

В поэтическом лексиконе Касаткина автор предисловия видит тесную связь писателя с крестьянским бытием. Но автор предисловия ограничил свои наблюдения узкой сферой и потому пришел к правильным, но недостаточно характерным выводам отношении творчества И. Касаткина. Для И. Кубикова крестьянское бытие, определившее творчество Касаткина в области языка, отражается в том, что писатель берет различные сравнения из крестьянского быта («сплюснутые главы церквей похожи на караваи хлеба, взбухшие от непогоды до чудовищной величины», и п.). В области зарисовки пейзажа автор предисловия отмечает у Касаткина «способность к острому восприятию». Это столь же верно, сколько и обще. Подобная характеристика, благодаря своей общности, может быть отнесена к любому крестьянскому писателю.

«Музыку касаткинского пейзажа делают не отдельные сравнения и не то, что его языковый лексикон богат бытовым наполнением, а то, что пейзаж его органически слит с его основными образами, что является их продолжением. Пейзаж Касаткина немыслим вне образа, как и образ немыслим вне пейзажа. Герой и пейзаж живут одним чувством, одним настроением. Разоряющаяся беднота стоит на грани гибели. Жизнь превращается в горячечный бред, в какую-то безысходно тяжелую фантасмагорию с неверными болотными огнями сытого города. Человек воет волком почти в буквальном смысле слова.

В рассказе «Село Микульское» Касаткин рисует жуткую финальную картину: «Дед опустился на руки и завыл страшным голосом, как-то по-собачьи... Один остался старик у реки. Уперся костлявыми, в синих жилах, руками в песок — и выл, подняв лицо в небо». В этом образе воющего старика сплелось все самое жуткое в жизни обнищавшего крестьянства.

На пейзаже Касаткина лежит та же печать жути и страха. Нигде мы не видим золотых полей и роскошных лесов. Тоска и жуть рассеяны везде. «Первопуток», а между тем — «Безлюдно. Тихо». Одно живое врывается этот «пейзаж»: «А у вас чено обедали?» В рассказе «Лоси» пейзаж дан на огромном полотне в богатстве оттенков и настроений, но над всем этим богатством царит одно: «Тишина... Пе-

чальная луна. Ни звука... Ни движения... Быль и небыль». «Звенящая тишина, быль и небыль» — основной мотив касаткинского пейзажа; им он обычно начинает, им же заканчивает свой воющий безысходной тоской пейзаж. Это — пейзаж, рожденный бытием гибнущей деревни.

Но автор не останавливается в пределах безысходности. Его взоры обращены к городу. В условиях диктатуры пролетариата он видит более верный выход для крестьянской бедноты. Вместе с тем в его пореволюционных рассказах уже не встречаются и мотивы пейзажей «были и небыли».

Г Федосеев

Список книг, полученных редакцией для отзыва

ГОСИЗДАТ:

Кемаль Мустафа, Путь новой Турции, т I, Первые шаги национально-освободительного движения 1919 г., стр. 479, ц. 7 р.

Черновский А., Союз русского народа (по материалам следственной комиссии Временного правительства 1917 г.), редакция и вступительная статья Викторова В. П., стр. 444, ц. 6 р.

Барбюс Анри, собр. соч., т. I, Огонь (Дневник одного взвода), роман, предисловие Горького М., стр. 345, ц. 2 р.

Крылен о Н. В., По неисследованному Памиру, со вступительной статьей проф. Щербакова, стр. 254, ц. 1 р. 75 к.

Толстой А., собр. соч., т. XIV, На дыбе, историч. пьесы, стр. 438, ц. 4 р.

Сулиашвили Д, Горящий уголь, рассказы, перевод с грузинского Гасвиани Л., стр. 171, ц 1 р. 30 к.

Ривес Я., В подполье, роман, авторизованный перевод с еврейского, стр. 167, ц. 1 р. 30 к.

Ле Иван, Юхим Кудря и другие рассказы, авторизованный перевод с украинского Тутковской Зак. И., стр. 258, ц. 2 р.

Лисенко Вяч., Без подвига, роман, стр. 303, ц. 2 р. 60 к.

Сельвинский И., Пушторг, роман, стр. 192, ц. 3 р., переплет 60 к.

Пастерна Б., Поверх барьеров, стихи разных лет, стр. 159, ц. 2 р. 25 к., переплет 60 к.

Мандельштам Р. С., Марксистское искусствоведение (библиографический указатель литературы на русском языке), редакция Пиксанова И. К.

Ларин Ю., Евреи и антисемитизм в СССР, стр. 311, ц. 1 р. 75 к.

Асмус В. Ф., Очерки истории диалектики в новой философии, стр. 255, ц. 1 р. 85 к.

Сборник документов со вступительной статьей «Советский Союз в борьбе за мир», стр. 343, ц. 2 р.

Стефаник В., рассказы, перевод с украинского Дуткевича В. Ф., стр. 191, ц. 1 р. 30 к.

Пидмогильный В., Город, роман, перевод с украинского Елисаветского Б., стр. 302, ц. 2 р. 25 к.

Бад ев А. Е., Большевики в Государственной думе (воспоминания), стр. 391. ц. 3 р. 50 к.

Купгрман О., Социально-экономические формы промышленности СССР, стр. 151, ц. 80 к.

Долин Вл., Листья, лирика, стр. 100, ц. 1 р. 10 к.

Ив н А., За СССР, за революционный Китай, стр. 72, ц. 20 к.

Беккер И., Борцы революционной печати, стр. 128, ц. 80 к.

Дement ев Н., Шоссе энтузиастов, стихи 1924—1929 гг., стр. 94, ц. 90 к.

12 годовщина Октября (Октябрьская революция и воспоминания участников), стр. 112, ц. 15 к.

«ЗИФ»:

Тверяк Алексей, На отшибе, повесть стр. 171, ц. 1 р. 25 к.

Завадовский Леонид, Полова, рассказы, стр. 250, ц. 1 р. 45 к.

Улин Л., Север зовет, книга 1 стр. 195, ц. 1 р. 25 к.

Артамонов М., От деревни до каторги, стр. 87, ц. 50 к.

Франс Анатоль, Маленький Пьер, Жизнь в цвету, перевод с французского Шишмаревой, под редакцией Корша Е. Ф., стр. 415, ц. 2 р. 20 к.

Демидов Алексей, Село Екатериненское, роман, стр. 418, ц 2 р. 65 к.

Новиков-Прибой А., Подводники, рассказ, стр. 109, ц. 20 к.

Моэм-Сомерсет, Ашенден, роман, перевод с английского Барбашевой В., предисловие Старчакова, стр. 251, ц. 1 р. 30 к.

Барсуков Мих., Время на повадке, рассказы, стр. 218, ц. 1 р. 45 к.

Стринблинг Т. С, Яркий металл, роман, перевод с английского Волосова Марка, стр. 318, ц. 2 р.
Скотт Вальтер, Аббат, роман, перевод с английского под ред. Олеши Ю, предисловие Машбиц-Верова И., стр. 320, ц. 1 р. 60 к.
«Зиф», альманах № 6, стр. 468, ц. 2 р. 50 к.
Келлерман Бернгард, 9 января. роман, стр. 468, ц. 2 р. 25 к.
Золя Эмиль, полн. собр. соч., Накипь, роман, стр. 579, ц. 2 р. 80 к.
Верн Жюль, полн. собр. соч., Паровой дом, Черная Индия, роман, стр. 388, ц. 2 р. 10 к.
Арский Павел, Человек у конвейера, роман, стр. 211, ц. 1 р. 50 к.

«КОМАКАДЕМИЯ»:

Квитко Д. Ю., Философия Толстого, стр. 227, ц. 1 р. 75 к.
Ежегодник литературы и искусства, стр. 703, ц. 5 р. 50 к., перепл. 50 к.

«ГАХН»

Давыдов Федор, Русское искусство промышленного капитализма, стр. 246, ц. 3 р. 25 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ ИНСТИТУТ»:

Спектатор М., Теория аграрных кризисов. Развитие с. х. и промышленности в САСШ, стр. 157, ц. 1 р. 75 к.

«ПРОЛЕТАРИЙ»:

Большаков Константин, Бегство пленных, предисловие Когана П. С., послесловие Цявловского М., стр. 302, ц. 2 р. 75 к.
Лавренев Борис, собр соч., Гравюра, повесть, вступительная статья Горбачева Георгия, стр. 287, ц. 2 р. 20 к.
Рушия Р., Освободитель Индии, роман приключений, стр. 257, ц. 2 р. 15 к.

«ПРИБОЙ»:

Гитович А., Лихарев Б., Прокофьев А., Чуркин А., Разбег, стихи, стр. 101, ц. 1 р. 30 к.
Фадеев А., Столбовая дорога пролетарской литературы, стр. 92, ц. 60 к.
Филиппов А., Юность, повесть, стр. 215. ц. 1 р. 40 к.
Лусин, Правдивая история А—кея, перевод с китайского, редакция Васильева, стр. 189, ц. 1 р. 10 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ»:

Благой Д., Социология творчества Пушкина, стр. 364, ц. 3 р. 50 к.
Воронский А., За живой и мертвой водой, книга II, стр. 267, ц. 1 р. 50 к.. перепл. 20 к.
Соколов-Микитов Ив., собр. соч., т. III, Елень, стр. 371, ц. 2 р. 40 к., пер. 25 к.
Трусов Ив., Собственник, рассказы, стр. 179, ц. 1 р. 10 к.
Роги М., Черепахи на автомобиле, стр. 271, ц. 1 р. 70 к., перепл. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»:

Мак-Лорен, В австралийских джунглях, перевод Фрумкиной Т., предисловие Косвена М., стр. 153, ц. 1 р.
Басов-Верхоянцев С., собр. соч., т. III, Калинов город, сказки и поэмы.
Джонсон М, С кино-аппаратом по стране людоедов, перевод с немецкого Фрумкиной Т., предисловие Бороздина И. Н., стр. 120, ц. 1 р. 10 к.
Хилл-Эдвин, Железный конь, роман, перевод с английского Матовой А., очерк Динамова С., стр. 218, ц. 1 р. 85 к.
Галкин Н., В земле полуночного солнца, предисловие Смидовича П., стр. 219, ц. 1 р. 70 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»:

Залка Матэ, Повесть о вечном мире, стр. 174, ц. 1 р.
Попов Ив., За культурную революцию, стр. 45, ц. 15 к.

«НЕДРА»:

Топунов А., На пороге дней, роман в 2 частях, стр. 218, ц. 1 р. 80 к.
Никандров Н., Белый колдун, рассказы, стр. 255, ц. 2 р. 25 к.
«Недра», сборник. кн. 7, стр. 292, ц. 2 р. 50 к.

**Редакц. коллегия: Вл. Васильевский
Б. Волин
Вс. Иванов
С. Канатчиков
Ф. Раскольников**

Ответственный редактор: Ф. Раскольников

Издатель: Государственное издательство

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4, тел. 5-63-12

СОДЕРЖАНИЕ